ПАВЕЛ БАЖОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЕ





СП

ПАВЕЛ БАЖОВ



ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЕ

Советский писатель
МОСКВА · 1961

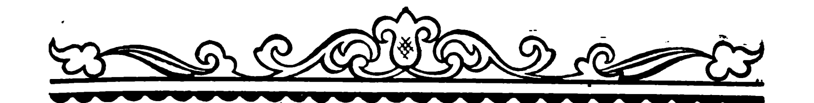
2
Б16

В настоящем сборнике с воспоминаниями о Павле Петровиче Бажове выступают московские и уральские литераторы. Создатель замечательных сказов «Малахитовой шкатулки» прожил интересную жизнь. Читатель узнает об участии Бажова в гражданской войне, о его работе в газете, в Уральском областном издательстве, на посту секретаря Свердловского отделения ССП, а также о его большой общественной деятельности в качестве депутата Верховного Совета СССР.

Авторы многих очерков знакомят с творческим обликом писателя. Люди, близко сталкивавшиеся с художником, рассказывают, как тщательно работал П. П. Бажов над словом, над огранкой его. Читатель совершит увлекательное путешествие по бажовским местам, которые явились родиной многих сказов. В очерках говорится о заботливом и требовательном отношении писателя к своим товарищам по профессии, особенно к начинающим литераторам.

Воспоминания рисуют образ писателя-коммуниста, который своим ярким, неповторимым талантом, своей общественной деятельностью преданно служил народу.

Составитель Б. Рябинин



А. СУРКОВ

УРАЛЬСКИЙ ВОЛШЕБНИК

Многолетние скитания литератора-газетчика сводили меня на дорогах жизни со многими замечательными людьми нашего времени. Но в этой веренице знакомств выделяются немногие, особенные, навсегда запавшие в памяти.

Такой была моя первая встреча с чудесным уральским писателем Павлом Петровичем Бажовым.

Шел военный 1944 год. Впервые за дни войны маршрут моей командировки лежал не к фронту, а в глубокий тыл. Редакция поручила мне объехать крупные заводы Свердловской области и рассказать со страниц нашей газеты фронтовикам о героическом труде уральцев.

Я помню, как еще до войны радостным удивлением поразила меня «Малахитовая шкатулка» П. П. Бажова, и естественно, что, попав на родину автора этой чудесной книги, я стремился повидаться с ним.

Уже первое наше свидание дало мне возможность почувствовать своеобразную и яркую личность этого замечательного писателя. Самая внешность Павла Петровича, его пристальные, умные, чуть усталые глаза, строй речи, интонации глуховатого, тихого голоса — все это переносило собеседника в мир образов «Малахитовой

шкатулки». В то время Павлу Петровичу исполнилось шестьдесят пять лет. Прожитые трудные годы немного ссутулили его плечи. Он жаловался на то, что здоровье его подводит. И все-таки он показался мне гораздо моложе молодых тогдашних свердловских литераторов. За недолгое свое пребывание в городе я встречал Павла Петровича на всевозможных собраниях и совещаниях, из которых многие, казалось, не имели никакого отношения к его профессии литератора. Невысокого роста, в синей, военного покроя, блузе, грудь которой наполовину прикрывалась окладистой, «бажовской» бородой сказочника, он сидел всегда немного в тени, внимательно вглядываясь и вслушиваясь во все, что происходит около него. Круг его интересов был чрезвычайно широк. И столь же широка была его поистине энциклопедическая осведомленность о делах его родной области.

Вспоминается незабываемый вечер, который мне привелось провести с Павлом Петровичем у него дома.

Судя по всему, Павел Петрович не отличался словоохотливостью. Но присутствие свежего человека из иной, хотя и родственной ему, среды непроизвольно увело его в стихию воспоминаний о прожитом, богатом событиями и встречами с интересными, своеобразными людьми. Беседа наша затянулась почти до утра. В сущности, Павел Петрович за эти часы рассказал мне историю своей долгой, полной радостей и горестей жизни. Но от врожденного такта, который обычно присущ большим и умным людям, личная его судьба все время лишь угадывалась где-то на третьем и четвертом плане событий. Первый план занимали те, с которыми судьба сводила рассказчика на бесчисленных перепутьях его жизни. За эти часы я с головой погрузился в новый для меня мир жизни уральских мастеровых, «умельцев» на все руки, каслинских литейщиков, беспокойных искателей, «чудаков», в мир уральских и алтайских партизан гражданской войны, победителей Колчака и иных «правителей» и атаманов.

Глубокое знание людей и прирожденная любовь к ним в сочетании с тонким природным юмором делали фигуры тех, о ком рассказывал П. П. Бажов, почти физически ощутимыми для собеседника. И чем больше событие или личность волновали рассказчика, тем ярче,

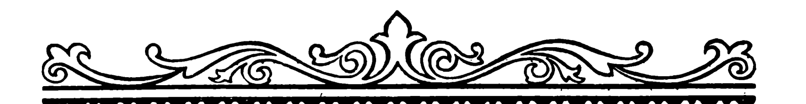
образнее делалась его речь, а каждый эпизод превращался в ненаписанную чудесную новеллу, блещущую многоцветными переливами неповторимо своеобразной уральской речи.

С особенным воодушевлением, или, точнее сказать, с глубоким поэтическим вдохновением, говорил Павел Петрович о «каменных дел мастерах» — гранильщиках и камнерезах. Он брал со стола и полок полированные куски малахита, яшмы, артистически выточенные каменные поделки и вводил меня в мир самых сокровенных таинств камнерезного мастерства, не передаваемого словами умения угадывать за грубой внешностью необработанного камня скрытую в нем красоту узора и расцветки. И чем дольше длилась беседа, тем глубже раскрывался передо мной мир поэтических образов «Малахитовой шкатулки» — восторженного гимна ищущему, неуспокоенному мастерству русского рабочего человека.

Из этой же беседы мне стало ясно, почему волшебный фон бажовских сказов, концентрированность сказовой манеры повествования никогда не заслоняли реального, глубоко жизненного характера героев и глубоко реальной бытовой и социальной среды, в которой эти герои жили и действовали. В волшебный мир старых уральских сказок Бажов погружал живых русских людей, и они своей реальной, земной силой побеждали условность сказочной волшебности, как земная любовь простой русской девушки победила волшебную силу Хозяйки Медной горы.

Сказы Бажова, в какие бы волшебные одежды ни были облечены их герои и к какой бы старине ни было отнесено их существование, вызваны были к жизни присущим их автору глубоко современным, острым и молодым ощущением нашей жизни.

Не случайно ведь «Малахитовая шкатулка», воспевающая беспокойную пытливость рабочего человека, неиссякаемую жажду мастера к совершенствованию мастерства, чудесную поэзию труда русского рабочего человека, появилась тогда, когда в нашей действительности строящегося социализма труд превратился в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства.



Б. ПОЛЕВОЙ

О НЕРЖАВЕЮЩЕМ МАСТЕРСТВЕ

Я познакомился с Павлом Петровичем Бажовым в разгар Великой Отечественной войны. И произошло это далеко от его родных мест, на фронте, где замечательный поэт Урала никогда не бывал.

Случилось так, что перед войной мне не привелось прочесть «Малахитовую шкатулку». Конечно, знал о ней, слышал много хорошего, но книга как-то не попала в руки. И вот в войну, когда Советская Армия, наступая, образовала на Висле сначала маленькое предместное укрепление, выросшее потом в знаменитый Сандомирский плацдарм, мы с фотокорреспондентом «Правды» переправились ночью к нашим солдатам, державшим этот крохотный кусочек земли. Он был так мал, что простреливался вдоль и поперек не только из минометов, но даже и из автоматов, а огонь, который обрушивали на него немцы, был так сосредоточен, что пули выкосили всю траву перед брустверами окопов.

Этот маленький клочок земли за рекой поначалу держал один-единственный батальон, прикрываемый огнем нашей артиллерии с того берега. Но горстка обстрелянных, опытных солдат так крепко вцепилась

в землю, так глубоко пустила в ней корни, что немцы, хотя и сознавали всю опасность ситуации, так и не смогли сбросить их обратно.

Мы переправились через реку под покровом густого тумана, на понтоне, доставившем пополнение и боеприпасы. Майор, руководивший обороной пятачка, маленький, загорелый, совершенно осипший человек с худым, нервным, но чисто выбритым лицом, непрерывно курил, всякий раз прикуривая новую папиросу от уже докуренной. Он выбранил нас за то, что мы не привезли ему свежие газеты, и начал торопливо расспрашивать о международных новостях. По выговору мы сразу угадали, что он коренной уралец.

В эти часы Висла как бы дремала, затянутая низким, густым, слоистым туманом. На плацдарме было тихо, только лягушки надрывались в плавнях на той стороне. В звездной синеве непрерывно мерцали осветительные ракеты, бросаемые врагом. Изредка гудели высоко в небе моторы самолетов — наши шли на Берлин.

Разведя подкрепления по стрелковым ячейкам, эвакуировав на обратных понтонах раненых, отправив на тот берег боевое донесение, майор вернулся в блиндажик — маленькую, тесную нору, вырытую в крутом берегу. Мы с фотокорреспондентом уже улеглись на свежей, яровой соломе. Но не спалось. Мы видели, как этот маленький человек, который вот уже около пяти дней нес на себе непосильную тяжесть, руководя горсткой советских солдат за рекой, человек, которому полагалось бы в эти редкие минуты отдыха свалиться и уснуть каменным сном, тихо прошел мимо нас в глубь блиндажа, засветил карбидную лампочку, вытащил из подсумка какую-то книжку с оторванным переплетом и стал читать. Да, именно читать, страницу за страницей, спокойно, сосредоточенно, будто сидел он за освещенным столиком в тихом библиотечном зале, а не лежал на соломе на крошечном куске земли, окруженном вражескими войсками, где его в любое мгновение мог похоронить снаряд.

Это было так странно, что, забыв о сне, я из своего угла молча следил за ним. По мере того как он читал, его напряженное, нервное лицо как бы отходило, прежде-

временные морщины разглаживались на нем, оно становилось спокойным и точно бы молодело. Читал он с полчаса, потом закрыл книгу, задумался о чем-то своем и, вероятно, очень далеком от его беспокойных фронтовых дел, вздохнул, убрал книгу в полевую сумку и прилег на соломе. Но заснуть ему так и не удалось. Немцы внезапно обрушили на плацдарм огневой удар, такой тяжелый, что земля заходила и бревна накатника зашевелились над головами. Наша артиллерия ответила из-за реки. Завязалась ожесточенная огневая дуэль. Разрывы оборвали телефонные провода, и, лишившись связи с ротами, майор побежал в траншеи организовывать контратаку.

Плацдарм удержали, но самого майора утром принесли на шинели. Он был убит наповал очередью из автомата. Густой туман все еще висел над рекой, но заря уже окрашивала его в легкие нежно-розовые тона, когда мы возвращались обратно. На том же понтоне отправляли тело майора, завернутое в плащ-палатку. Офицер, заменивший его, вручил мне для передачи в политорганы части его ордена, партбилет и полевую сумку. И мне вдруг захотелось узнать, что же так внимательно читал этот воин ночью, в последние часы своей жизни.

Книжка была старая, совсем затрепанная, закапанная стеарином. Переплета и титульного листа не было, не хватало многих страниц. Начал читать с той страницы, что уцелела. Рассказывалось о парне, который пошел в горы искать покос, встретил странную девушку, опознал в ней малахитницу, приобщившую его потом к горным тайнам. Странная это была книжка. В ней все удивляло с первых же строк: и язык, сочный и своеобразный, и необычайность действующих лиц, и какое-то удивительное и в то же время ненарочитое переплетение двух миров — реального и сказочного, и, наконец, своя, особая, ни на кого не похожая, простая и пленительная именно этой своей простотой, манера письма.

К концу сказа я уже понял, конечно, что читаю Бажова, понял, почему с таким увлечением, уносясь мыслями на свой далекий Урал, читал его ночью офицер, понял, что передо мной какое-то новое, необычное по фор-

ме и глубоко социалистическое по своему содержанию, произведение искусства.

Все уцелевшие в книге сказы были прочтены залпом, один за другим. Потом истрепанный томик этот пошел по рукам моих товарищей, военных корреспондентов. Многие из них были уже давно знакомы с книгой и перечитывали ее вновь. Фронтовые дни тогда были насыщены большими событиями, все мы много ездили, летали, много писали и передавали по телеграфу. Но книжка без переплета, унаследованная нами от убитого офицера, служила по вечерам предметом оживленных бесед, горячих литературных споров, далеких от военных дел, которыми мы все тогда были заняты.

В самом деле, в нашей стране, где введено обязательное семилетнее образование, где даже старики ликвидировали свою неграмотность и через газеты, книги, радио приобщились к сокровищам современной культуры, народное литературное творчество, бывшее обычно изустным, естественно, должно приобретать какие-то новые формы. Среди современных дедушек и бабушек есть такие, которые были когда-то комсомольцами, и было бы просто смешно, если бы они, развлекая внуков, начинали бы свои с ними беседы традиционной присказкой: «В некотором царстве, в некотором государстве...»

Да и само понятие народности творчества коренным образом изменилось. Почему, скажем, частушки, сочиненные в каком-нибудь районе избачом, учителем или дояркой и потом записанные из третьих рук собирателем фольклора, идут под рубрикой «народное творчество», а, скажем, песни М. В. Исаковского вроде «Катюши», которые действительно распевает народ, под эту рубрику не подходят?

Словом, споров на эту тему было много, и все дружно сходились на том, что Бажов совершил своего рода открытие, показав, как преобразуется народное творчество в нашем социалистическом мире, как, не теряя своих природных форм, бесконечно разнообразных и ярких, оно наполняется новым содержанием, приобретает законченность мастерского художественного произведения. Бажов смело переступил тот круг традиционных

сказочных тем, которые народное творчество уже переросло, и ввел в богатую семью персонажей русской сказки уральских умельцев, честных, простых тружеников, захваченных своим делом, смекалкой своей рушащих все преграды, творящих не божеские и не бесовские, а человеческие чудеса.

Писатель не удовольствовался сделанным им открытием. Сам неутомимо показывая «живинку в деле», он переплавлял богатейшие руды народных преданий, сказов, поговорок, столетиями бытовавших по Уралу, в свои сказы. Оставаясь народным сказителем, он был и передовым литератором-коммунистом, и поэтому сказы его, такие пленительные, непосредственные по форме, в то же время так глубоки и богаты содержанием. Вот почему с одинаковым интересом читают их и школьник, делающий в жизни первые самостоятельные шаги, и старый пенсионер, подводящий итоги своей жизни. Каждый находит в них что-то свое, близкое, нужное, дорогое ему, соответствующее духовным запросам своего возраста.

После того, как впервые, еще там, на Висле, прочел я сборник бажовских рассказов, я не раз перечитывал их в последующие годы и всегда с нетерпением ожидал в редакции «Огонька» пакет с Урала с тщательно написанным угловатыми и как бы падающими буквами адресом, пакет с новым бажовским сказом. И чем больше думалось о его творчестве, тем все более и более органично сливался образ сказителя с образами его героев. Он представлялся мне даже и в виде деда Слышко, этого живого носителя трудовой поэзии уральских заводов. Он рисовался этаким уральским богатырем, в характере и облике которого запечатлены черты наиболее полюбившихся персонажей его произведений. Сказы его воспринимались как нечто целое, и автор их, подобно лирическому герою, как-то сам вплетался в это свое многообразное творчество.

И вот серенький, прохладный, неприветливый вечер поздней уральской весны. Мы идем по свердловской окраине, где молодые, высокие здания соседствуют с бодрыми, прочными деревянными домиками. Из-за заборов несет горьким запахом цветущей черемухи. Там, впереди, в уже сереющей полумгле улицы, домик, где

живет этот мудрый уралец, вобравший в себя весь сказочный мир своего удивительно богатого края, где столетиями в невероятных условиях, все побеждая, опрокидывая все преграды, расцветали таланты русского мастерового человека. И я, в силу профессии повидавший на своем веку немало интересных, больших людей, признаюсь жене, что сейчас вот, на пороге бажовского домика, волнуюсь, как волновался когда-то в юности перед экзаменом по любимому предмету.

Вместо могучего, плечистого бородача встречает нас в полутьме прихожей небольшой, сутуловатый старичок с реденькой бородкой, в поношенной, уютной домашней куртке, с трубкой, привычно зажатой сложенными в горсть прокуренными пальцами. Из мягкой рамки шелковистых седин смотрит открытое русское лицо. Бажов глядит на собеседника чуть исподлобья, из-под седых приспущенных бровей, но взгляд у него доброжелательный, ласковый. Когда он улыбается незаметной под усами улыбкой, к глазам сбегаются живые и веселые морщинки, и от них, как это ни странно, лицо как-то вдруг свежеет и будто бы даже молодеет.

Он ведет в кабинет, который сейчас вот почему-то хочется назвать лабораторией. И в самом деле — комната, наполовину занятая книжными шкафами, вспоминается именно как лаборатория, где этот мудрый старик переплавлял драгоценную руду народных сказок, легенд и пословиц в свои небольшие произведения, где филигранно отточена каждая строка. Все в этой комнате связано с неугомонной творческой деятельностью старого уральского литературного мастера: и сборники его сказов, изданные на всех европейских и многих восточных языках, и богатая библиотека по истории края, и коллекции минералов, образцы руд, в разное время преподнесенные Бажову рабочими, инженерами, почитателями его таланта, и чернильница, искусно сделанная специально для него камнерезами из черного змеевика, и даже стулья, на которых мы сидим. Как свидетельствуют награвированные планочки, прикрепленные к спинкам, эти стулья — подарок Бажову ко дню его семидесятилетия от рабочих местного деревообделочного завода.

Самое любопытное в комнате — письменный стол. Он весь точно бы топорщится ворохами рукописей, депутатскими письмами, образцами малахита, друзами каких-то кристаллов, весь засыпан табаком и трубочным пеплом. Среди всего этого беспорядка, в котором все-таки угадывается свой, особенный порядок, стоит пишущая машинка, и в ней белеет лист с недописанной строкой. Перед машинкой кожаная затертая подушечка. Все это освещено узким кругом света, отбрасываемого рефлектором старой конторской лампы.

— Последнее время у Павла Петровича со зрением плохо. Больше на машинке выстукивает, чем пишет. И сидеть ему трудно, работает стоя, опираясь локтями на подушку, — поясняет супруга писателя, Валентина Александровна, черноволосая женщина, удивительно молодая и жизнедеятельная для своих лет.

— Ну, ну, Валюша, ты точно экскурсию водишь! — отмахивался Павел Петрович, посасывая свою трубочку, которая курится у него потихоньку, с этаким уютным хрипением, распространяя запах простого, незлого табака, которым, как кажется, пропитаны и он сам, и рукописи, лежащие на столе, и вся эта комната, где он живет и работает.

Усаживаемся, и после обычных, так сказать, ознакомительных фраз завязывается неторопливая беседа, искренняя, спокойная и в то же время очень вместительная. Заметив, очевидно, некоторую связанность гостей, Павел Петрович сам ведет эту беседу. Он буквально засыпает вопросами, и сразу становится ясно, как широк круг общественных интересов этого человека, как кипуча и полна неутомимая деятельность его жизни и с какой снайперской точностью он умеет в массе окружающих его явлений брать на прицел самое главное и интересное, чем характерен сегодняшний день.

Он пристально наблюдает за международным положением и старается вызнать все интересное о моих зарубежных поездках. Но из всех сторон зарубежной жизни его особенно интересует, как там, за границами нашей родины, воспринимают трудящиеся великий опыт нашей революции, как по нашему примеру простые люди земли ведут борьбу за мир и особенно — как помо-

гает людям стран народной демократии наш богатейший опыт.

— Им легко. Мы дорогу для них протоптали, — говорил Павел Петрович, тая под усами ласковую, негаснущую улыбку. — Я вот тут как-то с одним избирателем на приеме серьезный разговор имел. Старый рабочий, а вот поди ж, на именинах у зятя перебрал лишнего, прогулял смену — ну и выставили его, голубчика, с завода. Он ко мне на прием: «Павел Петрович, потолкуй с директором, пусть хоть в сторожа, да в родной цех». А я ему отвечаю: «Как я буду за тебя толковать, когда тебя правильно уволили? Стыдно тебе, ты учитель, а вон до чего набираешься!» Он мне: «Какой я, Павел Петрович, учитель? Токарь я». А я ему говорю: «Нет, говорю, ты учитель, ты, говорю, всем рабочим из народных демократий учитель. Разве нет? Разве не у нашего рабочего класса они жизнь-то новую строить учатся?» И ведь понял он это, дошло до него, заплакал даже. «Стыдно, говорит, Павел Петрович, вот как стыдно».

— Ну, а дальше как?

— Дальше-то? — Павел Петрович посасывает трубочку, хитро посматривает из-под серых своих бровей; и кажется в эту минуту, что передо мной не знаменитый писатель, отмеченный высокими наградами, облеченный доверием избирателей, а дед Слышко со старого Сысертского завода. — Дальше-то что же? Дал он мне слово, что больше такого греха с ним не случится. Ну, я в партком завода позвонил. Вернули... Он ко мне потом на прием опять приходил, этакий благостный, в новой тройке, бритый, точно прямо из бани. «Очень, говорит, ты меня, Павел Петрович, тогда за душу взял, учителем-то назвал. Это, говорит, верно. Все мы теперь учителя, весь мир у нас учится».

Павел Петрович задумчиво перебирает на столе пачку свежих, частично еще даже не вскрытых, конвертов.

— Сегодняшняя почта. Видите, восемь писем, в каждом чья-нибудь забота или печаль, искренне тебе, депутату, доверенные. Много пишут. Кабы вон не Валюша да не дочка, захлебнулся бы я в этих письмах. Они мне помогают разбирать и ответы писать. Всей семьей так вот и депутатствую.

Заговорили об Урале, о поездке, которую мы с женой предполагали тогда совершить по заводам, рудникам, новостройкам и золотым приискам. Бажов сразу точно бы изнутри осветился, трубочка его засипела отрывистее, веселые морщины, собравшиеся в уголках глаз, так уже больше и не разбегались.

Об Урале он мог рассказывать сколько угодно и, как говорили люди, близко его знавшие, никогда не повторялся. Бесконечные истории, любопытные случаи, происшествия, старые и новые, жили в его голове. Часто это были уже готовые, сложившиеся сказы, так и просившиеся на бумагу.

Особенно почему-то запомнился рассказ Павла Петровича о посещении им Уралмашзавода, где опробовали механизмы шагания ныне всемирно знаменитого, а тогда еще только рождавшегося экскаватора «ЭШ 14-65».

— ...По сравнению с этой машиной я почувствовал себя букашкой, муравьем. А вот не гнело это, не унижало меня. Нет. Наоборот, гордость такая появлялась. Ведь это мы, маленькие, слабенькие по сравнению с этой машиной люди, выдумали ее, отлили, обточили ее огромные слены, сложили их и вот собираемся вдохнуть в них жизнь... Царь-машина! Ведь это просто представить себе трудно, как она работать будет, какой для нее фронт работы нужен. И когда она вдруг задвигала этими своими лапами, знаете, что было кругом, — плакали люди... Пошел, пошел... Так вот мы дома смотрели, как Никитка наш, внучек мой, ходить начал... Люди подходили к машине и гладили ее, как лошадь какую... Царь-машина, что и говорить...

Голос у него задрожал, в нем почувствовалась влага. Бажов отвернулся и с помощью какой-то необыкновенной, тоже подаренной ему кем-то из бесчисленных почитателей, зажигалки долго, слишком долго раскуривал свою и без того горевшую трубочку под озабоченными взглядами встревожившейся жены.

На комоде стояла уже повыгоревшая фотография в старинной проволочной рамке. Молодой белокурый мужчина с шелковистыми усиками и бородкой был снят рядом со стройной черноокой девушкой с высокой прической, с волевым, умным лицом.

— Это мы с Валюшей после свадьбы. Видите, какая она у меня была. Вот с тех пор всю жизнь и нянчится со мной. Все у нас пополам, и горе и радость. Уж как я ей только не надоел, удивляюсь, — поясняет он, краем глаза лукаво косясь на жену...

...Мы порядочно поездили по Уралу, но, конечно, не увидели и малой доли того, что хотелось и стоило посмотреть. И все же вернулись в Свердловск полные впечатлений, смущенные, даже как-то подавленные величием всего виденного. Как договорились, расставаясь с Бажовым, снова, теперь уже днем, пришли на знакомую улицу Чапаева. В этот день своенравная уральская весна вдруг светло заулыбалась, солнце сияло в бескрайней хрустальной голубизне, и из-за заборов тянуло уже не горечью черемух, а душным ароматом зацветавшей сирени.

Бажовы, уже привыкшие к нашествиям малознакомых, а то и вовсе незнакомых людей, постоянно навещавших их дом, встретили нас как старых друзей. В маленьком садике, на скамейке в пронзенной солнцем, трепещущей тени раскидистой березы, собственноручно посаженной когда-то в давние годы Павлом Петровичем, он потребовал от нас полный отчет об уральских впечатлениях. Внимательно слушал, защитив глаза от солнца козырьком надвинутой на нос кепки, прятал в усах довольную улыбку, выспрашивал подробности, причем все время выяснялось, что все, о чем мы рассказывали, ему уже знакомо — и события и люди.

Говорили о Краснотурьинске, этом социалистическом городе, возникающем прямо в тайге, как-то сразу, без пригородов, без окраин. Город этот действительно нас поразил. Дорога вьется меж лесистых сопок, поворот, еще поворот, и вдруг на берегу большого, как потом оказалось — искусственного, озера возникают, как в сказке, вполне современные, широкие, строгие проспекты с многоэтажными домами, с широкими тротуарами и газонами, с многолетними березами, выстроившимися вдоль них, набережная, сбегающая к озеру красивыми балюстрадами террас, просторные, на столичный лад, магазины, школы, клуб. Я сказал, что хочу напи-

сать в «Правду» об этом самом молодом городе, которому тогда еще едва насчитывалось пять лет.

— Напишите, напишите, только не забудьте при этом, что изобретатель радио Попов-то там родился, на Старотурьинском руднике. И рудничный музей там еще до революции был знаменитый, один умный человек там его собрал... Город-то молодой, но слава у него старая, нам Иванами непомнящими нельзя быть. Прошлое забывать не следует.

Дослушав наши рассказы, он сказал моей жене, учительнице по профессии:

— Так довольны? То-то будете теперь ребятам в классах о нашем социалистическом Урале рассказывать! Больше, больше о нас говорите. Урал — всей страны гордость. Он ведь всегда такой был, только до поры до времени дремал, скованный, как богатырь в цепях. Революция его расковала, социализм вон на какой простор его вывел!

Потом обратился ко мне и, слегка покачивая в такт речи трубкой, зажатой в прокуренный кулак маленькой руки, спросил:

— Вот вы много по белу свету ездите, как наш Урал по сравнению со всякими заграницами выглядит?

Я сказал. Бажов очень серьезно кивнул головой:

— Ну вот, видите! Когда вы в Европы-то ездите, это экскурсия в наш вчерашний, а то и в позавчерашний день, в далекое прошлое, которое у нас уж и глубоким старикам по ночам не снится... А вот поездка сюда — это в завтрашний день. Да, да, что вы думаете! Вон он, большой шагающий-то, в цехе на Уралмаше растет. Ему уж в завтрашнем дне шагать. Обязательно съездите на Уралмаш, посмотрите.

И. Н. Тюфяков сфотографировал нас в садике всех вместе — Павла Петровича, Валентину Александровну, любимого их внучонка Никитку, наших друзей по поездке и нас с женой. И когда вот сейчас, полтора года спустя, смотришь на эту фотографию, трудно, просто невозможно представить, что Павла Петровича уже нет, что никогда мы не услышим его мягкий, округлый уральский говорок, не увидим взгляда его глаз, спокойного, мудро-

го, проницательного, всегда утепленного невидимой улыбкой...

...И, наконец, последняя встреча у нас, на московской квартире, куда Павел Петрович заехал с женой поздним вечером, после сессии Верховного Совета. За короткое время, прошедшее со дня последнего свидания на Урале, он не то чтобы постарел, а как то, как говорят у нас, подался. Под глазами появились мешки, и весь он стал будто бы легче, невесомее.

Он выглядел усталым, но был оживлен.

— Воздух у вас в Москве омолаживающий какой-то, — говорил он, посматривая на широкую панораму огней, далеко видную с балкона пятого этажа. — Знаете, бывает такой в горах после грозы... Сердце учащенно бьется, смеяться хочется, двигаться побыстрее.

Он был полон впечатлений о сессии.

— Докладывают о бюджете. Цифры сыплются, как из мешка. А я слушаю и думаю: ведь это же коммунизм приближается, вон он, мы уже на пороге.

Расспрашивает о строительстве высотных домов, о новом кольце метро, об озеленении московских улиц. Рассказывая, выясняю, что все это он уже знает. Да и сам он признается, что ему, не часто бывающему в столице, просто приятно потолковать о том, как строится и хорошеет наша Москва. Потом сам рассказывает об Урале, увлекает всех, но вдруг прерывает себя:

— Ой, жизнь какая хорошая... Жить-то как хочется! Да вот... Хоть бы глазком глянуть на то, что увидит наш Никитка...

Это вырывается у него как-то само собой, и он сразу переводит разговор на своего любимого младшего внука, на его затеи, выдумки.

— И дети-то теперь какие-то новые пошли... Тут как-то ребята затащили меня во Дворец пионеров. Начался разговор о творчестве. Они меня обступили и со всех сторон сыплют заказы: напиши им о новых машинах, о геологах-разведчиках, о том о сем... Словом, закидали совсем. И тут выступает один, сам от горшка два вершка, ну не больше, чем на голову, Никитки выше. И говорит: «Об этом, говорит, пусть другие писатели пишут. Павел Петрович, говорит, как мы знаем, он насчет

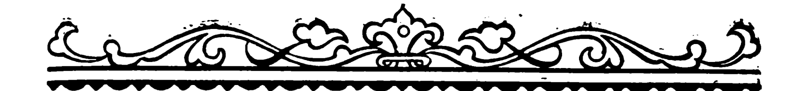
сказов больше. Так вот, говорит, и попросим его написать, как Медной горы Хозяйка все свои сокровища перед народом сейчас раскрыла, да как, говорит, теперь не только углежог дедка Нефед, а и все, говорит, знают живинку в деле». Чуете, куда метнул? Вот вам и два вершка от горшка.

Несмотря на ухудшение здоровья, очень заметное даже постороннему, Павел Петрович был полон энергии, творческих планов, жадно интересовался жизнью. Он работал уже больным, и его последний рассказ прибыл в «Огонек» почти одновременно с тяжелым известием о том, что болезнь свалила его с ног.

...О том, как прощалась с ним литературная Москва, вспоминать тяжело, да и не нужно это. Знавшим Павла Петровича даже вот сейчас трудно представить этого кипучего человека мертвым. Да ведь так оно и есть. Разве властна смерть над такими, как он? Он оставил нам свою «Малахитовую шкатулку» — это подлинное хранилище бесценных сокровищ народного творчества, собранных и ограненных великолепным мастером-художником. И из этих его сказов встает во всей красоте и мощи обобщенный образ рабочего-уральца, смелого, умного человека, художника своего дела, неутомимого новатора и творца.

В сказах, в которые Павел Петрович вложил плоды своих долгих наблюдений и раздумий, свои мечты, свое большое сердце советского человека, свою чистую душу писателя-коммуниста, он будет вечно жить с нами и среди нас.

Москва



Г. РЯБИНИН

ПО СЛЕДАМ ЛЕГЕНДЫ

Помню, как обрадовал меня летом 1939 года неожиданный телефонный звонок: Павел Петрович приглашал меня, тогда еще совсем молодого литератора, сопровождать его в поездке на свою родину — в Полевский район.

— Вдвоем-то веселее, — пояснил он свое предложение. — И тебе польза: Полевское повидаешь.

Полевский район — родина уральского рабочего фольклора, родина изумительных по яркости формы и глубине содержания устных рабочих сказов, ставших ныне бажовскими сказами — по имени того, кто придал этим самоцветам устного народного творчества ювелирную огранку, собрал их, философски осмыслил, ввел в мир большой литературы, и вполне понятно, что я ответил немедленным согласием.

Своими глазами посмотреть на места, описанные в «Малахитовой шкатулке», увидеть и понять почву, на которой она выросла, да еще проделав это путешествие в сопровождении самого автора сказов, — право, для этого стоило отложить любые срочные дела!

Павел Петрович ехал в знакомые места после долголетнего перерыва. Еще не были написаны сказы «Ермаковы лебеди», «Веселухин ложок», «Не та цапля» и

многие другие. Всем им было суждено появиться после этой поездки.

И вот мы в поезде. Павел Петрович приумолк, все чаще поглядывает за окно, наконец негромко произносит:

— Сысертская дача пошла.

Смотрю по направлению его взгляда, но никаких особых признаков Сысертской дачи не вижу. Все тот же пейзаж, почти не изменяющийся от самого Свердловска: лес, перелески — колки, кое-где небольшие лесные пашни, время от времени неглубокие зеленые лощины. Однако спокойно-уверенный тон моего спутника не оставляет сомнений. А вскоре и названия разъездов подтверждают, что действительно «пошла» Сысертская лесная дача.

На соседнем сиденье, за нашей спиной, двое пассажиров, по виду колхозники, оживленно рассуждают о золотом самородке, найденном недавно в здешних местах. Павел Петрович уже давно с интересом прислушивается к их беседе, неторопливо покуривая папиросу.

— Ведь уж все кругом ископано было, перешеек маленький остался. Тут и накопались... Только лопатой ковырнули — и готово!

Павел Петрович, не выдержав, оборачивается:

— Велика ли находка?

— Тринадцать семьсот.

— Славно. Где нашли?

— В Косом Броду.

— А вы сами-то откуда будете? — поинтересовался он после непродолжительной паузы.

— Из Полевского, — ответил один из беседующих.

— Из Полевского? — оживился Павел Петрович. — Ну что, как он? Изменился?

— Да есть кое-что. Криолит, завод большой. Гумёшки, говорят, разрабатывать опять хотят. Домов новых понастроили, стадион. Церква-то знали, где стояла?

— Знал.

— Ну, так тут, около этого места, стадион нынче...

Павел Петрович докурил папиросу, молчит и задумчиво щиплет бороду.

Станция Мраморская. Недалеко от железнодорожной линии высится серое каменное здание фабричного

типа — мраморный завод. Когда проезжаем мимо него, Павел Петрович припоминает вслух:

— Старый заводик. Лет двести, не меньше. Самый тихий завод, какой знаю. Бывало, даже страшновато становилось: идешь по поселку — тихо, никого не видно... все на заводе. А работа тихая: шир-шир по плите пилой... Придешь на завод, а там сам тешет, сама вертит, ребята ширкают. Работали целыми семьями. Двести лет камень тешут... А жили бедно, даже собак не держали, кроме попа мраморского, — тот здорового волкодава кормил.

Видно было, что воспоминания переполняют его. С волнением и живым интересом всматривался он в каждую деталь, сравнивая с тем, что было раньше, попутно приводя в разговоре любопытнейшие, характерные подробности из старого горнозаводского быта и вообще из истории Урала, по-своему осмысляя многие мелочи, которые прошли бы незамеченными для другого глаза.

На станции Сысерть вышел, походил по перрону и, возвратившись, сообщил, что станция, пожалуй, не изменилась.

Езда не дальняя, от Свердловска до Полевского по прямой не более шестидесяти километров, но Павла Петровича разбирало нетерпение.

— Вот они, Гумёшки, смотрите! — спешит показать он в окно.

Поезд медленно подтягивается к остановке. За окном видны обширные заброшенные выработки. Там и сям торчат трехногие буровые вышки. За ними, у подножия невысокой облысевшей горы, поселок. По другую сторону железнодорожного полотна дымит большой, обнесенный забором завод.

Выходим из вагона. Павел Петрович на ходу осматривается и вполголоса бормочет:

— Изменилось, изменилось... Неузнаваемо стало...

О своем приезде Павел Петрович никого не предупредил. Нас никто не ждал, не встречал. Наняли возницу с лошадью, погрузили в телегу чемоданы, сели сами, и незатейливый экипаж загремел по нескончаемой, вытянувшейся в ниточку, главной улице поселка.

Примерно на половине пути седоусый возница обернулся:

— Вы у нас бывали? Я как бы видал вас...

— Бывал, — отозвался Павел Петрович. — Давненько уж.

— Я и не говорю, что вчера. Не вчера родился.

— Да и я не вчера, — с юмористической серьезностью заметил Павел Петрович. — Вижу по усам, с кем имею дело.

Когда телега остановилась около Дома приезжих, Павел Петрович вежливо осведомился, как фамилия возчика. Тот в свою очередь тоже спросил и, услыхав в ответ: «Бажов», сразу оживился:

— Стойте-ко! Василий Семеныч?

— Павел Петрович.

— Как же! Петра-то Васильевича хорошо знал! Батюшку вашего! Это шкатулка, значит... изумрудная?

— Малахитовая, — с улыбкой поправил Павел Петрович.

— Да, да!

Распростились как самые лучшие друзья.

В Доме приезжих не оказалось ни одной свободной койки. Подвода уже уехала.

— Куда же мы теперь денемся? Лето, положим, не замерзнем, — шутливо-серьезно рассуждал Павел Петрович. — Ну, ничего, тут у меня один адресок есть на примете. Пойдем искать.

На главной улице поселка жил бывший ученик Бажова, Николай Дмитриевич Бессонов, к тому времени сам преподаватель средней школы. Остановились у него.

Встреча была сердечной.

— Павел Петрович! Сколько времени не видались! Борода-то — что же это? — совсем седая стала!

— Седая, Коля, седая... Да борода-то — полбеды. Вот слова захлестывает...

— Бывает!

— Бывает, конечно. Но когда часто, так начинает на размышления наводить: не пора ли с полукона бить? Это у нас так говорят, — пояснил Павел Петрович и тут же внес поправку: — Говорили.

— Давненько я у вас не был. С женой последний раз

приезжал. Сколько же прошло? — принялся он подсчитывать. — Девчонка младшая еще в чемоданчике была... Сейчас ей четырнадцать лет. Значит, годков пятнадцать прошло! Да и у тебя, гляди-ко, Николай Дмитрич, голова-то седая стает...

— Седая, Павел Петрович, да и плешивая. За сорок ведь уж стукнуло.

— Ребят-то много ли?

— Четверых ращу.

— Вот это хорошо.

Пока жена Николая Дмитриевича хлопотала у самовара, гости в сопровождении хозяина дома отправились на прогулку. Выйдя переулком на зады поселка, перешли по мостику речку и поднялись на гору Думную — ту, что видели еще от станции.

Гора увенчана памятником. Это — в память расстрелянных здесь во время гражданской войны коммунистов. На мраморном пьедестале строгая фигура рабочего с винтовкой за плечом и с молотом в руках. Статуя отлита на Каслинском заводе, известном своими художественными изделиями из чугуна.

Гора невысока, полога и без единого кустика. Там и сям из-под сухой, тощей, выгоревшей на солнце травы высовываются острые ребра камней. Говорят, она исстари всегда была такой лысой. Но именно потому, что она открыта со всех сторон, с нее широкий вид на окрестности.

Павел Петрович сел на обломок каменной глыбы, словно извергнутой сюда подземным катаклизмом, и тотчас запалил неизменную папиросу. Легкий ветерок обвевает его лицо, шевелит седую бороду, раздувая синий дымок и рождая какую-то необыкновенную ясность мысли. Не так же ли сиживал здесь когда-то дедушка Слышко — Василий Алексеевич Хмелинин, по прозвищу «Стаканчик», неутомимый рассказчик, впервые заронивший в душу юного Бажова глубокую любовь к родному слову, пробудивший в нем неистребимый, на всю жизнь, интерес к многодумной, красочной народной побывальщине-легенде?

У подножия Думной струится речка Полевая. На противоположном берегу ее огороды. За огородами

вплотную придвинулись первые дома поселка. Яркими белыми пятнами сразу бросаются в глаза две недавно отстроенные каменные школы-десятилетки и россыпь новых домов, образующих целый поселок на окраине старого. Дальше, немного отступя от домов, начинается лес, и за ним, заслоняя горизонт, встает сглаженная и как бы прижатая немного посредине Азов-гора. На вершине ее чуть видна триангуляционная вышка.

Азов и Думная будто смотрятся друг в друга, господствуя над всей окружающей местностью. По преданиям, обе горы раньше были соединены между собой тропой, называвшейся Азовскою. От этих основных возвышенностей по всему горизонту разбегается ряд менее высоких холмов, отчего линия, где сходятся земля и небо, похожа на старую пилу с затупившимися, изношенными зубьями.

Левее поселка лежит пруд. Он тих и спокоен и одного цвета с небом. За прудом горизонт опять замыкается холмами. По другую сторону поселка виден завод. Он плавает в облаках дыма. Правее местность понижается к речке, и на берегу, у прудка, стоит темно-красное, кирпичное, как видно, здание, приземистое, с непропорционально большой железной трубой, а за ним — уже совсем далеко — едва можно рассмотреть высокие трубы еще какого-то завода; самого завода не видно — он скрыт холмами.

Вот он, старый, «седой» горнозаводский Урал, неузнаваемо изменившийся за годы советской власти и все же несущий на себе печать прошлого, давно ушедшего. Сколько поэтических сказаний родилось здесь! Каждое из этих мест по-своему примечательно, и каждое так или иначе связано с каким-либо из сказов Бажова.

Солнце уже село, но видимость еще была хорошей. Сильный полевой бинокль переходил из рук в руки. Наш гостеприимный и предупредительный хозяин охотно дает пояснения.

— Это Криолит, — говорит он, показывая рукой на окутанный дымом завод. — А вон то, низенькое-то, здание с железной трубой—Штанговая электростанция.

— Штанговую помню, — роняет Павел Петрович.

— А то, трубы-то, — Северский завод...

— Не узнать Гумёшки, — произносит Павел Петрович после некоторого раздумья и тут же деловито осведомляется: — На Думной разведки не было?

— Не было.

— А надо бы. Пожалуй, и нашли бы что.

Помолчали.

— А далекй в Северском живы?

— Живы.

«Далеки» — это несколько параллельных улочек в поселке Северского завода. Оказалось, что есть здесь «поганый угол» (западная окраина Полевского), «штаны» (две сходящиеся вместе улицы), «дьяконский рукав» (одно из покосных угодий) и еще много колоритных названий, оставшихся от прошлого.

Для любого приезжего человека они только занятное созвучие слов, для Павла Петровича — частицы его жизни, и не только его, крупицы еще ненаписанной истории поселка, истории всего этого богато наделенного природой, с необычайно колоритным прошлым, края, почти осязаемые, живые вехи минувшей эпохи. И потому он с удовольствием вслушивается в эти названия, мысленно повторяет их про себя, как бы стараясь по-новому воспринять их.

Спускаемся с Думной. Из-под ног сыплются мелкие камешки. Павел Петрович, поскользнувшись, взмахивает руками, ища опоры для потерявшего равновесие тела. Но решительно и как бы даже с обидой отталкивает протянутую ему руку:

— Ну-ко, ну-ко, не мешай!

— Да я сам хотел поддержаться!

— А, это можно! — И подхватил дружески под руку.

Спустившись с другой стороны горы и пройдя немного вдоль речки, вышли на плотину. У подножия ее огромная выемка с остатками каких-то строений. Здесь стоял Полевский медеплавильный завод, тот самый, который фигурирует во многих бажовских сказах, положивший начало и поселку и вообще горному делу в здешних местах. От него сохранилось только несколько фундаментов, сваи, крохотный каменный корпус да будка сторожа на плотине с вырезанной из железа цаплей — знаком бывшего Сысертского горного округа.

— Ты эту цаплю сними, — говорит Павел Петрович, дотрагиваясь пальцем до моего фотоаппарата. — О ней будет особый разговор. Про нее народ даже песню сложил. Какую? А вот: «Горько, горько нам, ребята, под железной цаплей жить...»

— Ну вот, Павел Петрович, — замечает Николай Дмитриевич, — а еще жаловался, что слова захлестывает... Что-то не видно!

— Не каждый же раз, — добродушно улыбается Павел Петрович. — Бывает, что и ладно получается.

Так и подмывает спросить, какой «особый разговор» связан с железной цаплей, которая торчит на длинном шесте как память о давно минувшем, помятая и почерневшая, но не хочется нарушать течение мыслей Павла Петровича.

— Давно ли десятилеткой по плотине-то бегал... — задумчиво говорит он, наблюдая за купающимися в пруду ребятишками.

Внезапно на площади становится шумно — повалил народ из кинотеатра. Доносится пронзительный мальчишеский голос:

— Первый сеанс отпустили!

Павел Петрович чуть заметно улыбается:

— «Отпустили»... Хорошо!

Грохочет телега по деревянному настилу плотины, заглушая ритмичный шум падающей воды, — вероятно так же стучала она пятьдесят, сто лет назад, — и тотчас доносится фырканье мотора проносящейся по улице автомашины. На зеркальной глади воды чернеет точка — рыбак в лодке, окаменевший над своим поплавком.

Добротный каменный дом смотрится окнами в пруд.

— Тут у нас детясли, — поясняет Николай Дмитриевич.

— Господский дом, — как эхо, отзывается Павел Петрович, весь во власти воспоминаний.

Мимо кинотеатра, мимо бывшего «господского дома», отданного теперь самому юному поколению полевчан, мы идем домой, где уже ждет кипящий самовар, душистый, свежей заварки, чай с молоком — по-уральски! — и горка румяных, подогретых в печке, уральских картофельных

шанег, а паче того ждут четверо наследников Николая Дмитриевича, сгорающих от нетерпения посмотреть на «дедушку Бажова».

Кабинет секретаря райкома. Он больше похож на минералогический музей, нежели на кабинет ответственного партийного работника. Подоконники завалены образцами руд и минералов. В небольшом полированном ящичке под стеклом хранится бронзированный слепок с самородка, о котором мы слышали в вагоне, — плоский, вытянутый и гладко обкатанный, похожий на неестественно громадный желтый боб. Даже пепельницей служит кусок руды в виде пузыря!

Наш приезд совпал с большой работой по составлению материалов о естественных ресурсах района, проводившейся по заданию обкома партии и облисполкома. Материалы предназначались для отправки в Москву. Секретарь райкома с увлечением занимался этим делом. Копался в архивах, изучал историю своего района, ездил на вновь открытые горные разработки и даже просто по геологическим шурфам, стараясь собрать как можно более полные сведения.

— Вот недавно графит нашли, асбест, — принялся показывать он, развертывая бумажные свертки. — Качеством еще не очень высоки, но и поиски-то были самые поверхностные. Копнуть — так, может, и не то найдется. — И он стал перечислять, какие богатства еще надеются разведать в ближайшем будущем.

Павел Петрович внимательно слушает, кивает головой, а сам нет-нет и задержится внимательным взглядом на собеседнике, незаметно словно прощупывая его.

Войдя в кабинет, он вначале опустился в предложенное ему глубокое мягкое кресло, но затем поднялся и пересел на стул, а спустя еще минуту встал и подвинулся к столу; одной рукой оперся о край его, а другой, поставленной на локоть, повертывал перед глазами то, что подавал ему секретарь, и так, стоя, оставался в течение всей беседы.

Иногда, переспросив, он что-то заносил в книжечку, которую вынимал из нагрудного кармана и тут же пря-

тал. Порой задумывался на пять — десять секунд и опять спрашивал. Казалось, он искал что-то, известное одному ему. Попутно высказывал свои соображения — где, на его взгляд, возможны еще залегания того или иного ископаемого. Не забылись родные места!

Характерно, что сбор так называемого материала начался незаметно, как бы сам собой, точно тут не было писателя, создателя широко известной «Малахитовой шкатулки», а сам Бажов приехал совсем по другому делу, не имеющему никакого касательства к литературе.

Беседа закончена. Теперь у Павла Петровича одно желание — поскорее отправиться в объезд по району.

— В Косом Броду, в Полдневой побывайте, — наказывал на прощание секретарь. — Там старички много кое-чего сумеют рассказать. Помнят, не забыли. На Гумёшки съездите, Криолит посмотрите. Многое, пожалуй, теперь и не узнаете... На Азов тоже поедете?

— Ну как же, — опять согласно кивает Павел Петрович. — Непременно надо съездить.

Вот и машина подкатила к крыльцу. Едем!

С чего начать? Решили — с Азова.

Азов от Полевского недалеко, километров пять-шесть. Но проехать прямиком трудно, почти невозможно, — лес, чащоба, болота. Пришлось в обход, через Зюзельский рудник, расположенный почти у самой подошвы Азов-горы.

Дорога на Зюзельку вымощена камнем. Местность болотистая, покрытая чахлым лесочком. Но за этим ничем не примечательным пейзажем скрываются большие богатства, частичное представление о которых мы получили в кабинете секретаря райкома партии.

Зюзелька — деревянный поселок, выросший в расчищенной от леса низине. Новые жилые дома обычного типа, какие можно встретить в наше время в любом молодом поселке, возникшем на еще вчера не обжитом месте. Новое здание рудоуправления, столовая, клуб. Свежеобструганное дерево не успело потемнеть на солнце. Новые копры шахт. Одна — действующая — шахта расположена в черте поселка. Под эстакадой грузятся рудой автомашины (железной дороги на Зюзельку тогда не было, ее построили в годы Великой Отечественной

войны). Другая шахта — Капитальная — в отдалении, у леса. Она достраивалась и вскоре должна была вступить в эксплуатацию. Огромный, обнесенный изгородью, пустырь между шахтами провалился в подземные выработки, образовав глубокую впадину, наподобие кратера вулкана, — это как напоминание о труде прошлых поколений горняков.

Рудник немолод, и старое напоминает о себе. Еще в 1909—1910 годах здесь существовали казармы для рабочих, в казармах — нары в два яруса. Нижние — для холостых, верхние — для женатых... Кому невмоготу становилась такая жизнь, селились в Полевском и Северском. Дороги между Северским заводом и Зюзелькой не было; ходили по двум жердям, брошенным по болоту.

До того, как был заложен рудник, по речкам Железянке и Зюзельке разрабатывался богатейший золотой прииск. Места были глухие — тайга, кругом топи, ни дорог, ни тропинок. Отыщет старатель богатую жилу, заприметит местность, «знаки», какие надо, оставит. Назавтра пришел — ни примет, ни «знаков»... Сколько угодно ищи — не найдешь. Будто в колодец все провалилось! Так и звали эти богатые, но «заколдованные» места — «Синюшкин колодец».

А почему «Синюшкин»?

Там, где залегают медные руды, в сырую погоду обычно появляется синеватый туман. Вязкий, тяжелый, медленно стелется он по поверхности земли. Отсюда, надо полагать, и родилось это прозвище «Синюшкин». Отсюда возник сказ Бажова «Синюшкин колодец», а еще раньше был написан им очерк «Под знаком синего тумана», рисующий тяжелую, безрадостную долю рабочих медной промышленности дореволюционного Урала.

Ко времени описываемой поездки работа над сказом «Синюшкин колодец» была уже закончена, и он должен был вот-вот появиться в печати, но Павел Петрович все продолжал очень живо интересоваться Зюзелькой, прошлое которой послужило первоосновой для создания одного из лучших его произведений. Он начал расспрашивать о Зюзельке еще в машине шофера, однако подробную беседу о современном состоянии рудника отложил до возвращения с Азова. Азов манил его.

Постепенный подъем на гору начался почти сразу же за последними строениями Зюзельки. Едва заметная полевая дорожка виляет из стороны в сторону. Следуя ее капризным поворотам, наш «газик» то спускается в неглубокие лощины, то продирается сквозь кусты, то лезет круто в гору. Скоро не стало и этой дорожки. Машина идет прямо по лесу, оставляя за собой глубокие колеи примятой травы.

А трава высока, колеса целиком утопают в ней; местами она поднимается выше бортов. Воздух насыщен ароматом цветов и жужжаньем слепней. Слепней мириады! Хорошо, что мы не воспользовались лошадью, которую предлагали нам на руднике, — слепни наверняка довели бы ее до бешенства.

Чем дальше, тем круче подъем. На пути часто попадаются огромные прелые колоды, целые стволы поваленных бурей деревьев толщиной в два обхвата. Вот пень, в дупле которого могут свободно стоять два человека. Павел Петрович охотно принимает предложение сняться в дупле и позирует, улыбаясь, надвинув кепку глубже на глаза, чтобы не слепило солнце. Весело шутит: «Вроде как леший!»

Все глуше, дичее лес, хотя проехали мы не так уж много. Каков же был он лет двести—четыреста назад, когда первые отряды русских храбрецов пробирались ставшей теперь почти мифической «Азовской тропой» мимо этих гор в далекую, манящую Сибирь?

Наш водитель ловко объезжает все препятствия. Он, видимо, твердо решил взобраться на вершину Азова не иначе как на автомобиле! Павел Петрович восклицает:

— На Азов — и вдруг на машине?! Удивительно! До чего же времена меняются!

Стоп! Впереди меж стволов деревьев проглянуло что-то темное, каменное, громадное. Близка вершина — шихан. Дальше возможно только пешком.

Вылезаем из машины, и тут Павел Петрович обнаруживает, что всю дорогу держал на согнутой руке драповое пальто, захваченное из дому «на всякий случай» (у него хронический бронхит, и жена наказывала беречь себя).

— Никакой догадки не стало, — сердится он сам на

себя, освобождая затекшую руку и кладя пальто на сиденье.

Поставив машину в тень, лезем по тропинке куда-то вверх. Камни, шишки катятся из-под ног. Низко нависли ветви, стегают по лицу, приходится раздвигать их руками. Мелькнула и исчезла в траве змея — не то уж, не то гадюка.

Павел Петрович решительно отвергает всякую помощь, которую ему поочередно предлагают то один, то другой из спутников, подавая руку или пытаясь поддержать его. Он идет в середине цепочки и только время от времени настойчиво повторяет:

— Коля, вересовник где? Палку надо!

Лишь на самом трудном участке, когда гора, казалось, буквально нависла над головой и пришлось карабкаться, цепляясь руками за острые выступы скал, он переместился из середины цепочки в конец.

Влезли. Наконец-то! Ровная площадка, много тени — кусты, деревья. Под березами избушка с дерновой крышей. В избушке ведро с водой. Напились. Вода прохладная, вкусная — ключевая.

Метрах в пяти от избушки дымит костер. Огонь едва виден в клубах сизого дыма, выбивающегося из-под дерновины, наброшенной на поленья. Две лошади стоят, поникнув мордами, над костром, отмахиваются хвостами, прядут лениво ушами, щурясь от едкого дыма. Подозрительно пахнет паленой шерстью. Одна из лошадей резко встряхивается и опять лезет мордой в костер. В этом единственное спасение от оводов. Людей — ни души.

Но это еще не вершина. Площадка упирается в скалы. На самой высокой из них триангуляционная вышка. Это ее мы видели с Думной горы. Там — самая высокая точка Азова.

Берем последнее препятствие. Павел Петрович — замыкающим.

Вышка служит геодезическим знаком и одновременно наблюдательным пунктом лесоохраны. На ее площадке дежурный охраны зорко посматривает по сторонам. Второй дежурный бродит где-то в лесу, собирает на обед грибы и ягоды. Это их избушка и кони.

Ну вот мы и наверху. Сколько здесь воздуха и света! Какая высота! Глубоко в зеленой долине белеют домики Полевского. Окрестные холмы с величавой высоты Азова кажутся едва заметными возвышенностями, весь рельеф сглажен, словно по нему прошлись утюгом. Плывут облака. Даль подернута дымкой.

— Жаль, — говорит наш проводник, служащий Зюзельского рудоуправления. — В ясную погоду отсюда Свердловск видно.

Идем полюбоваться на скалы «Ворота». Представьте себе две огромные каменные глыбы, поставленные на попа, одна против другой. Между ними узкий проход, метра в три шириной. Это своеобразный перевал через Азов. Темная окраска камней — в тени они кажутся почти черными — контрастирует с изумрудно-яркой, залитой солнцем зеленью травы и кустов. Место волшебное, чарующее.

— Не здесь ли девка Азовка гостей принимала? — шутит Павел Петрович. — Эй, где ты? Откликнись! Покажись!

По некоторым из легенд, здесь, на Азове, скрывались в старину разбойники, или «вольные люди». Ну, а где разбойники, там и клады. Охраняет эти клады девка Азовка. Она невиданной красоты и неслыханно большого роста. Живет она в горе и заманивает к себе неосторожных путников. Если же кто вздумает сам проникнуть в гору, девка Азовка «в гору не пускает, ветер пускает. От ветра свеча гаснет и дышать тяжело...».

В других легендах говорится о том, что когда-то жили в здешних местах «стары люди» — неведомый народ, населявший в глубокой древности Урал. Жили безбедно, занимались рыбной ловлей да охотничьим промыслом, а богатство свое — золото самородное, хризолиты — вовсе и за богатство не считали. Но вот пришли в эти края чужие, злые люди. Узнали про богатство «старых людей» — стали требовать, чтобы те отдали его им, стали притеснять, обижать их. Видят «стары люди», что не будет им покоя, собрали все золото да каменья драгоценные в пещере на Азов-горе, сами туда же забрались, обрушили все выходы из пещеры и завалили там себя вместе со своими сокровищами.

От всего народа остался только один человек — девка Азовка. Она и стережет клад...

Устные предания, передаваемые от отца к сыну, от сына к внуку, упорно сходятся на том, что раньше на Азове были пещеры. Сейчас на Азове никаких пещер нет, нельзя установить даже, где были входы в них, если они были вообще... Можно, конечно, допустить, что все они завалились со временем. Во всяком случае, по мнению геологов, если эти пещеры и существовали, то они могли иметь только искусственное происхождение, так как породы, слагающие гору, не допускают образования больших пустот естественным путем.

Как бы то ни было, но неоспоримо одно — Азов-гора всегда занимала видное место в устном народном творчестве Урала, и это, очевидно, имело свои корни.

В старину через Азов шла тропа в Сибирь. Во времена Грозного этот путь связывал Сибирь с Уфой. По этой тропе двигалась камско-чусовская вольница. Эта же тропа служила для пересылки воевод, снаряжения, воинского пополнения. Несомненно, характерный и видимый издалека профиль Азова был приметным пунктом — маяком — на этом историческом пути через завоеванные, но не освоенные еще земли, покрытые дремучими лесами и таившие на каждом шагу много опасностей. Весьма вероятно, что некоторые из удальцов находили временный приют на Азове. Все это порождало новые сказания и легенды о горе. Можно предположить, что первыми смельчаками землепроходцами было принесено и это название — Азов, более характерное для южных земель России, нежели для Урала.

Естественно, что такой вдумчивый и тонкий художник, как Бажов, посвятивший всю свою жизнь собиранию народных дум, не мог пройти равнодушно мимо темы Азов-горы. На материале преданий об Азове построен один из самых первых его сказов — «Дорогое имячко».

Бажов говорил:

— Всякая легенда не случайна. В легендах народ высказывался. Либо это его желания, мечты, либо отзвук каких-то давно прошедших событий, либо попытка по-своему объяснить недоступные ему тайны природы,

а иногда все вместе. Дело литератора, фольклориста — отыскать это зерно, правильно понять, объяснить его. Сказки не для одной забавы складывались. В настоящей, нефальсифицированной, сказке обязательно есть народная мудрость и скрытый смысл, по-ученому — подтекст.

Помню, как ликовал Павел Петрович, когда на Азове действительно обнаружились интересные находки. Случилось это месяц спустя после нашей поездки в Полевское.

— Слышал? — говорил торжествующе Павел Петрович по телефону. — Нашли ведь! Не зря, стало быть, толковали о «старых людях» да о кладах, зарытых в горе. Не зря! — И немедленно вновь поехал в Полевское, чтобы самолично убедиться в достоверности фактов, сообщения о которых вскоре проникли и в газеты.

А нашли вот что.

После выхода в свет «Малахитовой шкатулки» интерес к Азов-горе резко повысился. Ее стали часто посещать экскурсии школьников и взрослых, большие группы туристов приезжали издалека, чтобы увидеть эту сказочную гору. Однажды на Азов поднялась большая компания полевской молодежи. Вдруг видят — среди камней, в тени под корнями сосны, поваленной ветром, что-то блеснуло. Заинтересовались, стали копать и близко, у самой поверхности, нашли клад медных вещей, всего тридцать шесть предметов, — жертвенные изображения каких-то диковинных, клювастых птиц, относящихся к бронзовому веку. Ребята даже потерли их песком, чтобы убедиться, не золото ли. Хотели и отчистить позеленевшие предметы. «Ну, тут нашелся умный человек, сказал, что зелень не надо оттирать», — удовлетворенно потом рассказывал Павел Петрович, для которого все это было нечто большее, чем обычное археологическое открытие.

Позднее было найдено еще четыре предмета, в том числе копье весом около полутора килограммов. Медь литая. Для прошлых насельцев края все эти вещи, несомненно, являлись даже бо̀льшим сокровищем, нежели золото.

Находки вызвали громадный интерес в ученом мире.

Все они представляли исключительную научную ценность и были отправлены в Центральный исторический музей, в Москву.

По заключению археологов, здесь было мансийское стойбище тысячелетней давности, еще до разделения племен на манси и хантэ.

Так самым блистательным образом подтвердилась мысль, которую Бажов не раз высказывал: в основе подавляющего большинства легенд лежит научно доказуемый, но неизвестный нам исторический факт.

...Жаль покидать Азов. Мысли невольно переносятся к тем временам, когда у подножия этих величественных скалистых вершин пробирались на восток вооруженные караваны. Сколько требовалось мужества и решимости, чтобы идти в глубь неведомых земель!

Спускаемся вниз, снова садимся в машину. Мотор не включен, но автомобиль легко скользит, придерживаясь проложенной на переднем пути колеи. Но... что это? Колея исчезла. Некоторое время шофер рулит наудачу, затем резко тормозит.

— Куда? — спрашивает он проводника.

Тот долго осматривается по сторонам и не очень уверенно указывает направление.

Через пять минут уперлись в болото. Взяли правее — болото. Объехали влево — опять болото.

— Вот она, девка Азовка-то, завела да бросила! — шутит Павел Петрович.

После подъема на Азов-гору он сдержан, молчалив более обычного...

Поиски дороги продолжаются с тем же успехом. Избрали другое направление — уткнулись в ручеек, кочки, болотце — машине не пройти. Точно посмеиваясь над людской беспомощностью, нас неотступно сопровождает серенькая трясогузка. Перепархивает с ветки на ветку, трясет хвостиком. Может, это девка Азовка обернулась птичкой?

Вдруг... «У-у-у-у!..» — завыл невдалеке гудок.

— На руднике! Вон куда ехать надо, — встрепенулся проводник.

Через четверть часа мы въезжали в Зюзельку. Совсем близехонько и плутали-то!

У маленького домика, на дверях которого значится табличка:

1-й горноспасательный отряд,
2-й оперативный пункт при
Зюзельском рудоуправлении,

выстроилась шеренга людей в брезентовых комбинезонах. На бойцах-горноспасателях круглые упругие каски, за спиной блестящие кислородные приборы — респираторы; гофрированная трубка респиратора подведена ко рту для дыхания, на голове лампочка-фонарик.

Командир отряда, высокий, мужественного вида человек, по национальности татарин, внимательно проверяет исправность снаряжения каждого бойца. Предстоит тренировочный спуск в шахту. Этого не было на старом Зюзельском руднике. Да, пожалуй, и на всех старых рудниках Урала.

Павел Петрович следит за горноспасателями долгим, внимательным взглядом, пока они не скрываются из виду.

Пока мы поднимались на Азов, в Зюзельке успели приготовиться к встрече. В клубе полным-полно народу — как раз кончилась смена. Все ждут Бажова.

На сцене цветы; над сценой, на большом кумачовом полотнище, четкая надпись: «Привет нашему знатному земляку, писателю сказов народных, Павлу Петровичу Бажову!»

Появление Павла Петровича было встречено продолжительными аплодисментами. Он растроган, смущен этим приемом. Особенно смутила его надпись на полотнище.

— Ну, право... ну что это?.. Нет, верно, зачем? — бормочет он, усаживаясь в президиуме.

Девочка-татарка поднесла дорогому гостю букет полевых цветов — успели сбегать и нарвать! Сказала приветствие сначала по-татарски, потом по-русски, не совсем чисто выговаривая некоторые слова. Павел Петрович слушал, поднявшись с места, склонив голову немного вбок и глядя куда-то перед собой, в позе, которая ясно говорила, что можно бы и без всей этой церемонии.

Приняв цветы, он сказал:

— В альманахе «Уральский современник» скоро будет напечатана сказка «Синюшкин колодец». Это будет мой ответ зюзельским пионерам.

Дальше началось то, чем обычно всегда тяготился Павел Петрович: каждый выступающий считал своим непременным долгом сказать похвалу в адрес Бажова.

— Это при живом-то человеке?! — возмущался он в перерыве.

Популярность Бажова на Урале была исключительно велика. Его знали хорошо в лицо во многих городах и рабочих поселках края. Очень часто незнакомые люди здоровались с ним на улице.

Нетрудно понять, в чем был секрет этой популярности: писатель Бажов был близок к народу, все его творчество являлось выражением дум и чаяний народных, концентрировало в себе народную мудрость. Этому способствовало и большое личное обаяние Бажова, его приветливость, которую ощущал всякий, кому хоть раз удалось встретиться с ним.

Особенно близок был он той части уральских рабочих, которая помнила прошлое. Он сумел показать это прошлое так, как до него не показывал никто. Позднее, вновь бывая в Полевском, мне не раз приходилось встречать старого рабочего, с гордостью говорившего, что он вместе с Бажовым в президиуме сидел.

Сам Павел Петрович относился к таким встречам с народом в высшей степени серьезно, дорожил ими. Стараясь, как говорится, «не ударить лицом в грязь», к встрече с полевчанами, например, он пытался что-то записывать на бумажке — готовил конспект для выступления. Но потом бросил. «Все равно не вижу, говорю, что на язык придет». «Приходило» как раз то, что нужно, хотя сам Бажов ставил себя как оратора очень низко.

Все близко знавшие его обычно поражались тому обилию сведений, фактов, цифр, которыми была начинена бажовская голова. Память у него была поразительная, а знания поистине всеобъемлющие, энциклопедические, особенно же по уральской истории. Но, пожалуй, самым редкостным качеством было то, что, когда ему приходилось говорить перед аудиторией, он в каждом отдельном случае умел найти для выражения своих

мыслей очень доходчивую, а подчас и неожиданную форму. Таким было и его выступление в Зюзельке.

Он заговорил о... мечте. Поначалу речь казалась несколько отвлеченной, но как-то незаметно она перешла на вещи близкие, понятные каждому. Павел Петрович говорил:

— Мечта у человека существует с давних времен. А мечта — она ведь далеко уведет, если за нее бороться! Ленин говорил: «Надо мечтать!» Но раньше каждый мечтал в одиночку, потому и толку не получалось. Вот, к примеру, я сейчас ехал и видел — занимаются горноспасатели. Хорошо. А раньше это увидел бы? Не увидел. Случилось несчастье в шахте — пропадай. Теперь совсем не то. А ведь это была тоже мечта, чтобы труд был безопасным. Мечтали о разном, а все сходились в одной точке — в вопросе о счастье народа. Отражение такой мечты есть в каждом сказе, легенде. В одной из легенд об Азов-горе говорится о том, что есть такое имячко, перед которым откроются все сокровища, скрытые до поры до времени. И не только сокровища земных недр, а и сокровища человеческой души. А это важнее. Теперь мы знаем такое имячко — партия, коммунист. Большевистская партия организовала народ на борьбу и привела к Великой Октябрьской социалистической революции, которая дала народу счастье. Партия научила нас и мечтать так, чтобы мечта становилась явью, сбывалась. И чтобы каждому от этого становилось лучше...

Под конец он сказал:

— Вот и у меня есть мечта: написать книгу о современных уральских мастерах, показать труд рабочего человека в наши дни...

Увы, эта мечта осталась неосуществленной...

После собрания он спрашивал:

— Ну как я говорил? Ладно, что ль?

Следующий день посвящался осмотру Криолитового завода («Криолита», как все говорят здесь) и Гумёшкам. С нами поехал старый знакомец Павла Петровича — Дмитрий Александрович Валов, местный уроже-

нец, потомственный рабочий, в те годы председатель Полевского райисполкома, человек еще сравнительно молодой, беспокойный, ищущий и, как все полевчане, влюбленный в свой край.

О приезде Бажова знали, — видимо, предупредили из райкома. Машина не успела остановиться у подъезда заводоуправления, как на ступенях появились представители администрации, парторг, один из членов завкома. С ожиданием и явной симпатией они смотрели на подходившего к ним невысокого, уже в больших годах, человека, с тем характерным, запоминающимся обликом, который так «шел» Бажову: кепка, сапоги, черная одежда, лицо библейского мудреца, неспешная, как бы чуть натруженная, походка и, конечно, борода.

В коридоре заводоуправления было необычно оживленно. Служащие выходили из боковых помещений и нарочно старались попасться навстречу редкому гостю, заглядывая ему в лицо. Какой-то высокий человек, по наружности рабочий, решительно шагнул от стены, протягивая руку:

— Кажется, товарищ Бажов?

— Он.

— Здравствуйте.

Павел Петрович внимательно всматривается.

— А я вас не узнал.

— А вы меня и не знаете. Я вас знаю.

— Тогда сказались бы...

Тотчас обок появился другой.

— Вы приехали к нам беседу проводить?

— А я не знаю, — ответил Павел Петрович смущенно и оглянулся на сопровождавших его людей, как бы советуясь, что ему надлежит делать. — Хотелось бы сначала посмотреть...

Первый все не отстает, шагая рядом. Вскоре выясняется, что он хотел бы рассказать Павлу Петровичу кое-что касающееся прошлого Полевского завода и специально ждал приезда Бажова.

— Ждали? — удивляется Павел Петрович. — А откуда вы узнали, что я должен приехать?

— Ну как же! Раз книгу о полевчанах написали, значит, должны приехать.

В кабинете директора новое знакомство. Явился, вызванный секретарем парткома, один из местных старожилов. Без излишних околичностей спросил, зорко поглядывая на приезжих:

— Чем могу служить?

— Познакомься, — сказал директор. — Это товарищ Бажов.

— И я Бажов.

Оба Бажовы и оба полевские.

— Может, родня? — поинтересовался парторг.

Сейчас же между двумя Бажовыми завязался оживленный разговор, в течение которого вспоминались Савельичи, Ивановичи, Васильевичи, после чего Бажов-местный объявил:

— Нет, я другого колена.

Разговор продолжался с той же деловитой обстоятельностью, которой положено быть между двумя пожилыми людьми, и после этого, но теперь уже на ту основную тему, которая так влекла Бажова-писателя, — прошлое Урала, жизнь и быт людей, мастерство незаметных тружеников. Секретарь парткома знал, кого пригласить для беседы.

Затем в сопровождении Валова и одного из инженеров заводоуправления отправились по цехам.

Путешествие по заводу длилось больше двух часов. Завод интересный, производство сложное. Здесь вырабатывался криолит (что в переводе с греческого значит «ледяной камень»), продукт, необходимый для расплавления глинозема — белой окиси алюминия, из которой получают металлический алюминий. От старого химического завода, построенного в 1908 году Злоказовым и вырабатывавшего серную кислоту, осталось лишь одно воспоминание.

Уже сам факт превращения одного вещества в другое всегда похож на чудо. К этому главному чуду по ходу движения технологии прибавлялось много других. Реплики, которые время от времени подавал Павел Петрович, свидетельствовали, что он отлично разбирается в процессе, хотя химия никогда не была его специальностью.

В одном месте он сказал Валову:

— Вот, Дмитрий Александрович, плавиковый шпат надо найти.

Тот ответил как о деле, давно решенном:

— Найдем.

Плавиковый шпат — один из основных видов сырья — привозился издалека.

Его заинтересовала плавиковая кислота — тяжелая, бесцветная, стекловидная жидкость, которую «не держит» ни стекло, ни свинец, ни железо, только парафин. При производстве ее выделяется газ, неопасный для людей, но входящий во взаимодействие со стеклом. От этого во всех домах поселка Криолитового завода стекла в окнах матовые, во всех цехах матовые электрические лампочки. А когда ввинчивали, были обыкновенные, прозрачные. Павлу Петровичу особенно «понравилось», что с течением времени лампочка рассыпается сама собой.

Но, как я понял потом, все эти занятные подробности возбуждали у него интерес постольку, поскольку были связаны с трудовой деятельностью людей.

Под конец он неожиданно заявил:

— А ведь это похоже на литературный процесс: механическая смесь различных компонентов должна войти в химическую реакцию и дать нечто совершенно новое, не похожее на старое. Что, скажешь, не так? — И прибавил через минуту: — Все в писательском котле должно перекипеть так, чтобы получилось новое качество. Только тогда можно говорить о творчестве.

Путешествие по заводу утомило его. «Ноги у меня устали», — пожаловался он. Мне показалось даже, что он облегченно вздохнул, когда мы наконец покинули территорию цехов и распростились с провожатым, который так усердствовал в разъяснении технологического процесса, так сыпал формулами, что, пожалуй, хватил через край.

Но усталость как рукой сняло, когда мы вышли на Гумёшки, на те самые Гумёшки, поэтизации которых отдал столько сил и таланта сказочник Бажов. Завод занимает часть этого знаменитого урочища, прозванного в старину Медной горой, и потому-то Павел Петрович повторяет в сотый раз:

— И это — Гумёшки?! Неузнаваемо изменилось...

Сразу от завода местность на большом протяжении изрыта, всклокочена так, что не узнать, какой она была первоначально. Может, и впрямь была гора? Но сейчас никакой горы нет. Даже наоборот — центр урочища занимает громадная выработка, в которой свободно поместится Криолитовый завод со всеми его цехами. Один край выработки зарос сорной травой, другой, противоположный, служит местом свалки огарков с Криолита. На дне образовалось глубокое озеро. Вода в нем изумрудно-зеленая — ну точь-в-точь малахит!

Несколько отступя от этой основной выемки, в разных местах видны буровые разведочные вышки. От ближайшей из них доносится металлическое звяканье — идет бурение.

Около озера сохранились остатки заброшенной шахты: полузасыпанный землей и мусором ствол со следами деревянного крепления (в-сруб, как колодец), развалившийся тяговый барабан-ворот для подъема из шахты. Эти любопытные образцы техники прошлого — жаль, что нельзя поместить их в музей! — живое напоминание о минувшей жизни и славе Гумёшек.

...В 1702 году начальник Сибирского приказа, думный дьяк Виниус, послал «прикащиков ближних слобод капитана Василья Томилова да другого Ивана Томилова» осмотреть место по речке Полевой, называемое Гумёшками. Основанием этому послужило заявление жителей Арамильской слободы Сергея Бабина да Кузьмы Сулеева, нашедших на указанном месте следы заброшенных горных работ:

«Вверх по Чусова-реке, промеж речками Полевыми, на ровном боровом месте, два гумёнца[1] мерою в длину по 55 сажен, поперек по 30 сажен; да у тех же гумёнец два озерка в длину по 30, в ширину по 10 сажен; и на тех гумёнцах ямы аршина по 3 и по 4, и в тех ямах каменья малое число, а в иных и нет; а в одной яме нашли каменья во все стороны по сажени да подле признаки железной руды. А около тех гумёнец изгарины многое число, что выметывают кузнецы из кузниц».

[1] Гумёнцем называли плоский невысокий холм.

Так был открыт один из древнейших рудников на территории нашей страны — Гумёшевский, или, по-местному, Гумёшки.

В заброшенных шахтах — копанях — Гумёшек были найдены кайла, молоты, медные и костяные заступы, кости, полуобгорелая сосновая лучина, с помощью которой, видимо, освещались под землею древние рудокопы. Деревянные крепления отличались необычайной твердостью. Зажженные, они горели зеленым пламенем, выделяя смрадный запах. Здесь же нашли рукавицы и сумки, сшитые из лосины. На рукавицах сохранилась даже шерсть. Сшиты они были из кожи с головы лося, так, что «ухо» надевалось на большой палец, и рукавица могла служить как для правой, так и для левой руки.

Кто были первые рудокопы, добывавшие здесь медь? Следы чьей работы сохранились на Гумёшках?

По народным преданиям, это были «чудаки», или чудь, — народ бронзового века, исчезнувший много веков назад, иначе говоря, те самые «стары люди», о которых повествует азовская легенда.

Чудским металлургам были под силу только углекислые соединения меди, как, например, малахит, содержащий от сорока до семидесяти процентов чистой меди. Гумёшки же оказались редкостным месторождением малахита. Такой взгляд на Гумёшки разделяется многими учеными.

Однако пытливый ум Бажова нашел и здесь свое собственное, самостоятельное суждение. В очерке «У старого рудника», говоря о прошлом Азова и Думной, Бажов пишет:

«В связи с этим можно было даже подумать, что открытые в начале XVIII века «два гумёнца промеж речками Полевыми»... были просто остатками работы одной из ватаг, долго отсиживавшейся здесь, в удобном месте. Ведь известно же, что крестьяне Арамильской слободы задолго до постройки в этом краю первых заводов плавили железо в «малых печах», продавали его и даже платили за это «десятую деньгу». Почему таких же «плавильщиков» и «ковачей» не предположить среди ватаги «вольных людей»? Потребность в металле у них,

конечно, была большая: и для оружия, и в качестве товара...»

В 1719 году началась новая разработка Гумёшек. На реке Полевой, в трех километрах от Гумёшек, вырос Полевский медеплавильный завод. Со временем здесь построили и домну и, не оставляя выплавки меди, начали выплавлять и железо.

Обилие железных руд повлекло за собой постройку Северского железоделательного завода на речке Северушке, в семи верстах от Полевского. Полевский, Северский и построенный около того же времени Сысертский, а позднее также заводы Верхсысертский и Ильинский и составили Сысертский горный округ, многократно поминаемый у Бажова.

Сперва заводы принадлежали казне, а потом были переданы купцу и солепромышленнику Турчанинову (это его заводовладельческий знак — цапля — торчал на шесте над плотиной; прежде эти знаки были натыканы там и сям).

Гумёшки оказались настоящим кладом для заводчиков и давали баснословные прибыли. Однако всемирную известность рудник приобрел все же не медью, а своими малахитами. Здесь не редкостью было встретить глыбу чистого малахита весом до полутора тонн. Такая глыба малахита и по сей день хранится в минералогическом музее в Ленинграде. Другая глыба, «во сто пуд», до последнего времени находится в Свердловском музее краеведения. Не исключено, что встречались и более крупные гнезда малахита, но техника того времени не позволяла поднять наверх такую тяжесть, их приходилось дробить в шахте и извлекать по частям. Лучший малахит использовался как поделочный камень, остальное дробилось и переплавлялось на медь. Вот откуда родилось и название «Малахитовая шкатулка»...

Для работы на рудниках и заводах владельцы переселяли из Соликамского уезда крепостных крестьян. С отменой крепостного права Гумёшки стали чахнуть. В 1871 году, «ввиду обеднения руд, непомерной дороговизны работ, вследствие сильного притока воды и больших затрат на укрепление шахт», Гумёшевский рудник был закрыт, шахты оказались затопленными.

...И вот новое рождение Гумёшек. В день нашего посещения на выработках встретились комиссия из инженеров, геологов, приехавших из Свердловска и Москвы, и группа старейших жителей Полевского. Встретились, чтобы решить судьбу Гумёшек.

Ведь не выработано богатство Гумёшек. Разведочное бурение показало, что руда лежит здесь, дожидается, когда ее отправят в раскаленные желудки ватержакетов и отражательных печей. Взято лишь то, что было наиболее доступно, легко взять. Лежит медь и под Северским прудом, — может быть, когда-нибудь придется его спустить.

Богатейшей шахтой на Гумёшках была старейшая — Георгиевская. Ее и искали с помощью стариков. Долго ходили от одной заброшенной шахты к другой, спорили, судили-рядили.

Это новое оживление на Гумёшках безмерно радовало Павла Петровича. Он тоже походил со стариками, тоже подавал советы, где лучше искать, откуда начинать откачку старых шахт, и, глядя на него в эту минуту, трудно было решить: кто это — работник пера или многоопытный, искушенный во всех тайнах земных «кладовушек», горщик, добытчик уральских недр?

Поразительна была зоркость глаза Павла Петровича. Кажется, весь погружен в рассматривание старой «листвяной» крепи. В это время неподалеку, на отвале, взметнулся густой, жирный, черный столб сажи, дыма. Немедленно следует реплика:

— А ведь это техническое хулиганство: столько выпускать в воздух! Что они, не видят?!

Изменения, которые обнаружил Бажов на Гумёшках, нашли свое отражение первоначально в небольшой записи «На том же месте», а затем в очерке того же названия, в образе «советского старичка» пенсионера и — противопоставление ему — «безвредного старичка» прошлого. Короткая, по существу почти хроникерская, зарисовка эта замечательна тем, что очень скупыми, лаконичными штрихами (что характерно для всей творческой манеры Бажова) убедительно изображено огромное расстояние между тем, что было когда-то, и тем, что стало теперь, и изображено «через человека».

На следующий день с утра отправились на Северский завод.

Сейчас, в дни, когда пишутся эти строки, бывшая «Северка» — вполне современное предприятие. В годы, последовавшие за победоносным окончанием Великой Отечественной войны, в Северске пущены цехи белой жести, оборудованные по последнему слову техники. А тогда, в 1937 году, многое еще дышало стариной.

В кузнечном цехе нам показали бездействующий паровой молот (ныне он, кажется, убран, а жаль!), похожий на перевернутую римскую цифру V. На этой неуклюжей для современного глаза машине виртуозно работали крепостные мастера. В анналах истории завода сохранился такой эпизод. Однажды в цех пришел владелец с гостями — похвалиться предприятием. Остановились у молота. Барин потребовал, чтобы ковач показал свое умение в обращении с молотом. Тогда тот не долго думая попросил у хозяина часы-луковицу — дорогую, заграничную вещицу — и, прежде чем кто-либо успел ему помешать, положил ее под молот да как «ахнет» по часам! Барин побледнел — пропали часы! А ковач спокойно предлагает: «Вынь-ка». Оказалось, и вынуть нельзя — зажаты — и целехоньки, даже крышки не помялись. Настолько точно — с размаху! — опустил молот. Барин рассердился, а ковач смеется... О замечательных мастерах прошлого поведал Бажов в сказах «Живинка в деле», «Иванко Крылатко».

После обхода завода в конторе, в помещении парткома, состоялась продолжительная беседа Бажова со старейшими северскими рабочими. Насколько мне удалось заметить, Павел Петрович особенно интересовался теми сведениями, которые мог услышать из уст очевидцев, а не в пересказе. Не знаю, собирался ли Павел Петрович писать что-либо в будущем специально о Северском заводе, так как в его опубликованных работах Северскому заводу уделяется сравнительно немного внимания, но тогда он увез из Северска большой материал.

Когда возвращались обратно, шофер неожиданно сказал:

— Ну, теперь поедем трость искать, — и свернул с дороги в лес.

Оказывается, он не забыл, что Павел Петрович все хотел вырезать вересковую трость «потолще», да никак не попадался подходящий вереск.

Через четверть часа в руках у нашего «патриарха» была свежевырубленная «трость». Подавая ее, шофер сказал:

— Вот вам, Павел Петрович. Прямая и толстая, какую вы хотели. Жидка, кажется, только? Гнется?

— Спасибо, спасибо...

— Смотрите. Можно еще вырубить.

— Что вы, хватит мне! Спасибо.

Павел Петрович был тронут подарком, а больше того — вниманием.

— Палка из родных лесов, — повторял он, потрясая ею с довольным видом. — А что? Вы знаете, какое это дерево? Кремень! Когда высохнет, так затвердеет — никакой нож не возьмет!

Точно так же радовался он, к тому времени депутат Верховного Совета СССР, подарку рабочих Артинского косного завода — набору иголок, производство которых было освоено коллективом завода. Иголки самых разнообразных размеров и форм, — кажется, их было двести штук или что-то около того, — были аккуратно наколоты на два складывающихся в виде книжечки листика толстой чертежной бумаги. Павел Петрович любил показывать этот, на первый взгляд не заключающий в себе ничего особенного, подарок, непременно сопровождая комментариями:

— Ведь вот знали, что подарить! И размерами не велико, а приятно. Поглядишь — и сразу представишь, чем люди занимаются... Кажется — иголка, чего в ней? А не простое дело!

В каждой вещи он умел находить что-то свое, особенное, делающее ее непохожей на другие, — видел ту самую точную деталь, до которой доискивался всю жизнь.

Заглянули на Церковник — есть такое урочище в окрестностях Полевского. С нами Николай Дмитриевич, за проводника — Валов.

Валов — весьма интересная личность. В партии с юношеских лет, активный участник гражданской войны на Урале, партизан и сын партизана. Одна нога ломана — падал в детстве в шахту. На боку стреляная рана — память о белых. Его водили на расстрел колчаковцы, грозились убить кулаки в период ликвидации кулачества, а он жив, бодр и надеется прожить еще сто лет.

Валов невысок, коренаст, как говорится — «неладно скроен, да крепко сшит». Он полон планов, и когда говорит — трудно отличить, где личное, а где общественное. Поначалу кажется — вроде личное, а на поверку опять выходит — общественное...

— Скоро в отпуск пойду, — говорит он, с вожделением предвкушая рыбную ловлю и охоту, и тут же добавляет: — Берильевую руду найду. Один человек свести хотел. Эх, лес — душа моя! Если в лесу раза три не переночую, будто и лета не видал!

— Про плавиковый шпат не забудь, — напоминает Павел Петрович.

Валов утвердительно кивает головой.

Это Дмитрий Александрович, когда обнаружились находки на Азове, немедленно послал туда одного из работников райисполкома, и тот нашел еще четыре предмета. Валовым же были сделаны сообщения для печати. Он позаботился и о том, чтобы ни одна из найденных вещей не была утеряна и вообще не пропала для науки. Ребята, нашедшие чудские украшения, вначале не придали им никакого значения, зато сразу оценил их Валов.

Между Бажовым и председателем рика — бесконечные разговоры, масса волнующих обоих тем, общие интересы.

Но сегодня Валову не повезло. Хвалился, что знает все окрестности Полевского, в том числе и дорогу на Церковник, как свои пять пальцев, а заехали поглубже в лес — сбился, потерял ориентиры и никак не может их найти. Он смущен, озабочен, с загорелого лица льет пот в три ручья. Валов сидит позади шофера и, рискуя ежеминутно вывалиться из машины, всем корпусом переваливаясь через борт, зычно, слегка хрипловатым голосом командует, указывая рукой:

— Давай туда! Сейчас Туранова гора откроется, там недалеко!..

Проходит полчаса. Дороги почти никакой, проехали уже не одну, а пять гор, а Церковник как сгинул. Валов не унывает:

— Как раз Туранову гору-то с другой стороны охватили!

Через десять минут:

— Кажись, последняя горушка...

Еще через четверть часа:

— По средней дороге угадали!..

На Церковник, однако, никак не угадаем. Николай Дмитриевич нетерпеливо ерзает на сиденье, с досадой поглядывает на Валова. Павел Петрович прячет улыбку в усах и бороде.

Наконец машина останавливается. Впереди завал, проезд закрыт. С обеих сторон возвышается сплошная зеленая стена молодого осинника, ольхи, березы; над головой щебечут птицы; блестит роса на листве. Валов выскакивает из машины:

— Дай оглядеться. Ключ должен быть... — Потом решительно бросает: — Пошел на розыски. Кричать буду, — значит, ехать надо!

Уходит, долго не возвращается.

— Сколько лет здесь не бывал, — произносит Павел Петрович. — А помню — все избегано было...

— Забыл Валов, — с сердцем говорит Николай Дмитриевич.

— А я не забыл, — невинно замечает Павел Петрович.

— А именно?

— А я и не знал.

У него отличное настроение, и он часто шутит, оставаясь серьезным, в то время как другие покатываются со смеху. Неудача Валова и вызванная этим задержка не огорчает, а веселит его.

Издали доносится крик:

— Нашел ключ-от! Напился-а-а!

...Вот наконец Церковник. Небольшое лесное озерко, заросшее осокой и рогозом. На воде плавают кувшинки, в воздухе шуршат стрекозы, перепархивают бабочки.

Неподалеку скалистое нагромождение каменных глыб — точно ощеренная пасть сказочного дракона. Цепляясь корнями за трещины в камнях, тянутся вверх стройные молодые сосны.

Озеро искусственное. Образовалось на месте выработки — мыли золото. По свидетельству старожилов, все, кто работал здесь, должны были отчислять сорок процентов от добычи на постройку церкви. Церковь не построили, деньги, конечно, исчезли. Прииск заглох. Так и осталось, как память об этом жульничестве, название «Церковник»...

К вечеру, на закате солнца, мы в деревне Полдневой.

К нашему приезду в сельсовете собрались сплошь старатели — кто в прошлом, кто в настоящем. В подавляющем большинстве люди в годах, с бородами. Уселись с достоинством вокруг стола, сдвинулись поплотнее и выжидающе умолкли, поглядывая на Павла Петровича: с какого-де краю беседу начинать?

Разговор начался с хризолитов. Близ Полдневой находились хризолитовые прииски, едва ли не единственные на Урале. Один из старателей, возрастом старше других, принялся рассказывать:

— Крадче[1] добывали. Запрещали хризолит-то искать. А все равно робили. Ночью робили, а днем в горах скрывались. Лесники нагонят, кричат: «Вон они!» — и давай дуть! Изобьют до крови. Телеги, снасть изрубят. Почитай, все село пересидело в тюремке за хризолит.

— О долгой груде расскажи, — подсказывают сидящие.

— Что за «долгая груда»? — настораживается Павел Петрович.

Он сидит в центре живописной группы — хоть пиши маслом коллективный портрет! Знакомая книжечка-блокнот выложена на стол и раскрыта на чистой странице. Рядом карандаш.

— «Долгая груда», — объясняет рассказчик, — это тридцать четыре человека решили друг за друга держаться, робить вместе, открыто, никого не бояться, —

---

[1] **Крадче** — украдкой, тайком (*уральское*).

артелью. А нарядчики — с ружьями. Стреляли, одного ранили. Народ разбежался. Нарядчиков много, человек восемнадцать. Ну, цельная война у нас с ними получилась. Народ тоже стал постреливать ночами в избу, где нарядчики жили... Они тут же и жили. Загораживались они железными листами. Ну, простреливали. Этим и выжили их.

Он умолкает, ожидая, когда карандаш перестанет двигаться по бумаге.

— Что за нарядчики?

— От Хомутова. Государство ему место сдавало, а он платил ничтожно, и никто ему сдавать добытое не хотел. Ну, нарядчиков и держал. Чтоб, значит, кто не сдает, на его земле не робил.

— Кому же сдавали?

— Известно, частные скупщики во много раз больше платили.

— А сколько все-таки?

— С голубиное яйцо рублей за двести шло.

— А как на сорта делились?

— Четыре сорта было. Хризолит первый сорт — крупный, чистый, зеленый. Второй сорт — мельче. Третий — зеленый, с трещинами. Четвертый — желтый.

— А сейчас, считаете, можно работать? Есть еще хризолиты-то, не все выбрали?

— Можно, можно работать! И зиму и лето! — зашумели, заволновались вокруг, кивая согласно головами.

— Ну, зиму, правда, нельзя, — поправил рассказчик. — А можно работать, можно.

Народу в сельсовете все прибывает. Около дверей столпилась молодежь. Пришли две молоденькие учительницы местной школы и, вытягиваясь через плечи других, стараются рассмотреть Бажова.

Стемнело. Посредине стола поставили лампу-«молнию». Неловкость, какая обычно бывает при встрече с незнакомыми людьми, незаметно прошла. Старики поддакивали один другому, вставляли свои замечания, поправляли, если кто-нибудь говорил не так.

Павел Петрович сидел, облокотившись на стул и опустив глаза на раскрытый блокнот, лишь время от времени, когда задавал очередной вопрос, вскидывал

глаза на собеседника. Со стороны могло показаться, что он слушает плохо и не то погружен в свои мысли, не то дремлет. Но стоило замолчать очередному рассказчику, как немедленно следовал новый вопрос:

— На Иткуле теперь работают?

Или:

— А на Омутинке как?

И сейчас же вставлял сам:

— Ну, это один пропой был, а не работа.

Из этих реплик чувствовалось, как хорошо знает Павел Петрович тему беседы, здешние места. И это еще более оживляло разговор.

— Помногу намывали?

— Всяко бывало. Иной раз на лапти только и заработаешь. Ну, фартнет — так сразу сапоги с набором.

— Пили, поди?

— Не без этого. Известно, в старо-то время все богатство промеж пальцев шло. Найдет старатель золотину, дружок [1] вина принесет и поставит посередь майдана. Пей кто хошь! Дескать, на мою жизнь хватит. Ну, и пропьет все. А потом, почитай, нагишом снова мыть идет.

— Тоскливо было подолгу в лесу жить?

— А это кому как. Есть у нас тут одно место, низменное такое. В лесу. Ничего место, сырое маленько только, — логотинка, словом. Сдавна Веселым Логом зовут...

— Веселым? Это почему?

Полуопущенные веки поднялись, за ними блеснул огонек любопытства и пытливости, карандаш в маленькой, по-женски округленной руке настороженно замер, готовый неторопливо вновь двинуться по бумаге.

Следует пространное и довольно запутанное объяснение, почему лог назвали веселым, «веселухиным» [2], упоминаются какие-то немцы, приезжавшие в эти места

---

[1] Здесь «дружок» — в смысле пара ведер (*уральское*).

[2] Позднее написанный, сказ «Веселухин ложок» связан с Златоустом. Не знаю, оказался ли там свой «Веселый лог» или какие-либо другие соображения заставили Павла Петровича перенести место действия на Южный Урал, но что впервые о «Веселухином ложке» Павел Петрович услышал в Полдневой, тому я свидетель.

и ни с чем уехавшие обратно, озорная девица, посводившая будто бы всех с ума, и т. д., но Павел Петрович быстро уловил суть и не спеша набрасывает ее на бумаге.

— А вот кто бы рассказал, как золото искали? — спрашивает он. — По каким приметам?

Тут случилось неожиданное. Беседа на минуту прервалась, произошла короткая заминка. Видимо, у стариков где-то в глубине сознания все еще жило, по старой памяти, опасение, привитое веками подневольной, тяжкой доли, как бы не выдать своей тайны, своих испытанных, выработанных поколениями горщиков и известных лишь сравнительно узкому кругу людей приемов поиска благородного металла, своих немудрых, но крайне существенных «примет».

Однако они тут же вспомнили, что время теперь не то, и человек, приехавший к ним, не тот, какие езживали прежде, «при старом режиме», что таиться не к чему и даже, более того, нехорошо, и беседа возобновилась с прежней готовностью и заинтересованностью с обеих сторон.

— Приметы — всякие. Главное дело — попутный лог найти...

— Какой, какой лог? — недослышав, переспрашивает Павел Петрович.

— Попутный. Это — который с юга на север или с запада на восток идет, тот и попутный. Если его нет, и искать нечего. А есть — копай смело.

В книжечке рядом со словами «долгая груда», «веселухин ложок» появляется новая запись: «попутный лог». Туда же заносятся отдельные выражения, неожиданные словообразования и связанные со старательским делом, незнакомые в других местах, термины, которыми обильно уснащена речь беседчиков.

Вот откуда брал Бажов яркие, самобытные слова-самоцветы, нередко заменяющие собой целое понятие, фразу, вбирающие в себя не только деловое, так сказать, служебное назначение слова, но и образ. В постоянном общении с народом черпал мастер уральской горнозаводской легенды-сказа надежный запас впечатлений, непрерывно обогащавших арсенал творческих приемов,

разнообразивших палитру красок, которыми Бажов живописал своих героев. Так вошли в его литературный обиход выражения «мелкая жужелка» [1], «золотинка», «таракан» (не насекомое таракан, а мелкий самородок золота, весом на восемь—десять граммов, действительно похожий формой и размерами на крупного черного таракана!) — каждое, включающее целое понятие. Так слетали с его языка при разговоре яркие, образные «чемоданчики», «с полукона бить», и т. д., и т. п. Своеобразие, оригинальность изобразительных средств писателя Бажова проявлялись на каждом шагу — и в обыденной жизни и в творчестве.

Но вообще записывал он мало. Случалось, что за всю беседу или за целый день нескончаемых разговоров, встреч, передвижений в машине, пешком, на лошади отберет всего одно-два слова (бывало — и ни одного), но зато уж это действительно слова-«золотинки». Даже не руда, отмытая от пустой породы, а уж сам металл — золото, драгоценность. Так он, по его собственному признанию, искал «двойной переклад» — определение особо прочной крепи в шахте.

После такой напряженной, продолжительной и очень строгой в отборе черновой работы получается емкость слова необычайная. Труд в высшей степени кропотливый, даже изнурительный, но... «Медленнее-то писать лучше», — не раз говаривал Павел Петрович. Так говорить о труде литератора мог только человек истинно талантливый и беспощадно строгий к себе.

Ряд понятий, слов, услышанных в тот вечер в Полдневой, вошли в постоянную лексику сказов, а также в пояснения, которыми сопровождал тексты своих произведений П. П. Бажов.

— А платину не мыли? — снова спрашивает он, шаг за шагом расширяя рамки беседы.

— Ну, как не мыли! Мыли. Сперва долго не знали, что за платина такая. Старики сказывали — из ружей вместо дроби стреляли. Тяжелая, тяжелее свинца, летит хорошо.

Чего только не хранит богатая уральская земля!

---

[1] Небольшие самородки, весом в несколько граммов.

Платина, золото, драгоценные камни, никель, кобальт, циркон, молибден, даже алмаз...

...Беседа со старателями затянулась почти до полуночи.

Не хочется, а пора ехать.

Косой Брод — старинное золотоискательское сельцо на восточном склоне Уральского хребта, родной брат деревни Полдневой. Избы крепкие, пятистенные, из столетнего леса. Все ложбинки, все русла высохших речек вокруг ископаны, перешарены руками старателей. Это здесь был найден не так давно четырнадцатикилограммовый самородок, о котором мы услышали еще в поезде и слепок которого хранился в кабинете секретаря райкома партии.

Мы сидим в правлении артели и беседуем с колхозным бригадиром.

— Лебеди у вас тут были, — говорит Павел Петрович, — на воротах. Не помните?

— Нет, что-то не припомню, — морщит лоб моложавый, молодцеватый бригадир. — Да я вам сейчас стариков представлю, они все должны знать. — И, обернувшись к присутствующему тут же мальчугану, наряженному, невзирая на теплое время года, в треух и стеганую кофту, командует: — Беги-ко к Михайле Степанычу! Пусть в правление сейчас же идет. Скажи: человек ждет.

— Будет гаму-то! — вновь поворачиваясь к гостю, продолжает он. — Недослышит немного, кричит! А старик памятливый, все знает.

Минут через десять появляется Михайло Степаныч. Высокий, немного сутулый. Несмотря на преклонные годы, не седой. Длинноносый, усатый, с небольшой бородкой. В солдатской мятой фуражке и в калошах, надетых поверх шерстяных носков. Выглядит не то испуганным чуть-чуть, не то недовольным.

— Лебедей-то куда девали? — громко спрашивает, подсев к нему, Павел Петрович.

— Каких лебедей? — старик прикладывает руку ковшиком к уху.

— На воротах-то сидели!

— Я не по тому делу...

— Ты не разобрался еще,— пытается разъяснить непонятливому или прикидывающемуся непонятливым старику бригадир. — Ты расскажи. Ты должен знать. Лебеди-то на воротах налеплены были, топором вытесаны.

— Вот где-то здесь, на въезде, — помогает Павел Петрович. — Дом небольшой, резьба интересная.

Нет, не помнит Михайло Степаныч о лебедях.

Пришел другой старик — полная противоположность первому. Бритое лицо, бритая голова, коротко подстриженные рыжеватые усы. На ногах резиновые сапоги. Говорит медленно и деловито, скупо расходуя слова и строго глядя в лицо собеседнику.

Опять начинается о лебедях.

— Не помню я, Иван Степаныч, — как бы оправдываясь, говорит первый старик второму.

— А я скажу — вспомнишь. Криуля стояла в виде гуся на воротах, на крыше... забыл?

Но так и не вспомнили ни тот, ни другой, за исключением того, что «была криуля на манер гуся», а что за «криуля», к чему — не знали. Не вспомнили и про то, куда исчезли деревянные лебеди.

— Жаль, — откровенно разочарованно говорит Павел Петрович. — Хороший сказ я о них знаю. Хотел кое-какие детали в памяти восстановить.

Старики виновато поглядывают на него. Озабочен бригадир.

— Вы его спросите, как он на богомолье ходил, — понижая голос, советует бригадир. — Он тогда сразу разговорится.

Действительно, напоминание о богомолье оживило разговор.

Пока продолжался рассказ о богомолье, в правление пришел, опираясь на железную трость, еще один старик, самый старый из трех, лет восьмидесяти, если не больше. Лохматый, седой, с бесцветными, словно вылинявшими, глазами. Сильно увеличивающие очки надеты криво на кончик носа. Молча сел к столу, сложил обе руки на трости, поставленной между колен, и, опустив глаза на свои натруженные, морщинистые руки, погрузился в себя.

Второму и третьему старикам, в сущности, говорить почти не пришлось — глухой говорил теперь уже не останавливаясь. Те двое только качали молча головами, соглашаясь с первым, да поддакивали время от времени.

— Расскажи, как робил, — направлял беседу бригадир.

— Везде я переробил. На золоте... На железном заводе пять лет. Горновой камень[1] добывал. И на конях робил. У Белкина коней гонял. День-от бегал за лошадью за пятнадцать копеек. А работа, известно, не в бабки играть. Пока валят бадью, успей отгрести. Валят без останову. Два года под бадьями стоял. Опосля в Кунгуре мыл, в воде золото видимо прямо! По фунту, по два добывали в день. Мелкой жужелки бессчетно. Богато золото!

— Как «видимо»? — спрашивает Павел Петрович.

— Вода обмывает, золото-то и видать.

— Фартнуло, значит?

— Не-е... Припечатывали ведь.

— Ну да, прилипало!

— Не-е...

— Не случалось, значит?

Глухой хитро смеется:

— Калишко, какой-то старичонко был, ему сдавали по пять рублей. Пять рублей лучше, чем рупь восемьдесят!

— Ясно, лучше! — соглашается Павел Петрович серьезно, но в тоне голоса чувствуется улыбка.

— Теперь государству золото идет, — продолжает тем временем глухой, уже не слушая никого. — Оттого и государство сильное стало. А раньше чужестранны много у нас вывозили...

— Какие чужестранны?

— Барон Бревер у нас тут был, — поясняет бритый старик, делая знак глухому замолчать. — Усатиком звали. У него усы — во были, — показал он, разведя руками шире плеч. — В Германию золото отправлял. На конях гонять любил. Сам в полосатых штанах, с хлыстом,

[1] Тальк.

а на голове фуражка с долгим козырем. Раз на лошади гнал, она речку перепрыгнуть побоялась, он ее и застрелил. А потом, видно, жалко стало, что сгоряча застрелил, памятник ей поставил. Плиту на Мраморе делали.

— Тебе, поди, годов семьдесят? — неожиданно спросил первый старик, всматриваясь в Бажова.

— Близко к тому.

— Сколь и мне, значит?

— Не хватает маленько.

— Грамоте, поди, шибко обучен?

— Знаю маленько.

Глухой помолчал, пожевал губами и сказал как бы в раздумье:

— Нынче можно учиться-то, не то что раньше... Три зимы я только учился, дроби не учил, простые задачи нам давали. Раньше по закону божию нас донимали. Вот про Исуса Христа. Его учили. Знаешь про Исуса-то Христа?

— Знаю, знаю!

— Его и учили, житие.

А о лебедях, которые так интересовали гостя, больше ни слова, как ни старались Павел Петрович и бригадир натолкнуть стариков на эту тему. И все же главного Павел Петрович достиг — старики подтвердили, что деревянные лебеди на одной из изб в Косом Броду были, память не обманывала его.

Только значительно позднее я понял, для чего нужны были Павлу Петровичу эти лебеди. «Криули» на воротах позволили ему довести до успешного конца работу над сказом «Ермаковы лебеди», посвященным замечательному русскому землепроходцу. Они являлись важным звеном в цепи догадок и умозаключений автора, на которых строился сказ. Этот знак был необходим Бажову как вещественное доказательство, подтверждающее основную мысль сказа — об уральском происхождении Ермака. По свидетельству Черепановской летописи, Ермак был родом с берегов Камы. Бажов успешно развил этот тезис, подтвердив и укрепив его состоятельность, и лебедям, как родовому знаку, отводилось здесь не последнее место. Павел Петрович помнил об этих ле-

бедях с отроческих лет, но, не доверяя себе, хотел самолично еще раз, уже в зрелом возрасте, убедиться, что такой знак существовал. Подозреваю, что исключительно из-за лебедей он поехал в Косой Брод, ради них беседовал с полувыжившими из ума стариками.

Тут уместно сказать вообще о той добросовестности, с какой Бажов собирал материал, насколько тщательно-придирчиво выверял каждую деталь, прежде чем пустить ее «в дело», а тем более построить на ней какую-то важную догадку. Вся поездка в Полевское тому пример. Только достоверно изученное, проверенное не раз и не два, отбиралось в книжку-памятнушку, да и то не все потом шло в огранку, попадало в «Малахитовую шкатулку». Ничего сомнительного, легковесного не принималось ни под каким видом.

Бажов стоял всегда за строго научное освещение истории Урала, будь то труд исследователя-историка или повесть, роман, рассказ. Эту линию он неукоснительно проводил и в своем творчестве, не допуская никаких отклонений, поблажек себе, как художнику, имеющему право на домысел и выдумку. Никогда не разрешал он себе недостаточно обоснованных догадок, тем более типизации малоизученного, не отвечающего марксистско-ленинскому, диалектическому методу мышления, требованиям советской, партийной литературы, не отвлекался на ложную занимательность.

...Прощаемся со стариками. Они поднялись со своих мест, проводили нас за ворота и долго смотрели нам вслед.

От Косого Брода уже рукой подать до Мраморского завода, который мы видели из окна вагона в начале нашего путешествия. По пути заехали в пионерский лагерь.

Ребята рады были чрезвычайно. Высыпали из всех помещений, облепили машину. Павел Петрович двигался в сплошной копошащейся массе, почти совсем скрывшей его.

Возгласы:

— Дедушку Бажова привезли!

— Не дедушку, а товарища Бажова!

— Не все равно?!

— И не привезли, а сам приехал!..

Потом образовался круг, в середине которого Павел Петрович. С приветственным словом к гостю, подбодряемая взглядами молодой серьезной женщины — начальника лагеря, выступила юная полевчанка, с красным галстуком, в белой блузке-безрукавке и физкультурной синей юбочке-шароварах.

— Мы, юные пионеры, — начала она энергичным, звонким голоском, — приветствуем Павла Петровича Бажова...

Павел Петрович стоял в знакомой унылой позе, столь ясно говорившей всегда об его отношении к подобного рода официальностям.

Внезапно звонкий детский голосок оборвался, наступило неловкое молчание. Павел Петрович заулыбался:

— Забыла?

— Мы, пионеры, приветствуем нашего дорогого земляка Павла Петровича Бажова...

Опять пауза. Павел Петрович просиял окончательно:

— Забыла дальше? Ну и ладно, — успокоительно заметил он. — Потом вспомнишь.

И на этом «торжественная часть» закончилась. Павел Петрович опустился на поданное ему переносное сиденьице, низенькое, как вся мебель здесь; пионеры придвинулись вплотную. Началась непринужденная беседа.

— А вы нам новые сказки привезли?

— Нет, не привез, — с виноватым видом развел руками Павел Петрович. — Не написал еще. Но напишу, — пообещал он.

Впрочем, ребята ничуть не были огорчены таким ответом. Возможность лицезреть «дедушку Бажова» уже сама по себе достаточно занимала их.

— А вы откуда столько сказок знаете? — спросила маленькая, пухлощекая толстушка с косичками, старавшаяся все время заглянуть в лицо Бажову.

— Я маленько вас старше, — ответил он. — Только на пятьдесят лет. У меня уж зуб один.

— Верхний, — сказал пионер, стоявший напротив.

— А Катюша в стену ушла, так потом куда девалась? — полюбопытствовала загорелая блондиночка, по фамилии Хмелинина.

— Вот в августе выйдет новая книжка сказов, там прочитай про две ящерки и узнаешь. А рассказывать не буду, а то читать неинтересно будет.

Ребята засмеялись. Беседа в таком духе продолжалась около получаса, затем Павел Петрович вытащил откуда-то из-за пазухи часы, сверился со временем и стал прощаться.

Облепленный со всех сторон ребятами, как мошкарой, под руку с двумя самыми маленькими пионерками, в том числе с той, которой не удалось ее выступление, он дошел до машины.

Мраморский завод. Он действительно тих. Стоит около леса, единственное здание рядом — контора завода. Рабочий же поселок находится в нескольких километрах за лесом.

В старину завод готовил изделия для императорских дворцов — плиты, вазы, столы, камины. Прославился художественностью и чистотой своей работы. В советское время перешел исключительно на выработку мраморных изоляционных плит и ступеней. Занятие, возможно, более прозаическое, но едва ли менее важное, если учесть огромную потребность нашей быстро электрифицирующейся страны в мраморных плитах для распределительных щитов, а также в ступенях для вновь возводимых многоэтажных зданий. Завод полностью механизирован.

— А змеевика что-то у вас не видно? — спросил Павел Петрович, когда мы вышли из дверей завода.

— Не работаем его, — несколько смущенно ответил сопровождавший нас техрук.

— А зря. У вас же целая гора его. Твердоватей, конечно, мрамора, зато расцветка хорошая, лучше, чем изрядно надоевший серый мрамор.

В четырех километрах от завода — мраморный карьер. На полпути к нему — поселок Мраморский.

Сразу за поселком, на дороге, начали попадаться куски мрамора. Местами целые блоки лежат в стороне.

— Вишь, рассыпали! — говорит Павел Петрович.

Хорошенькое «рассыпали»! Кубометр мрамора — это три тонны. А есть блоки по нескольку кубометров.

А вот и каменоломни. На наших глазах гусеничный

трактор, зацепив тросом, легко тащит блок на поверхность с двадцатиметровой глубины. Отжил свой век дедовский вороток!

Мраморщики и мраморный завод нашли свое место в очерке Бажова «У старого рудника», упоминаются в ряде сказов. Мраморное дело неоднократно привлекало пристальное внимание писателя.

Вот и сейчас — Павел Петрович долго стоял на краю выработки, сосредоточенно наблюдая, как глыба, влекомая тросом, упрямо выползала наверх, потом оглянулся, ища, кому выразить свое одобрение, и сказал назидательно, как бы продолжая начатый разговор:

— Буровит сколько... красота! А было — страшно вспомнить.

— Протрясло, парень, бронхит-то, — говорил Павел Петрович вечером на квартире у Бессоновых. — Жена в тревоге была, а выходит, на пользу пошла поездка!

Действительно, несмотря на наши ежедневные разъезды, утомительные, пожалуй, и для молодого, он ничуть не чувствует себя разбитым. Только, когда возвращались домой, сказал:

— Целый день все сидел, а ноги устали. Теперь два часа курить буду!

— Стоя у стола?

— Обязательно.

И вот теперь попил чайку, запалил папиросу — трубку тогда он, кажется, еще не курил — и благодушествует в своей излюбленной позе — стоя у стола, в полусогнутом, неудобном, казалось бы, положении, опираясь локтями на угол столешницы. На предложение сесть, чтобы дать роздых ногам, категорично отвечает:

— Ни-ни. Так лучше — привык. У меня для этого дома подушечка есть. Под локти. Всегда так отдыхаю.

После поездки на «мрамор», в Косой Брод, разговор, естественно, вертится около камней, золота и прочего.

— Аптекарские весы у тебя. Золото, видно, принимаешь! — шутит Павел Петрович, кивая на лабораторные весы, стоящие за стеклом в книжном шкафу. — А все-таки недоволен я, — говорит он, вспоминая посе-

щение мраморного завода, — что ни одной станции метро из змеевика нет. Не умеем еще мы, уральцы, свои богатства показывать.

Он долго критически рассматривает на столе письменный прибор довольно неуклюжей работы и наконец выносит суровый приговор:

— Мрамора не жалеют... и искусство тоже.

— Ученики делали, — вступился Николай Дмитриевич. — В юбилей мне подарили.

— Ну, тогда ничего. Мне раз так же вот один дед подарок преподнес. Целую плиту вырубил да письменный прибор и сгрохал. Полпуда весом. Подарок от чистого сердца!

Он заразительно смеется, забрасывая голову назад и выставляя бороду, смеется, как ребенок, которому очень понравилось что-то. Затем закашлялся, на глазах выступили слезы, — бронхит все-таки напоминает о себе. Прокашлявшись, продолжает:

— Большой мастер был на выдумки старик! Баню из горнового камня вздумал сделать. Гладенькая банька вышла. А как водой дадут, так стены и потекли. А он хвалится: «Ничего не заведется в таком жару!» В другой раз опять сапоги изобрел с подошвой, которая не носится. Стелька железная. Ходил только в церковь. Ясно, износу не было! А он гордился...

Наш хозяин — отчаянный фотолюбитель. Ящики письменного стола доверху забиты фотографиями. Тут и гора Азов и другие окрестности Полевского, сам поселок, собственные ребятишки во всех видах. Многие фотографии будят в Павле Петровиче воспоминания.

— Совершенно забыл Глубочинский пруд, — говорит он, поднеся близко к глазам снимок с какого-то лесного озера и долго рассматривая его. — А ведь вот какой-то кусок жизни!

— Можно закрутить? — спрашивает Николай Дмитриевич, показывая головой на шкаф с патефонными пластинками. Там их без малого семьсот штук.

— Давай, — соглашается Павел Петрович.

Время далеко за полночь. Николай Дмитриевич включает радиоприемник. В эфире сильные атмосферные разряды. Репродуктор трещит, грохочет, отдельные

разряды порой сливаются в один сплошной гул. «Как пятитонка», — замечает Павел Петрович.

Несмотря на эти помехи, два друга долго вечеруют около приемника. Выслушав последние московские известия, настроились на какую-то далекую станцию, передающую музыку, покуривают и неторопливо перебрасываются словами, вспоминая о тех временах, когда оба были в одной школе: один — учителем, другой — учеником.

Голова его — неиссякаемый источник воспоминаний, наблюдений всякого рода, совершенно неожиданных подчас высказываний и выводов. Он все время раздумывает над мастерством писателя и тут же, словно бы невзначай, роняет критическое замечание в адрес инженеров, техников, которые никак не придумают, как избавляться от помех. «Пора бы». А через минуту: «Ну да, когда не знаешь, всегда кажется легко». И спустя еще какое-то время в той манере, которая была так характерна для него (не поймешь сразу — порицает или соглашается, шутит или говорит серьезно): «Вот и про нас говорят тоже — плохо пишем... А попробуй-ка напиши!»

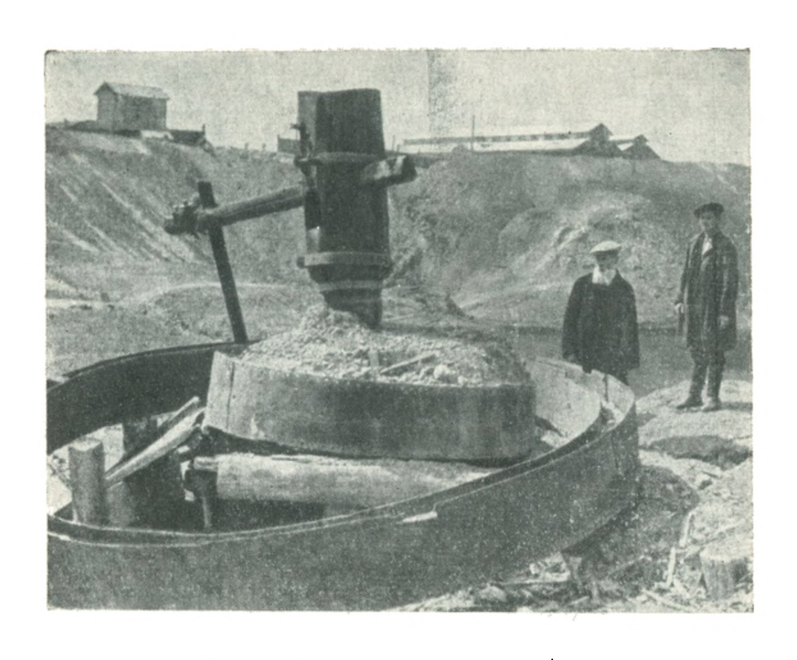
Необычайно широк круг его интересов, нескончаем перечень лиц, с которыми встречался только в этой поездке. Многим молодым литераторам (да и не только молодым) следовало бы поучиться у него неутомимости в сборе материала жизненных наблюдений, той жажде познания мира, которая не оставляла его до последнего дня.

Искусство было близко ему во всех формах. Он аккуратно смотрел все новые спектакли в театрах Свердловска, часто бывал в опере. Нередко придешь на какой-нибудь спектакль, идущий на сцене уже давно и, казалось бы, не представляющий особого интереса, и вдруг видишь в первом ряду знакомую бороду, слышишь знакомое покашливание.

В беседах с литературной молодежью Павел Петрович всегда подчеркивал важность, необходимость для писателя много ездить, смотреть, впитывать в себя, вдумываться в увиденное, советовал больше читать. Сам он читал необыкновенно много, несмотря на скверное зрение, ухудшавшееся год от года, и нередко то, о чем, ка-



По бажовским местам. Скалы «Ворота» на Азов-горе.



П. П. Бажов у старинного тягового барабана на Гумёшках.

залось бы, в голову не могло прийти. Как-то встретились на улице, в руках у Павла Петровича томик — только что из магазина. На вопрос, что или, вернее, кто это, ответил: «Чосер. Стихи. — И добавил, как бы оправдываясь: — Надо». Это «надо» прозвучало так: писатель обязан все знать.

Ночь, а он и не помышляет о сне. Интересно следить за ходом его рассуждений. Как не будешь сидеть с таким собеседником хоть до утра, когда каждая минута общения с ним обогащает тебя новыми знаниями, раздвигает рамки «чувствования» жизни!

Беседовать с таким человеком — наслаждение.

Наша последняя поездка — на Марков камень.

Долго думали, на чем ехать — на лошади или на автомобиле? На лошади — долго, на машине, говорят, не проехать. Набрались храбрости и поехали на автомобиле.

С каждым километром верный «газик» уносит нас все дальше в глубь леса. Глушь невообразимая. Все это — территория бывшего Сысертского горного округа.

Дорога разветвляется. Куда ехать? Взяли наугад влево. Едем-едем, и даже спросить не у кого, правильно ли едем. Шофер неожиданно заявляет:

— Правильно.

— Почему?

— Трактор шел.

Верно, на земле видны следы гусениц.

Стоп! Дорогу пересекла полоса воды. Неужели глубоко? К счастью, глубина не больше дециметра. Шофер «дал газу», и машина, подняв из-под колес каскады брызг, вынеслась на пригорок. Дорога резко свернула в сторону, и... из-за поворота на третьей скорости вылетела встречная трехтонка. Мы уцепились за борта, шофер закусил губу, сделавшуюся сразу белой, резко затормозил, переключил молниеносно скорости, крутнул «баранку», отчего «газик» резво прыгнул в сторону, чуть не задев радиатором кусты. Водитель встречной машины рванул свой автомобиль в другую сторону, и мы пронеслись мимо друг друга на расстоянии каких-нибудь

десяти—пятнадцати сантиметров. И все это в течение двух-трех секунд!

В следующие три секунды встречная машина скрылась из виду, и только медленно оседавшая на дороге пыль напоминала о едва не происшедшей аварии. Шофер вздохнул от всего сердца и сказал:

— А ведь этого черта оштрафовать бы следовало. Гонит — не гудит, и тормоза не в порядке. Поближе к городу — живо научили бы, как ездить!

Павел Петрович остался невозмутим.

А вот на очередном разветвлении пути впереди возник столб с дощечкой. На дощечке надпись:

На Марк. кам.

Ага! Значит, все в порядке, едем правильно.

Опять столб с надписью:

Заповедник.

Лес в заповеднике захламлен невероятно. Когда-то тут пронесся лесной пожар. Обгорелые деревья лежат по сию пору, черные, безжизненные, медленно зарастающие травой, — над ними успели подняться молодые. Материал для нового пожара преотличный. Об этом не мешало бы подумать кому следует. А то не без иронии звучит следующая надпись на очередном столбе:

Помни! Огонь — это стихия.
Будь с ним осторожен!

— Столб с воззванием поставили, а вот прибрать лес не соберутся! — ворчит Павел Петрович.

Его хозяйский глаз примечает всякий непорядок.

Проехали длинную слань через ручей. Говорят, что это один из истоков Чусовой. Трудно поверить. Ручей мал, тих, шириной в один метр, глубиной того меньше.

Кажется, что мы перемещаемся не только в пространстве, но и во времени. Мы движемся по следам легенд, и с каждым вздохом мотора все ближе, ближе истоки тех увлекательных и таинственных «преданий старины глубокой», без понимания, вдумчивого изучения которых невозможно познать и настоящее, а тем более невозможно заглянуть в будущее.

Еще несколько километров — и машина вкатывается на большую вырубку. Стоят добротные, новенькие бараки. Один, два, три, четыре... Ого, целый городок! Вот тебе и «таинственная» старина! Ехали, ехали — и приехали в совершенно очевидную современность... А где же Марков камень?

Здесь Марков камень. В сотне метров в лесу. Только не так уж глухо теперь около него, как в те времена, когда складывался устный сказ о Марке Береговике. Вырос у подножия камня городок лесорубов, новая жизнь пришла и обосновалась накрепко, как приходит она везде.

Стало понятно, почему на глухой дороге к Маркову камню стоят указатели и сама дорога по возможности поддерживается в пригодном для проезда состоянии. Здесь — лесозаготовки.

По тропинке поднимаемся к камню. Его еще не видно из-за леса.

В самом начале подъема на сосне прибита новенькая, желтая дощечка с суровым внушением:

Ходить на вышку
ход строго воспрещен!

Это еще почему? Столько ехать — и вдруг «воспрещен». Нет уж, как хотите, а мы поднимемся!

Когда поднялись, стало понятно и это предупреждение.

Гранитным клыком выдался над лесом Марков камень. На плоской вершине его, прикрепленная стальными тросами, чтобы не снесло в сильный ветер, новенькая, светло-желтая пожарная вышка. На вышку ведет высоченная лестница, срубленная из целых бревен и упирающаяся нижним концом в два дерева.

Взбираемся по лестнице. Павел Петрович следует позади, деловитый, спокойный, как всегда. Высоко. Спирает дыхание.

На верхних перилах кто-то из работников пожарной охраны очень остроумно, сколь и просто, устроил солнечные часы. Вертикально вбит гвоздь. Вокруг гвоздя обведена карандашом окружность, разбитая на деления. Каждое деление соответствует получасу. Гвоздь отбра-

сывает тень, которая по мере движения солнца по небосводу перемещается по окружности. Вот и вся механика. А удобно. Не так ли вел наблюдения за временем, скрываясь здесь, и Марк Береговик?

Русская смекалка — ее встречаешь на каждом шагу. Не она ли, по сути, является основным героем бажовских сказов?

Здесь, на камне, до недавнего времени существовала надпись: «Марк Петрович Турчанинов». Не подумайте, что отсюда пошло название камня. Нет, пошло оно от полевского рабочего Марка, по прозвищу Береговик, который укрывался здесь вместе с любимой женой от турчаниновского произвола. А уж потом, когда стали звать камень Марковым, появилась на нем эта надпись. Даже тут жадный заводовладелец хотел обокрасть своего крепостного!

Да не вышло. В устных рабочих сказах сохранилась подлинная история вольнолюбивого Марка Береговика, в глухую пору крепостничества поднявшего свой голос протеста против рабства, защитившего свое человеческое достоинство. Как напоминание об этой не напрасно прожитой жизни, стоит, высоко взметнув свою непокорную голову, камень, носящий имя человека. И как памятник человеку-бойцу, символ стремления к счастью, неодолимой воли к свободе будет восприниматься всегда сказ Бажова — «Марков камень».

В последний раз поднялись на гору Думную.

Посвежело. На Думной гуляет ветер, раздувает полы пальто Павла Петровича, который, не отрываясь, медленно обводит взглядом горизонт.

Думная... Откуда название такое?

По преданиям, в пору строительства Полевского медеплавильного завода на горе было сходбище рабочих, бунтовавших против каторжных условий труда, против господского произвола.

По другим сказаниям, на горе сидел три дня и три ночи, «думал думу», «батюшка Омельян Иваныч» — Пугачев, еще два века назад потрясший устои феодально-крепостнической России.

А если забраться еще дальше в глубь веков, то — как повествуют легенды — совещались на горе и «стары люди»...

— Вот тут, — нарушая молчание, говорит Павел Петрович, — дедушка Слышко и рассказывал нам, ребятам, свои истории... О чем рассказывали в старину? Грамота была недоступна крепостному человеку. И мысли свои показывать было нельзя. Вот и прятали их — и мысли, и мечты, и желания — в устных сказах-легендах, которые передавали один другому. В сказах же объяснялось многое, что казалось тогда непонятным. К примеру, откуда такое скопление руды и малахита в Гумёшках, кто оставил там ямы-копани. В сказах бедный человек одерживал верх над богатым. В сказах же, уж коли приходилось невмоготу, он уходил «за камень», за Урал. И было это отзвуком действительности: беглые, примкнув к вольнице, шли в Сибирь. Сказывать сказы находились особые мастера. Мне выпало счастье — слышать такого мастера: дедушку Слышко...

И Павел Петрович опять погружается в раздумье. Сегодня он прощается с родными местами — с Полевским, с Зюзелькой, с Азовом, снова и снова перебирая в памяти впечатления последней недели, шестидневную поездку на машине...

— Слышко говорил, — продолжает он, — пещера под Думной. Завалена. Мне ее увидеть не довелось. А вот как медь на Полевском плавили — помню. Мы, ребята, медную пену собирали. Когда медь плавят, ткнут березовой жердью, брызги на крышу выбрасывало. Считалось, что таким образом медь от примеси очищается. Хорошо. Мы эти застывшие брызги собирали — разменный знак для игры в бабки. Крупная, с бекасинник, — пять бабок. Редкая белая — десять бабок. А в народе эту медную пену пили как лекарство. От желудка там или еще от чего. Кажется, предел невежества? А вот теперь оказывается, что это была не медь, а сопутствующий ей висмут. Висмут же применяется в медицине как лечебное средство. И как раз при болезнях желудка. Не так уж глупо получается.

Напоминаю о цапле, которую мы рассматривали в первый вечер своего пребывания в Полевском.

— Цапля? Это тоже деталь. Каждый владелец завода старался себя перед другими поинтереснее выказать. Ну и — фабричный знак. У Яковлевых был «старый соболь», у Демидовых — медведь. А здешний-то, Турчанинов, вот цаплю придумал. Дескать, птица и не так чтобы слишком большая, а летает высоко... Знай-де наших, хоть мы и победнее других. Против других-то Турчанинов был пожиже маленько. Это у них в крови было — гнаться за чем-нибудь таким, чтобы хоть чем-то быть на отличку...

Павел Петрович стукнул палкой о замшелый камень, лежавший у его ног, последил за тем, как камень, шурша, катился вниз по склону, и продолжал:

— Ну, а если глубже копнуть, то можно сказать еще и другое. Всякая геральдика всегда была в особом ходу за границей. Значит, подражали. Тянулись за всем иноземным. Отсюда и погоня за титулами, особенно за заграничными. Один в ранге «сухопутного капитана», хотя никаким капитаном никогда не был, другой — «князь Сан-Донато»... Тоже итальянский вельможа выискался! Или Злоказов, бывший владелец Полевского сернокислотного завода, получил... купил, правильнее сказать, звание баронета Англии. Русский купчина, Англию в глаза не видал — и вдруг баронет Англии?! Так и жили — гнались за всем иностранным, иностранному подражали. Отсюда и знак — цапля. Это они знали. А свое ни во что не ставили. Взять к примеру Демидовых. Первые-то Демидовы хоть крепостники были, а крупные деятели. Дело знали. Последние же даже по-русски говорить не умели, все по заграницам жили. А Россия — что им? Денежный мешок, источник существования. Им одно было важно: была бы мошна потолще. Вот так-то... А это уж самое последнее дело — за чужим гнаться, перед каждой чужестранной дрянью благоговеть, а свое в грязь топтать. Самое последнее дело.

Заключительные слова Павел Петрович произнес тоном сурового осуждения, желая, видимо, подчеркуть тот важный смысл, который был заложен в них. Он помолчал и добавил:

— Теперь все это уже предмет истории. И хорошо. Всех из кона вышибли. Но пример поучительный. По-

учительный для тех, кто свою цаплю хотел бы выше всех воткнуть. А такие охотники еще не перевелись. Думают: если я золотым мешком владею, могу весь мир переиначить по-своему, всех — под свой кулак... Но — переведутся. Переведут.

Красные полосы прорезались на голубом фоне неба. На этом фоне четко рисуется фигура человека, сидящего на остром выступе скалы, проткнувшем гору. Солнце село, но какая-то прозрачность, какой-то спокойный, тихий свет разлиты вокруг. Близок час отъезда.

До свидания, Полевское, до свидания, Думная, Азов, Зюзелька, Косой Брод, Полдневая, до свидания! Побывав здесь, увидев вас воочию, полюбишь весь Урал за щедрую его землю — «золотое дно», как говорили в старину, а еще больше — за людей, которых взрастила эта земля, и в том числе мастера самобытной, неповторимой огранки слова Павла Петровича Бажова.

Встречаясь со знакомыми на улице, на собрании, в театре, на традиционный вопрос: «Как живете?» — Павел Петрович частенько отвечал:

— Живой еще.

Эти два слова стали у него в последние годы жизни привычной формулой ответа на приветствие.

Здоровье его к тому времени значительно пошатнулось, начали одолевать старческие болезни. Он понимал, что срок жизни истекает, и, по-видимому, не раз думал об этом.

Принимал это с той спокойной, трезвой рассудительностью, которая так характерна была для всего образа действий Бажова, для склада его мышления.

Мучило лишь сознание, что многое еще остается нереализованным, голова была переполнена планами, для выполнения которых требовались годы и годы... Пришло подлинное мастерство, достигаемое усилиями целой жизни, но кончались силы. Бренность тела вступила здесь в непримиримое противоречие с ясностью, бодростью духа, работоспособностью, плодовитостью ума, достигшего полной зрелости.

Очень редко это прорывалось наружу.

Как-то показывал «вечный» календарь, привезенный ему дочерью из Москвы, — никелированную, изящно сделанную вещицу. Перевертываешь — и автоматически, с легким стуком, выскакивает число на завтрашний день. Повертел, любуясь, в руках (хорошая, чистая работа, да если еще с выдумкой, всегда нравилась ему), затем сказал:

— Занятная штучка. Плохо, что заставляет задумываться. — И, видя недоуменный взгляд, опрокидывая «штучку», подсказал: — Щелк... Непонятно?

— И день прошел?

— Вот именно. Только тебе-то что! У тебя еще много впереди. А вот мне... — И не договорил.

«Живой еще...»

Сейчас эти слова приобрели звучание почти символическое.

Живой и будет живой. Силой своего таланта Бажов перешагнул обычные границы жизни и смерти.

Павел Петрович Бажов умер 3 декабря 1950 года, на семьдесят втором году жизни, в Москве. 7 декабря его тело специальным вагоном привезли в Свердловск.

Похороны Павла Петровича Бажова вылились в своеобразную демонстрацию любви и уважения советских людей к человеку, который высоко пронес знамя «инженера человеческих душ» и обязывающее звание депутата высшего органа власти нашего государства — Верховного Совета Союза ССР.

Гроб с телом покойного был установлен в концертном зале филармонии — том самом зале, куда живой Бажов приходил столько раз на фортепианные и симфонические концерты, где праздновался его семидесятилетний юбилей, где он принимал приветствия и подарки, поцелуи и рукопожатия от многочисленных делегаций рабочих, колхозников, интеллигенции Урала... В лютый мороз тысячи людей стояли на улице, добиваясь своей очереди, чтобы сказать последнее «прости» любимому писателю, в последний раз увидеть его. Непрерывное, медленное движение у гроба продолжалось до глубокой ночи.

В день погребения траурная процессия растянулась на несколько кварталов. Улицы были черны от запру-

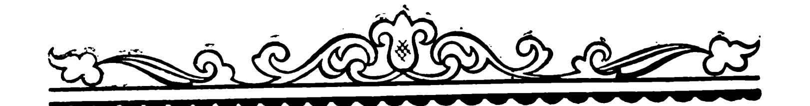
дивших их толп. За гробом Бажова шли люди самых разнообразных профессий, мужчины, женщины, дети. Многие приехали из районов, из Челябинска, Перми, Нижнего Тагила, Сысерти, Полевского... Приехал проститься со старым другом Дмитрий Александрович Валов, наш спутник в поездках по Полевскому району в 1939 году. В числе провожающих было много прежних учеников Павла Петровича, его личные друзья, партийные работники, представители советской интеллигенции, мира науки и искусства.

10 декабря 1950 года прах П. П. Бажова был предан земле — той уральской земле, которую он так любил при жизни, по которой столько путешествовал... С высокого пригорка, где шумят на ветру ветви берез и сосен, виден весь широко раскинувшийся трудовой Свердловск. Видны его новые, большие, залитые светом дома, встают дымы заводов, слышны гудки... И смотрит задумчиво на город тот, кого уральские пионеры и по сей день продолжают звать любовно — «дедушка Бажов».

Павел Петрович Бажов умер, но сказы Бажова останутся в золотой сокровищнице человеческих знаний, тех знаний, которые верно и честно служат народу, помогают ему строить новую, счастливую жизнь.

Тем же, кто лично знал Бажова, кто был близок к нему, постоянно встречался, работал бок о бок с ним, не забыть и его чисто человеческих черт. Всегда будут помниться его мягкий, добродушный юмор, его спокойная, прозорливая мудрость, его простота, отзывчивость, глубокая душевная чистота... Как живой стоит он перед глазами — аккуратный, плотный, чуть согнувшийся под бременем лет, с длинной седой бородой и ясными, как у ребенка, глазами, освещенный большой внутренней красотой, мастер золотого русского слова, ювелирной шлифовки фразы, следопыт уральской горнозаводской легенды, пример скромности и трудолюбия, писатель из народа и для народа — Павел Петрович Бажов.

Свердловск



Ф. ГЛАДКОВ

О ПАВЛЕ ПЕТРОВИЧЕ БАЖОВЕ

Мое общение с Павлом Петровичем началось осенью незабываемого 1941 года. Редакция «Известий» поручила мне проследить работу эвакуированных заводов и дать ряд очерков о героических подвигах людей на этих заводах, о новаторском творчестве мастеров оружия, о перестройке местных заводов на массовое производство вооружения. Свердловск в те дни был уже густо загроможден и заводами, и главками, и учебными заведениями, прибывшими из областей и республик Европейской части Союза; казалось, что вся страна втиснулась в этот широкий город на холмах, с просторным небом и лиловыми горными и лесными далями. А заводы все еще прибывали, и люди труда массами вливались в чудовищно перенаселенный город. Все сколько-нибудь вместительные здания были отведены под эвакуированные предприятия и госпитали, а окрестные стародавние и новые заводы уплотнялись и сливались с московскими, ленинградскими, украинскими заводами. И все же некоторые улицы были завалены машинами, станками и кучами больших и малых металлических деталей. Быст-

ро возводились новые кирпичные коробки и расширялись старые корпуса.

Очень тяжко было со снабжением, с питанием, с жильем.

В октябре в Свердловск прибыла группа писателей из Москвы и Ленинграда. Часть из них на время приютились в Доме печати, часть кое-как рассосались по углам в частных квартирах, а кое-кому посчастливилось закрепиться в гостинице и у знакомых.

Местное отделение Союза советских писателей сразу стало многолюдным и, к чести его, с первых же дней развернуло работу по организации литераторов и интеллигенции для общественно-политической работы под руководством обкома партии. Совместно с работниками Академии наук проводились общегородские антифашистские собрания, писатели разъезжали по заводам области, постоянно посещали госпитали, сотрудничали в газетах. Небольшая комната в Доме печати была с утра до ночи полна людьми. В соседних комнатах помещалось областное издательство, где главным редактором был Павел Петрович Бажов. Он же состоял председателем Свердловского отделения Союза писателей.

Познакомился я с ним вскоре после моего приезда в Свердловск. Его «Малахитовую шкатулку» я читал и перечитывал в первом же издании и наслаждался чудесной поэзией исконного русского языка и народной мудростью, которой дышала каждая легенда этой книги. Это была действительно волшебная шкатулка, сделанная искусным умельцем, полная ослепительных драгоценностей, созданных самобытным художником. Эта книга дорога для меня и тем, что в ней удивительно чутко и проникновенно воплощена глубокая, большая душа народа — могучего работника, великого труженика, которого не сломило вековое рабство, который нес в себе неугасимую правду и творческую красоту. Не всякому народу выпадали на долю такие неимоверные испытания, какие за свою долгую историю пережил русский народ. И этот «терпением изумляющий народ» не только терпел, но и восставал против поработителей. Вот почему и язык его богат, щедр и прекрасен, а песни и сказания полны глу-

бокого раздумья, эпического величия и задушевного лиризма.

Портретов Павла Петровича я до встречи с ним не видел и представлял его себе этаким коренастым уральцем — могучим патриархом. Но когда я вошел в его рабочий кабинет, навстречу мне поднялся сутуленький старичок с длинной, серебряной бородой, с очень живыми, проницательными глазами, в которых трепетала умная лукавинка. На столе у него лежал большой обломок малахита, похожий на застывший слиток темно-зеленой глазури.

Встреча была короткой и деловой: нужно было с помощью Павла Петровича принять кое-какие меры по устроению быта писателей. Когда я заговорил о «Малахитовой шкатулке» и особенно о «Каменном цветке», как о сказах глубоко идейного содержания и большой художественной значимости, он забеспокоился и как будто испугался:

— Ну, что там такое?.. Досужая фантазия... Стоит ли говорить об этом?

Его скромность была непритворной. Он, как видно, предпочитал молчать и слушать или только отвечать на вопросы. Но, наблюдая за мной как за новым человеком, он вдруг встрепенулся, и в глазах его залучились искорки: он следил за моим взглядом, который я не мог оторвать от глыбы первозданного малахита.

— Это диковинка, — охотно пояснил он. — Такого добра у нас на Урале много. А чего на Урале нет? Все есть. Пустые клетки в таблице Менделеева заполняются здесь в последние годы неуклонно. Скуп наш Урал только на изумруды, но я думаю, что, если добраться до его кладовых да пошарить посмелее, и изумрудов найдут вдосталь. Теперь ведь металлурги и геохимики смотрят на драгоценные камни не как на редкостные дары природы, из которых когда-то наши гранильщики создавали волшебные сказки, а как на необходимые ингредиенты при изготовлении высококачественной стали и твердых сплавов.

И он очень увлекательно стал рассказывать о богатствах и красотах Урала, о том, что подлинной истории Урала еще нет, что недра его по-настоящему не вскрыты,

а хищники грабили то, что лежало на поверхности. Но рабочий народ — рудознатцы и умельцы — даже в рабстве были настоящими художниками своего дела, талантливыми трудолюбцами, которые создавали легенды своими исследованиями, открытиями и трудовыми подвигами. Истинным обладателем сокровищ Урала, их хранителем и диводеем всегда был рабочий народ, а не Демидовы и Харитоновы, не герои Мамина-Сибиряка. От этих хищников не осталось и воспоминания, а природные уральцы-мастера принесли в революцию и доблесть борцов за советскую власть и неисчерпаемые богатства своего трудового опыта. И в дни Отечественной войны с фашизмом они в первых рядах строителей оружия.

Павел Петрович гордился Уралом и уральцами, беззаветно любил свой край, превосходно знал и его географию, и его ископаемые, и его своеобразных людей — искусных работников на своей удивительной земле, прошедших через страшные испытания, но закаливших свою суровую волю в борьбе. История Урала — одна из самых ярких и героических в истории нашей родины.

С этой же первой встречи Павел Петрович произвел на меня впечатление очень скромного и застенчивого человека, углубленного в себя и таящего большое богатство мыслей, которые никогда не будут высказаны. Обычно это свойство всех подвижников идеи, людей совестливых и чистых душой. Как человек очень простой, задушевный, Павел Петрович никого не поучал, ни с кем не спорил, никому не навязывал своих мыслей, но все чувствовали его мудрый авторитет. Говорил он мало, а слушали его очень внимательно, с огромным интересом, потому что речь его отличалась умом и своеобразием, всегда в ней было что-то новое и свежее.

Целыми днями я находился на заводах. В Дом печати заходил главным образом для того, чтобы передать в Москву по прямому проводу или по телефону очередной очерк о героях оборонного труда. С Павлом Петровичем встречался изредка, и он казался мне очень одиноким и замкнутым, как будто избегающим людей.

Но когда нахлынули московские писатели, надо было

в перенаселенном Свердловске искать комнаты и углы, чтобы не оставить людей на улице. Около Павла Петровича сплотилось активное ядро москвичей, и сразу же заработала партгруппа. Все чувствовали себя около него бодро, радостно, словно его доброта и обаяние, скромность и спокойная уравновешенность исцеляли всякие душевные ранения и заставляли забывать неизбежные в эти тяжелые дни неприятности. И как-то меньше замечались те немногие люди, которые заняты были своими личными, потребительскими интересами. Очень скоро это руководящее ядро вошло в контакт с Академией наук, и писатели вместе с учеными стали во главе многочисленной интеллигенции.

Иногда мы с Павлом Петровичем выходили вместе из Дома печати и в разговорах незаметно отмеривали шагами очень длинный путь до его домика на улице Чапаева. О литературе и литераторах говорить он избегал, но словоохотливо говорил об Урале, о Свердловске, о городах и заводах как о чем-то близком его сердцу, чем он живет с дней своей юности. Он до мелочей знал свой край, а о прошлом его рассказывал, словно поэму творил, и рассказы его похожи были на легенды из «Малахитовой шкатулки». Переходим мы, например, плотину пруда вдоль каменной стены, за которой раздавался грохот и гул завода, а внизу шумела вода, — и Павел Петрович с гордостью указывал на груды камней по бокам плотины:

— Не инженеры, не гидротехники возводили эту плотину, а самые простые люди, подневольные труженики. И вот стоит она уже больше двух веков, словно монолит. Умельцы были, с гениальной сметкой. На этом месте, за стеной, первый литейный завод был построен еще при Петре. Эти же люди, изобретатели, и ставили здесь двигатели на воде. Отсюда, с Исети и Тагила, пошли замечательные мастера — не иноземцы, а русские творцы. Богатырское было племя. Вот и потомки их достойный народ. Каждое предприятие — ударный отряд, все хранят замечательные традиции своих отцов и дедов. И не Демидовы оставили по себе память, а их крепостные рабочие: они опережали время на столетие.

Каждый квартал города на нашем пути, где уже не осталось и камня на камне от прошлого, оживал в образных воспоминаниях Павла Петровича как героическая легенда. И не заводы, не мастерские за крепостными стенами, не рабский труд вставали в моем воображении, а люди, талантливые, пытливые, с мятежной творческой мыслью, сильные, безмерно терпеливые, с несгибаемой волей. И в рабстве, в цепях, под шпицрутенами, они были свободны и могучи в своей любви к творческому труду. Мне кажется, что если бы Павел Петрович отважился написать историческую эпопею за эти два века, это была бы настоящая библия Урала. И я почему-то был уверен, что этой мечтой он жил постоянно.

Его дом и крепкие надворные постройки казались вековыми, а уютные тесные комнатки располагали к размышлению.

Я любил погостить у него, отдохнуть от суеты, от злободневных забот и хлопот и слушать его глухой добродушный голос.

— Чтобы постигнуть наших людей, надо глубоко изучить их прошлое. Многое, очень многое забыто и забывается. Я все думаю, как необходимо создать энциклопедию, в которой ближайшее и руководящее участие приняла бы Академия наук. Когда-то этот труд был начат одним из скромных людей в прошлом веке, но труд его умер вместе с ним: можно ли одному человеку, да еще занятому чиновними обязанностями, справиться с этой грандиозной задачей. Но подвиг его достоин удивления. А таких людей в прошлом было немало. Взять, например, одного попика. Замечательный математик, известный своими трудами за границей, пожертвовал своей карьерой ученого ради изучения своего края, ради служения народу и пошел в попы, чтобы непосредственно работать на родной почве. Ну, и сгорел, конечно, на своем ложном пути. История культуры Урала — богатая история. Надо вскрыть, установить многое, что заложено в былые времена и что сейчас осуществляется и в геологии, и в геохимии, и в литейном деле. Хотелось бы побеседовать с академиками.

Он любил повторять кстати и к слову:

— Чем велик и прекрасен человек? Одухотворенным

трудом. В чем его бессмертие? В животворящем преобразовании природы. Вне труда нет и человека.

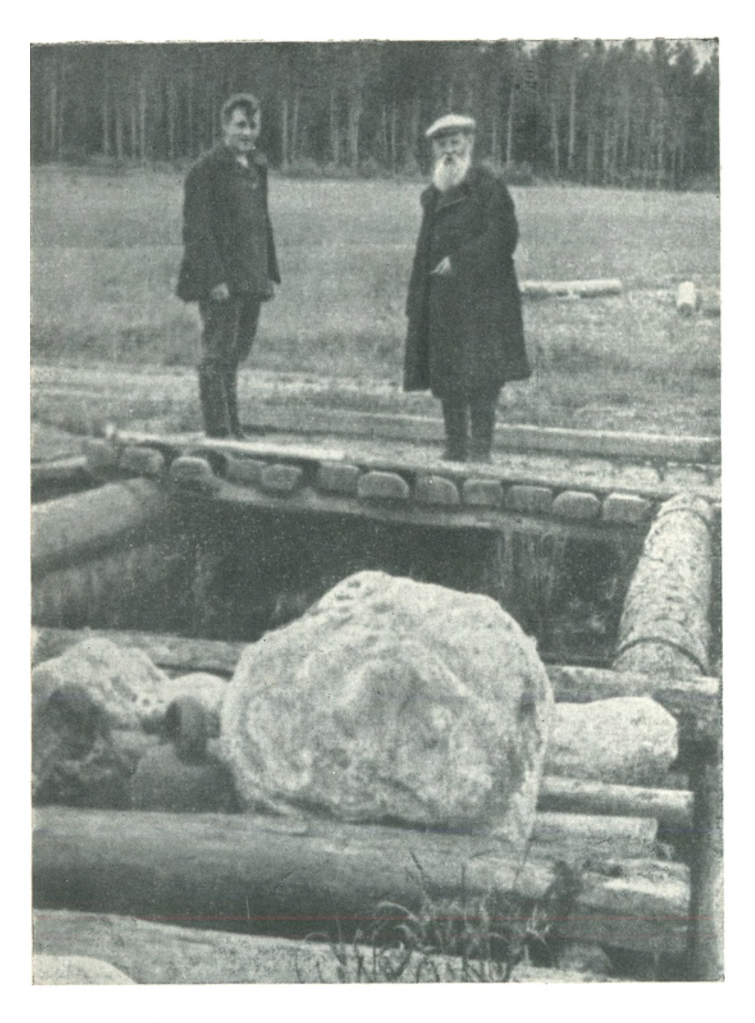
Помню один из вечеров, которые регулярно устраивались писательской организацией. Выступал профессор Данилевский с лекцией об уральских техниках-самоучках. Павел Петрович слушал с самозабвенным вниманием. Видно было, что он волновался: теребил свою бороду, глаза его блестели, и время от времени он одобрительно кивал головой, невнятно вставляя какие-то замечания. После лекции он не выступал, хотя Данилевский просил его поделиться своими знаниями. Но он только отмахнулся и сказал:

— Я просил бы только сохранить память о тех людях, о которых говорил профессор Данилевский. Исследование это — огромная его заслуга. Но те несколько имен, которые остались в истории техники, — это имена людей, случайно уцелевшие в архивах. А таких людей было немало, и о них можно говорить ежедневно в течение целого года. Эти имена, пусть легендарные, долго держались в памяти стариков и передавались с уважением и гордостью из поколения в поколение. Их опыт, открытия и изобретения как продукт народного творчества шли на потребу новым поколениям. Не сейчас, — может быть, потом кое-что соберу, приготовлю и поговорю о них. Я кое-что знаю о таких людях от стариков.

Время было грозное, ответственное. Каждый день требовал от людей напряженной работы. Хоть Павел Петрович и жил у себя в родном углу, но ему с семьей было не менее трудно, чем эвакуированным писателям. И в эти тяжкие дни он всегда был бодр, уравновешен, дружески участлив, и умная лукавинка не угасала в его теплых глазах. Мне кажется, что он был очень доверчив к людям и без колебаний делал для них все, что мог.

Не мне судить о том, как он воспитывал молодых свердловских писателей, как деликатно руководил ими, но я знаю, как глубоко они любили его и говорили о нем с трогательной нежностью:

— Для каждого из нас, молодых и начинающих писателей, Павел Петрович — отец родной. Для каждого



П. П. Бажов около старательских весов.



П. П. Бажов осматривает старинную выемку («пазуху») для добычи мрамора в окрестностях Мраморского завода.

он умеет найти самое проникновенное слово, и каждого он видит насквозь. Если у парня есть способности, он готов возиться с ним дни и ночи. И никогда не ударит больно, а самую суровую оценку выскажет так, что будто по душе ласково погладит.

В улыбке Павла Петровича всегда светилась мудрая прозорливость много пережившего человека, который хорошо знает людей и который уже ничему не удивляется. Ни разу я не видел его в гневе, в возбуждении или подавленным и угнетенным, а было много поводов и причин волноваться и возмущаться. Его знающая улыбочка мерцала ласково и ободряюще.

Но лишения, неустроенность быта товарищей больно беспокоили его. Улыбка таяла в глазах, и в них застывала укоряющая строгость.

— Вот Ольга Форш — заслуженная писательница, старая женщина. Ютится черт знает где, на ногах какие-то ошметки, а сейчас зима, морозы... Или Шагинян... Хоть они и не унывают, героически переносят испытания, но это тем больше тревожит меня. Надо немедленно идти в обком.

И он, сам ослабевший и больной, собирал партгруппу, активистов, ходил с делегацией в обком. И, когда эти вопросы разрешались благополучно, он как будто молодел и не мог сдержать своей радости. Но и в эти минуты он скромненько и застенчиво отмалчивался, старался стушеваться, словно все дела и хлопоты проводились без его участия...

Как-то в комнате, где обычно собирались писатели и часто взволнованно и тревожно обсуждали известия с фронта, кто-то из уставших от тяжелых лишений людей стал жаловаться на судьбу и на неудачи на фронте:

— А эти звери прут... прут, как орда дьяволов. Мы отступаем... До каких же пор будем пятиться?.. Мы — одни, а союзнички рады, что мы истекаем кровью...

Павел Петрович, в теплом пальто внакидку, всматриваясь исподлобья в говорившего, сказал очень спокойно и тихо своим глуховатым голосом:

— Вы, очевидно, не знаете русского народа. Гитле-

ровцы будут разгромлены, что бы они ни предпринимали.

И эти просто, с неотразимой уверенностью сказанные слова как будто оглушили всех, и сразу стало легко и вольготно. Кое-кто даже облегченно вздохнул. А Павел Петрович, не оглядываясь, вышел из комнаты.

Однажды весною несколько писателей поехали в Ревду для встречи с рабочими и инженерами. В машине мы сидели бок о бок с Павлом Петровичем. В этих местах он, кажется, знал каждую возвышенность, каждую долинку, каждый камень, каждое дерево. Дорога была изумительна по красоте. Она напоминала мне и Прибайкалье и предгорья Кавказа. Горные склоны были покрыты дремучим лесом, и из темной его глубины, из густой чащобы стволов, плыла таинственная тишина. И всюду — и внизу, и между стволами деревьев — громоздились в диком хаосе огромные обвалы скал и камней, словно горы эти разрушались страшными землетрясениями. А в долине ярко горела на солнце молодая весенняя трава, и воздух переливался радужной игрой и опьянял хмельными запахами сосен, цветов и земли. Павел Петрович сидел молча и жадно смотрел на эти первобытные, немного жуткие в своей загадочности, нагромождения и лесные дебри, и лицо его в серебристой бороде с застывшей улыбкой в глазах странно мерцало, как будто он слышал и видел то, что скрыто было от других. И я подумал, что свои сказки и легенды он подслушал в этих вот дебрях и древних развалинах скал и гостевал у Хозяйки гор — в ее чудесных пещерах, украшенных причудливыми друзами драгоценных кристаллов. Он остановил машину у головокружительной свалки огромных глыб, похожей на руины какого-то древнего замка, легко спрыгнул на землю и, махнув мне рукою, споро начал подниматься на руины.

Я пошутил:

— Что вещает вам Хозяйка гор, Павел Петрович?

Он очень серьезно и задумчиво ответил:

— Природа Урала имеет свой богатый и красочный язык. Это язык нашей, русской Илиады.

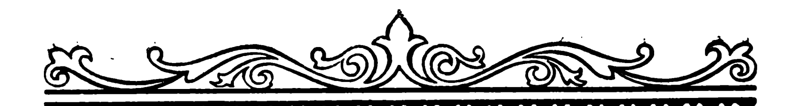
Он стоял на этих седых монолитах долго, прислу-

шивался к таинственной тишине и, вероятно, видел то, чего не видели мы.

И сейчас, когда пишутся эти строки, мне думается, что могила Павла Петровича Бажова должна быть не на обычном кладбище Свердловска, а там, у подножия этих гигантских руин, полных чудесных видений, и надгробием была бы малахитовая глыба с такой примерно надписью:

«Под этим малахитом лежит Павел Петрович Бажов — певец тружеников-умельцев, в душе которых веками горел животворный огонь и которые преобразовали Урал в неувядающий Каменный цветок».

Москва



АННА КАРАВАЕВА

СТРАНИЧКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Весной 1938 года один знакомый критик, вернувшись из командировки в Москву, показал мне привезенную им верстку книжки Павла Петровича Бажова, которая называлась «Уральские сказы». Имя Павла Петровича мне было известно и раньше, однако эта книга раскрыла мне его творческую личность с новой стороны. У меня появилось такое чувство, будто я прикоснулась к совершенно свежему, новому пласту художественной фантазии и осмысления мира прошлого.

Сам Бажов очень точно определил истоки своих сказов — знаменитой книги, которая вскоре стала известна широчайшим массам советских читателей под названием «Малахитовая шкатулка». Вот что он написал в своем авторском предисловии: «...сказы Хмелинина можно рассматривать как своего рода историко-бытовые документы. В них не только отразилась полностью тяжелая жизнь старого горняка, но и его наивное понимание «земельных чудес» и его мечта о других условиях жизни, каких — сказитель и сам не знал, не мог представить себе, но только не тех, в каких проходила его жизнь... Заводские служащие, «прахтикованные техники» или

«люди с хорошим почерком и бойким счетом» не могли, конечно, оценить сказы по достоинству, а те, что «стояли повыше» и были чуть грамотнее, относились пренебрежительно к «каким-то сказам старичонки-караульного». Этим важным людям было невдомек, что неграмотный «старичонка-караульный» с редкой глубиной прочувствовал и понял жизнь горнозаводского рабочего и, как подлинный художник, сумел передать ее в образах, где уральская фантастика переплелась с исторической правдой».

Если бы даже и не было сказано этих авторских слов, читатель не смог бы ошибиться в том, что перед ним явление в литературе новое, яркое, много и волнительно говорящее уму и сердцу. Это были, конечно, творчески переработанные взыскательным художником народные сказания, фольклор, и какой!.. Только в советской литературе мог найти себе дорогу этот новый, горнозаводский фольклор. Писатель с замечательным чутьем и очень верно оценил духовное убожество и глухоту «важных людей», которые жили многие годы окруженные этими несметными богатствами слова и народной мечты — и будто не видели, не слышали их. Да что «важные люди» старых уральских заводов!.. Русская дореволюционная фольклористика разрабатывала главным образом крестьянский фольклор, в котором, по мнению исследователей, сосредоточивалось все, что было сильного, меткого и красочного в русском языке. Нас, молодых филологов, в свое время тоже учили, что «цвет языка» — это крестьянские сказы, песни, пословицы, загадки. Учили также, что завод и фабрика якобы создали только частушку с ее бойким, «рубленым» ритмом и «бедной городской темой». А о том, что за многие годы накоплены драгоценные россыпи, целая толща сказаний, созданных рабочими, разговора никогда не возникало.

От горнозаводских сказов Бажова на меня словно пахнуло, кроме новизны, и ароматом детства. Я родилась и выросла на Урале, в городе Перми, и в детстве, из уст отца, моих дядей и теток слышала бывальщины (как называл их мой отец) о разных печальных, а то и страшных случаях из жизни рабочих строгановских рудников и шуваловских заводов — в нашем крае потом-

ки графов Строгановых и Шуваловых владели заводами, землями и лесами. Слышанное от отца было очень любопытно, но ум подростка не в силах был осознать общественное значение и смысл бывальщин, хранившихся, например, в памяти моего отца и других родичей, которые помнили эти бывальщины, как говорится, по наследству. Читая бажовские сказы, я все шире и ярче понимала патриотическую заслугу писателя: да, все это богатство народной поэзии, чудесных обобщений жизненного опыта, страстной мечты о лучшей жизни бытовало в гуще народа, долгие годы не оцененное, не замеченное, не отобранное исследователями. Но пришел Павел Петрович Бажов, открыл золотым ключом ворота этой многим неведомой страны горнозаводских сказов — и новый мир образов, полный живых, горячих мечтаний, красочной фантазии и смысла открылся перед читателем.

Именно такое чувство испытывала я, читая книгу П. П. Бажова, которая сразу полюбилась мне чрезвычайно.

Первым моим побуждением было как можно скорее и шире рассказать всем об этом замечательном и свежем явлении советской литературы. После моей статьи в «Литературной газете» мне, как и ряду других писателей, связанных с работой Областной комиссии ССП СССР, естественно, захотелось лично познакомиться с Павлом Петровичем и, как выразился кто-то, «показать Бажова Москве». Да и интерес к творчеству Бажова в писательских кругах и среди читателей все возрастал. В 1939 году в Свердловском областном издательстве вышла «Малахитовая шкатулка» — сборник старых уральских сказов из жизни и быта горнорабочих. Появилась статья в «Правде», а в Москве книги еще не было.

С кем-то из свердловчан я отправила письмецо Павлу Петровичу, прося выслать мне «Малахитовую шкатулку». Прошло некоторое время — в Москву приехал покойный писатель А. Ф. Савчук.

— Получили от Павла Петровича «Малахитовую шкатулку»? — спросил он меня.

— А разве он уже послал ее мне?

— Да, конечно. Я сам видел! Павел Петрович послал ее в адрес Союза писателей СССР.

— Но где же она?! Почему же я ее не получила?

Начались поиски «Малахитовой шкатулки». Кто-то видел книгу, кто-то смотрел, кто-то вслух цитировал сказы... а в общем книга пропала, проще говоря — ее «зачитали» поклонники. Я была бесконечно огорчена, снова написала Павлу Петровичу, и вскоре книга была у меня. Появилась она и в Москве. Вызвав Павла Петровича в Москву, мы хотели, понятно, как можно более впечатляюще ознакомить аудиторию с его творчеством. Пригласили из числа знаменитых наших чтецов Е. Д. Турчанинову и Д. Н. Орлова. Узнав, что Евдокия Дмитриевна Турчанинова, одна из любимых мной артисток Малого театра, живо откликнулась на приглашение Союза писателей прочесть по своему выбору некоторые сказы, я позвонила ей, выразила нашу общую признательность и тут же спросила, понравились ли ей бажовские сказы. Она отозвалась о сказах с горячей похвалой:

— Это золотая проза! А Бажов Павел Петоович — это просто кудесник какой-то, чародей!

До вызова Союзом писателей Павла Петровича в Москву я ни разу не видела его. Он мне представлялся, конечно, пожилым, но почему-то высоким и коренастым человеком. А я увидела старика с седой, прозрачной бородкой, худощавого, даже хрупкого на вид, роста ниже среднего. У него был тихий голос, задумчивый взгляд светлых глаз, мягкая грустноватая улыбка. Но немного спустя мне уже показалось, что именно так и должен выглядеть человек, который, почти полвека назад услышав сказы дедушки Слышко, донес их разум и нетленную красоту до наших дней.

Во всем облике Павла Петровича читался мудрый и многоцветный опыт большой жизни, который оставляет в душе старого человека сложный переплав чувств, мыслей, стремлений, несбывшейся и сбывшейся мечты.

В ожидании вечера у нас, в Центральном доме литераторов, мы, несколько писателей-москвичей, окружив Павла Петровича, начали было его расспрашивать о том, как писалась «Малахитовая шкатулка». Он выслу-

шал все вопросы, обращенные к нему, и, слегка пожав плечами, застенчиво и мягко улыбнулся.

— Рассказать? Да ведь я уже все рассказал... в предисловии-то к моей книжке все есть, нового ничего не скажу.

Впоследствии я не раз замечала в характере Павла Петровича эту скупую на слова скромность — он не любил говорить о себе. Он как бы считал возможным рассказать только какой-то необходимый минимум о своей работе, а все остальное предоставлял воображению собеседника, особенно если беседовал с литератором. Однажды мне довелось слышать его интервью корреспонденту одной из центральных наших газет. Корреспондент, совсем юноша, очевидно, воображал, что писатели приблизительно все одинаковы, и задавал автору «Малахитовой шкатулки» вопросы такого характера и в таком количестве, как уже привык задавать всем. Павел Петрович отвечал ему в своей манере — ясно и скупо. Юноша придумывал все новые вопросы. Павел Петрович терпеливо повторял уже сказанное. Юноша настаивал, а Павел Петрович мягко, но решительно отводил все попытки корреспондента навязать ему то, чего он не хотел и не считал нужным развивать в беседе.

— Ну, Павел Петрович, — сказал кто-то, также наблюдавший эту сценку, — молодой человек ушел огорченный: не получилось у него «богатого интервью» с вами!

— Ему еще учиться надо, люди-то ведь разные, — коротко, но твердо ответил Бажов.

Так же не любил он что называется ходить душа нараспашку или слишком открыто и шумно выражать свои чувства. Вернусь в связи с этим к вечеру, когда Павла Петровича впервые увидели в Москве. Вечер прошел тепло и сердечно, наши знаменитые чтецы прекрасно прочли несколько сказов (к сожалению, уже не помню, что именно читали), и все мы от души поздравили Павла Петровича с успехом. Каждому, кто приглядывался к нему, нетрудно было себе представить, что, конечно, Бажов с волнением ехал в Москву, что вечер и дружеский прием в Союзе советских писателей растро-

гали его. После вечера я спросила его, как понравилась ему эта дружеская встреча, он ответил кратко:

— Хорошо.

Потом, разгладив прозрачную седую бороду и улыбнувшись светлыми грустными глазами, он повторил:

— Все было хорошо.

После мне довелось два-три раза встречаться с Павлом Петровичем в Москве. Уже большая, заслуженная слава окружала его имя. «Малахитовая шкатулка» стала одной из любимейших книг советского читателя. А Павел Петрович был все тот же: черная толстовочка, подпоясанная ремешком, неспешная походка, мягкая улыбка — и та же собранность натуры, глубокой и сосредоточенной.

Особенно почувствовала я эту черту бажовского характера в годы Великой Отечественной войны. В начале октября 1941 года я приехала в Свердловск как корреспондент «Правды» для освещения в печати патриотического труда нашего тыла. Каждый советский человек помнит, как напряжены были все силы души в те грозные дни, когда наша родина обратилась в страну — военный лагерь. В одной из приемных Свердловского обкома ВКП(б) среди группы ожидающих приема, большинство которых было в военной форме, я вдруг увидела знакомую черную толстовку, седую бороду и задумчиво-спокойный взгляд светлых глаз.

— Павел Петрович! Как я рада вас видеть!

Сразу вспомнился творческий вечер Павла Петровича в верхней гостиной нашего Дома писателя, вспомнилась наша бесценная, мирная жизнь. Однако распространяться об этих чувствах было некогда. Павел Петрович задал только несколько вопросов о московской жизни, о Союзе писателей, поинтересовался, кто из московских писателей ушел на фронт. Потом рассказал, что пришел в обком посоветоваться, как вести работу в Свердловском отделении и вообще как «сохранить силы людей».

— Сохранить силы? Какие?

— Ну... творческие силы тех писателей, которые уже начали прибывать сюда.

Далее он сказал, что предвидит многие трудности

бытового и материального порядка, которые, конечно, мешают творческой работе.

— Кто потверже духом, кто помнит всегда, что страна-то наша теперь военный лагерь, тот все перенесет достойно. А на другого посмотришь — он уже сдал... Жалко и досадно за такого: талантлив, умен, а вот избалован — успехами ли, слишком ли размеренной, уютной жизнью, бог его знает... словом, тяжко ему очень. А талант лежачим камнем, без работы художественного воображения, пребывать не может и не должен. В дни испытаний, напротив, талант должен развернуться по-боевому. Вот и хочется по возможности создать писателям условия для творческой работы в военное время: жилплощадь, снабжение, пайки там и все прочее...

— Вижу, Павел Петрович, вам будет жалко, если из-за трудностей военного времени не будут созданы новые произведения?

— Конечно, конечно! — взволнованно и быстро сказал Павел Петрович. — Ведь что для литературы пропало, то и для народа пропало.

Не это ли хозяйское чувство к литературе и убеждение, что каждое настоящее произведение входит в арсенал духовной жизни народа, не эта ли хозяйская забота и любовь к мирному созиданию заставляли Бажова в те грозные годы, не считаясь ни со временем, ни со слабым своим здоровьем, помогать товарищам по литературе личными хлопотами в разнообразнейших делах писательской жизни? К осени 1941 года, как известно, в Свердловск съехалось много деятелей советской литературы, искусства, науки. Всех этих людей надо было разместить, создать хотя бы скромные, но все же нормальные условия для работы, а это было уже не так легко. Помощь Павла Петровича во всех случаях такого рода была просто неоценима, да ведь и то сказать — он в городе всех знал, и его все знали. Бывало, позвонишь к нему или, увидясь лично, просишь помочь, отправиться вместе к кому-нибудь из местных властей. Он никогда не отказывался. Однажды — помню, был мороз с метелью — мне стало совестно, что мы, люди несколько более молодые, беспокоим старого, болезненного человека. Помню, Павел Петрович шел по улице, то и дело

надвигая шапку на глаза, снег бил ему в лицо, он сбрасывал его рукой с заиндевевшей бороды и шагал не останавливаясь.

— Ох, не сердитесь, Павел Петрович... вытащили мы вас в такую ужасную погоду!

— При чем тут погода, если необходимое дело надо выполнить! — отвечал Павел Петрович и еще решительнее пошел вперед.

Однако решительность его всегда выражалась по-своему, по-бажовски. В то суровое время множество приезжих людей часто вынуждены были «осаждать» свердловских руководителей своими просьбами — и, как правило, самыми насущными. Случалось, иной руководитель учреждения иногда — или по занятости, или не разобравшись в вопросе — показывал желание отложить дело, советовал «побывать завтра». Вот здесь-то и проявлялась решительность Павла Петровича. Приподнявшись с места, он неторопливо пересаживался поближе к руководителю, которому так хотелось, чтобы мы «побывали завтра», и произносил несколько фраз, простых, спокойных, но таких веских, что начальник быстро менял тон. Кто не вспоминал в ту минуту, что к нему в кабинет пришел не со своей личной, а с общественной просьбой любимый народом уральский чародей слова, создатель горнозаводских сказов, старый коммунист, человек громадного жизненного опыта, правдивый, принципиальный. И всегда оказывалось, что поворот в переговорах по данному вопросу, предложенный Бажовым, самый правильный и целесообразный.

— Ну... во-от, — сказал он однажды, после одной из таких деловых бесед, лукаво помаргивая светлыми грустноватыми глазами, — иногда и стариков полезно в компанию прихватить, дело скорее продвинется.

Однажды я сказала полушутя:

— С вашим терпением, Павел Петрович, чего не одолеешь!

Но он ответил серьезно:

— А без терпения людей и не поймешь.

Действительно, мне и не случалось видеть, чтобы Бажов кого-то не понимал или становился втупик, не зная,

как отнестись и как раскрыть смысл какого-то явления. Конечно, его старались как можно меньше беспокоить, а потом, когда и трудная жизнь военного времени все же вошла в какую-то норму, — каждый разумный человек уже считал невозможным тревожить Павла Петровича — «поберечь надо старика!». А он неустанно работал, создал ряд новых чудесных сказов, таких, например, жемчужин, как сказ «Живинка в деле», — неустанно всматривался, изучал в большом и малом черты бытия грозного, неповторимого времени.

Вспоминается один вечер, когда эта черта бажовского характера и — хочется сказать — творческого слуха особенно ярко мне запомнилась. Было это в Ревде, куда мы ездили, кажется, зимой 1942 года: это был один из многочисленных в то время литературных вечеров. Помню, как мы шли с Павлом Петровичем к Ревдинскому заводу, где еще сохранились здания демидовских времен. Был морозный вечер. Мы постояли против здания бывшей демидовской конторы — длинного, приземистого корпуса с узкими окнами.

— Здесь толщина стен больше метра, — заметил Павел Петрович и усмехнулся. — Строили Демидовы свои заводские здания тяжко, прочно, будто крепости, уж по крайней мере лет на пятьсот... думали, что их царство никогда не кончится!

Мы побывали в некоторых цехах, поговорили с рабочими, инженерами, а в одном из цехов нас пригласили побеседовать с ревдинскими стахановцами во время перерыва ночной смены. Павел Петрович внимательно слушал, что рассказывали рабочие о своем труде «гвардейцев тыла», как в то время всюду любили говорить на Урале. Одним из последних стал рассказывать старый рабочий, уже далеко за шестьдесят, и, как тут же выяснилось, персональный пенсионер: «Сердце не выдержало в грозный час дома сидеть», — и он вернулся в свой горячий цех. Павел Петрович смотрел на старого металлиста, особенно уважительно и ласково расспрашивал его, и тот отвечал ему с таким же уважением и любовью. Наконец Павел Петрович мягко, наклонившись к рассказчику, спросил:

— А вот скажите... просто как старик старику... те-

перь, когда вы вернулись на завод, о чем вы чаще всего думаете?

Старый металлист помолчал, улыбнулся.

— Часто я думаю: а хорошо, что я детей своих переспорил. Дети у меня хорошие, работящие, два сына и две дочери, но рассуждали они обо мне, прямо сказать, неправильно.

И старик рассказал, как дети настойчиво внушали своему отцу-пенсионеру, что «отныне жить ему на покое», ни о чем не заботиться, дело его «стариковское», его будущее уже во всем «решено и подписано», то есть ни в каких событиях он-де больше участвовать не может, и, следовательно, ему остается только отдыхать. Но, вернувшись в родной цех, в напряженную жизнь завода военной эпохи, старый рабочий почувствовал в себе прилив новых сил, а священная тревога за родину и страстное стремление отдать свой труд и многолетний опыт на борьбу за ее победу над врагом утвердили в нем сознание, что он не только участвует в событиях, но и решает их.

— Теперь каждый человек, кто честно и горячо работает, от самого молоденького ремесленника до старого кадровика, вот как я, все решают дело победы, Павел Петрович!

— Именно так... решают! Весь советский народ, от ремесленника до академика, единодушно решает... этакую силу не сломишь! — И Павел Петрович, поглаживая бороду, оглядел собеседников медленным и просветленным взором, будто призывая их вдуматься в слова старого металлиста. Мне казалось, что, хотя Бажов не повторял больше этой мысли, люди почувствовали ее и то настроение просветленной, уверенной гордости за родину, за народ, с которой мысль была выражена.

Вообще не в натуре Бажова было резко подчеркивать, настаивать, нажимать. Мне часто думалось, что он что называется брал людей за душу именно вот этой присущей ему мягкой сдержанностью выражения. Она как бы внушала тем, кто общался с ним: «Я верю, что вы, как разумные и честные люди, понимаете сами, как важно поступить именно так, а не иначе». Всякая непродуманность, ненужная резкость, торопливость, привне-

сение в общественную работу чего-то случайного, постороннего, неделового глубоко огорчали его.

Помнится, как однажды зимой возвращались мы вместе с Павлом Петровичем с одного довольно шумного писательского собрания. Он выглядел усталым и недовольным. Я спросила, не собрание ли этому причиной.

— Да, — ответил он, утомленно покашливая. — Вот ведь некоторые наши товарищи, уж, кажется, и видели, и знают много, а — какая забывчивость! — выступают иногда и судят о предмете будто у нас сейчас не война, а спокойное, мирное время. В перерыве я указал было на это обстоятельство одному такому товарищу, а он мне в ответ: «Если, говорит, что-нибудь меня раздражает, никакие времена и обстоятельства меня уж не остановят... и пока, говорит, я не разряжу своего раздражения или возмущения, до тех пор я не могу успокоиться». Далее я его спрашиваю: «А не приходит вам в голову при этом простая мысль — правы ли вы, не желая сдерживать раздражение ваше?» А он: «Эх, говорит, Павел Петрович, вы, как художник, должны понимать, что страсти в человеке с терпением не уживаются, тут, говорит, нечего меня учить». — «А не желаете ли, говорю я ему, все-таки поучиться?» Он спрашивает: «У кого же именно?» Я: «У наших снайперов на фронте». Он уже иронически: «Извините, Павел Петрович, не вижу связи». Я: «Связь мне вполне ясна. У снайпера страстная, непримиримая ненависть к врагу уживается с самым непоколебимым терпением. Снайпер, случается, часами, днями выслеживает врага, не обнаруживая себя ни движением, ни даже вздохом, борется с врагом поначалу своим точнейшим расчетом, выдержкой, хладнокровием, терпением... и, наконец, «снимает» вражеского снайпера своим воинским искусством и ненавистью».

— Что же ответил на все это ваш оппонент?

Павел Петрович тихонько усмехнулся:

— Согласился. Только спросил: «А если, говорит, я возмущен недостатками нашей работы, так, значит, я должен сначала хладнокровно всмотреться в эти отрицательные явления, а потом по-снайперски бить?..» Так мы с ним и договорились: изучи сначала, ежели требуется, и оперативно изучи причины недостатков, проду-

май способы борьбы с ними... и наваливайся на них, искореняй!

Павел Петрович с решительно-веселым видом рубанул ладонью по воздуху и засмеялся милым стариковским смешком с хрипотцой и лукавинкой. Очень похоже было, что, пока он пересказывал свой разговор, настроение его улучшалось. Помолчав, он добавил:

— Бывает, поддастся человек минуте... Но если настоящий, совестливый художник, он скоро осознает, что был неправ.

Потому-то, наверно, Бажов и не назвал имени своего оппонента. Вообще Павел Петрович не любил «суетолков о соседях», как однажды он выразился полушутя-полусерьезно. Когда он точно знал, что кого-то действительно есть за что похвалить и поддержать, он делал это с явным удовольствием. С ласковой улыбкой поглядывая на выступающих по этому поводу и неторопливо поглаживая серебряную бороду, он кивал в знак своего глубокого удовлетворения и согласия.

При своем слабом здоровье Бажов был совершенно лишен какого-либо брюзжанья по отношению к молодым здоровым людям, особенно к детям.

Вспоминается мне забавный случай на одном из литературных вечеров где-то под Свердловском, в заводском клубе.

Среди взрослых и молодежи сновали ребятишки младшего школьного возраста. Вечер для них был слишком серьезен, и они, насытив свое любопытство разглядыванием членов президиума, довольно скоро обратились к своим делам. Четверо мальчишек, заметив, что строгая билетерша куда-то исчезла, увлеклись игрой. Двое из них заняли два крайних стула в третьем, а двое в четвертом ряду и, поочередно подбрасывая вверх меховой мячик, сшитый из двух кусочков рыжей и белой овчины, приговаривали: «Заяц, лиса... заяц... лиса...» Ребята так увлеклись своей игрой, что их шепоток и смех разносились по всему залу. На них возмущенно шикали. Они затихали на минуту и снова принимались за свое. Павел Петрович читал с трибуны один из новых своих сказов — «Тараканье мыло». Его тихий голос то и дело заглушался громким шепотом разыгравшихся

ребят: «Лиса... заяц...» Рассердившись наконец на этих неугомонных нарушителей порядка, я спустилась в зал, подошла к ребятам и приказала им следовать за собой. В клубном фойе я принялась стыдить их: хотя они и школьники младших классов, но уже должны понимать, как бессовестно с их стороны мешать Павлу Петровичу, и т. д.

Ребята присмирели, а один, самый маленький, с курчавым каштановым хохолком на макушке, виновато посмотрел смышлеными карими глазами и обезоружил меня следующими словами:

— Тетя, да ведь мы совсем маленько и поиграли-то... Вот я десять раз лисой был, а зайцем — всего четыре... А лисой быть часто никому не охота, плохо!

— А чем же это плохо? — спросил спокойный голос, и мы увидели Павла Петровича, вставшего за колонной. Улыбаясь, он смотрел на ребят, и взгляд его выражал живой интерес. — Чем же плохо, что ты всего четыре раза был зайцем?

— Уж как это плохо! — горячо сказал мальчик. — Если белый мех кверху — значит, я в зайцы выхожу, если рыжий — значит, я лисой становлюсь. А если часто лисой бываешь — значит, зайца она съела... значит, ты вроде съеденный. Понятно?

— Вполне, — улыбнулся Павел Петрович. — Кому охота быть съеденным!.. Ну, а если ты чаще бываешь зайцем, то, значит, ты живой?

— Да! Значит, я убежал от лисы!

— Понятно-о! — раздумчиво протянул Павел Петрович. И вдруг нежно, будто про себя усмехнувшись, произнес: — Когда я мальчишкой был, мы, помню, похоже, как и вы, играли...

И он, казалось, растроганный этим неожиданным воспоминанием, рассказал, по просьбе ребят, несколько случаев из своего далекого детства. Подошли и еще какие-то ребята, и все сгрудились около старого чародея уральских сказов и слушали его, взволнованные, зачарованные, как полвека назад слушал и он сам, покоренный чудесными сказами дедушки Хмелинина. Как я досадовала потом на себя, что, заслушавшись вместе с ребятами, не записала, что называется, по горячему сле-

ду, этих нескольких новелл о детских играх, этих прелестных экспромтов, полных красок, юмора и светлой радости детства.

— Радость-то человеку всегда нужна, как воздух и пища, даже и в трудное, военное время, — сказал Бажов по другому поводу.

Было это в начале зимы 1941 года. После литературного вечера в клубе Уралмашзавода мы не торопясь шли по улице заводского городка — Павел Петрович, фольклорист В. А. Попов и я. В. А. Попов завел разговор об уральском песенном фольклоре, который ему хотелось собрать.

— Что ж, песни ведь никуда не делись, — произнес Павел Петрович, — как жили в народе, так и живут. Да вот... стойте, стойте...

Он прислушался и довольно усмехнулся, указывая на ярко освещенные окна в первом этаже одного из больших каменных домов. В открытые форточки окон слышалось веселое хоровое пение.

— «Чарочку» поют, — пояснил Павел Петрович и, обращаясь к фольклористу, добавил: — Вот вам старинная уральская песня. Застольная, на свадьбах поют.

И мне эта песня была с детства знакома, но сейчас мне было неприятно слышать ее, как неприятен был и веселый шум, доносившийся на улицу. В душе еще были свежи впечатления нашей московской жизни в грозовое лето и осень сорок первого года — бомбежки, бессонные ночи, строгий и напряженный строй жизни. После всего этого свадебное веселье, — за тюлевыми занавесками все было отчетливо видно, — эта застольная песня, веселый шум за столом показались мне в первую минуту даже чем-то несовместимым с переживаемым временем. Со свойственной ему чуткостью Павел Петрович сразу заметил это настроение, но, не удивляясь, спросил:

— Выходит, значит, если война, так молодые люди и жениться не смей? Ага, вы так не думаете? Очень хорошо. Значит, вы за... тихую свадьбу... посидеть за столом, вчерашнего пирога поесть — и отправляйтесь, гости, восвояси?.. Нет, вы так тоже не думаете?.. Значит, свадьба как свадьба. Мы ведь не знаем, — может быть,

жениху-то скоро на фронт идти, будет воину о чем вспоминать... и он еще злее — ведь от счастья его враг оторвал! — будет бить, громить врага. А может, жених и невеста оба на Уралмаше работают, эти двое из сотен тысяч наших тружеников. Счастье-то ведь человеку всегда дорого, радость-то человеку всегда нужна, как воздух и пища. У этих двух молодоженов работа теперь еще спорее пойдет, а для государства очень важно — они ведь какие-то части наших боевых машин делают...

Мы уже далеко отошли от дома, где была свадьба, а Павел Петрович продолжал говорить о ней:

— Свадьба... быт, конечно, однако не только быт. Мне, старику, вот именно теперь особенно приятно видеть, что люди справляют свадьбы, что молодежь танцует: во всем этом чувствуется уверенность в будущем. Или вот была недавно у меня встреча со студентами — какие славные ребята, сколько планов на будущее!.. И заметьте — все эти планы полны уверенности в великолепном будущем нашего Советского государства, которое обязательно победит в этой страшной, невиданной войне.

Конечно, у каждого из нас нашлось немало живых примеров этой уверенности в будущей нашей победе, уверенности, что ярко и конкретно выражалась в жизненных планах множества простых советских людей.

Павел Петрович вдруг приостановился, посмотрел на небо и как будто вне связи с разговором сказал:

— Эх, звезды-то... что зерна золотые...

Потом надвинул шапку поглубже и зашагал опять, как бы думая вслух:

— Великое дело — уверенность, сознание своей исторической правоты! Какую силу дает оно для жизни, силу неистощимую! Нам, старикам, конечно, трудновато, а то и просто нереально далеко в будущее заглядывать... а вот насчет победы нашей и возвращения мирной жизни я загадал точно: доживу! Трудно пока, а все равно время на нас работает, и каждый день приближает нас к победе, к миру, обязательно приближает!

Эту мысль, что каждый день приближает нас к победе, к миру, что трудовой подвиг народа в тылу и беззаветная храбрость наших воинов на фронте, вся эта мо-

гучая сила миллионов, вдохновляемая великим учением нашей партии, является вернейшей основой победы советской державы, — эту мысль Бажов, как подлинный писатель-патриот, проводил во всех своих выступлениях, которые мне довелось слышать. И что еще было приятно — каждый раз эта мысль подкреплялась живыми и неповторимыми примерами трудовых подвигов народа в разных областях жизни Урала, которую Бажов знал глубоко и чувствовал всем сердцем.

В его высказываниях никогда не замечалось высокой температуры пафоса или торжественности, да ко всему внешнему облику его это едва ли бы подошло. Все в нем — голос, взгляд, жесты — было сдержанно, негромко, скупо. Может быть, поэтому некоторые считали его уже «уставшим от жизни», суховатым, даже скрытным человеком, не желая, очевидно, присмотреться к особенностям бажовского характера. Все, что он делал и говорил, было всегда удивительно органично его природе, его опыту и взглядам на жизнь. Никогда не замечала я, чтобы Бажов высказал случайное мнение или вынес решение, от которого потом самому пришлось бы открещиваться. Он предпочитал помолчать, если не знал данного вопроса, и с осторожностью, взвешивая каждую подробность, подходил к разбору сложного дела. Всего важнее для него, как он выразился однажды, была «большевистская принципиальность и польза для дела». В его возрасте иногда и нелегко было вмешиваться в писательские дела и, тем более, — в столкновения разного рода «материальных» интересов. Естественно, его старались оберегать, не загружать лишними обязанностями: «Бажов у нас один». Но если ему случалось услышать спор по идейно-творческим вопросам, он не мог долго оставаться в положении наблюдателя. Хочется привести один из таких случаев.

Наверное, все жившие первые годы войны в Свердловске помнят часы обедов в разных «ответственных» столовых. Там, как в клубе, встречались все — академики, писатели, композиторы, художники, актеры. Обслуживали обедающих невероятно медленно, и потому время ожидания посетители скрашивали разговорами. Однажды, войдя в зал и ища глазами свободное место, я

увидела Павла Петровича. Сидя перед пустым еще прибором, он разговаривал о чем-то с несколькими незнакомыми мне посетителями. Двое из собеседников, еще молодые, были (как потом оказалось) художники, один — художественный критик, двое — композиторы, люди уже за сорок, а шестой собеседник — один из маститых наших старых музыкальных деятелей. Последний в разговоре, правда, участвовал вяло, только временами вставляя короткие замечания, и явно не поддерживал высказываний художественного критика. Самый молодой из всех, критик, похоже, очень нервный, с таким видом, будто обижался на всех, что-то запальчиво доказывал, обращаясь чаще всего в сторону Павла Петровича. Бажов отвечал ему, спокойно поглаживая серебряную бородку и как бы с сожалением поглядывая на сердито-возбужденное лицо молодого человека.

Поблизости за столиком освободилось место, которое я и поспешила занять, очень заинтересованная разговором. Художественный критик, как уже скоро стало понятно, утверждал, что во всех областях искусства «имеют одинаковое право и значение» решительно все направления — от кубизма, экспрессионизма и т. д. и до реализма, что каждое «имеет свою ценность и смысл» и что «самое плодотворное положение в искусстве», по его мнению, заключается в следующем: пусть-де все направления спорят между собой, пусть каждое по-своему доказывает «свой смысл и красоту», и вот в этой-то «драке» и «рождается истина» и т. д. Критик приводил разные примеры, но всякий раз Бажов своими жизненно яркими и художественно убедительными примерами спокойно разъяснял ему несостоятельность его путаных рассуждений.

В спор уже начали вмешиваться и ближайшие соседи. Все мы так дружно поддерживали Бажова, что незадачливый «защитник всех направлений», как он сам себя называл, наконец обиженно воскликнул, обращаясь к Павлу Петровичу:

— Целое наступление на меня, чтобы сделать удовольствие Бажову! Вы можете торжествовать, Павел Петрович!

— Вот уж к чему не стремлюсь, да и незачем это мне, — спокойно ответил Павел Петрович.

— Но вас же так рьяно поддерживают!

— Не меня, а социалистический реализм, который для всех нас, работников советского искусства, является ведущим творческим методом.

Тогда критик стал доказывать, что социалистический реализм он-де «включает в свою концепцию в порядке всеобщего равноправия» и т. д. Но Бажов все с тем же неистощимым спокойствием глубокого убеждения снова переборол его:

— Вы хотите любить все — и ничего в особенности. Проще говоря, вы ничего всерьез не любите. В искусстве, как и в жизни, так думать и действовать нельзя. А где же тогда борьба в искусстве за все новое, передовое, где конфликты?

— Да, конфликт, действительно, главная пружина действия, — недовольно согласился критик.

— Ну... вот, сами видите, — усмехнулся Павел Петрович, — без пружины машина не пойдет.

Когда, не поддержанный никем, критик ушел восвояси, я спросила Павла Петровича:

— Давно знакомы вы с этим молодым, но старомодным эгоцентристом?

— Первый раз в жизни вижу. Просто вместе очутились за столом... ну, и я, даже при спокойном моем характере, не мог равнодушно слушать эту формалистско-эгоцентрическую ересь.

Когда в начале весны сорок третьего года я поехала в Москву, встретиться, поговорить напоследок с Павлом Петровичем не пришлось — он был болен. Конечно, я знала, что буду еще встречаться с ним в Москве, но в тот день как-то очень тянуло сердечно сказать ему, как много значило, особенно в трудное военное время, встречать всегда в лице Павла Петровича старшего товарища, умного, отзывчивого, богатого разносторонним опытом жизни, всегда по-партийному принципиального, чутко понимающего творческую жизнь, идейно-художественную природу таланта каждого писателя. Хотелось за все

это сказать сердечное спасибо, пожать руку нашему уральскому волшебнику поэтического слова и прекрасному человеку.

Весной сорок четвертого года была первая после начала Великой Отечественной войны конференция, созванная Комиссией по работе с русскими писателями республик, краев и областей. Павел Петрович делал доклад о работе Свердловского отделения ССП. Выглядел Бажов бодро, новая черная толстовочка ловко сидела на его небольшой фигуре, гладко причесанные седые волосы над высоким лбом приятно серебрились. Слушая его доклад, как обычно деловой, самокритичный, я вдруг вспомнила высказывание одного из художников, которому Литературный музей СССР заказал портрет Бажова. Художник, недавно познакомившийся с Павлом Петровичем, рассказывал мне о своих впечатлениях: «Какая чудесная «натура» Павел Петрович! Эти серебряные волосы и борода, этот чистый, просторный лоб, в котором так и читаются мудрость и полет фантазии!»

После доклада Бажова ко мне подошел поэт-дальневосточник Петр Комаров. Он радостно улыбался:

— Знаете, Анна Александровна, оказывается, Павел Петрович читал мои стихи... я этого никак не ожидал, честное слово!.. Я думал, прозаики поэтов не читают, так я и Павлу Петровичу сказал. А он засмеялся. «По поводу такого мнения, говорит, сделаем скидку на вашу молодость». Потом, кроме добрых слов, он сделал ряд верных и тонких замечаний, которых, пожалуй, я даже от поэтов не слыхал. Я слушал Павла Петровича и думал: «Широкая, светлая душа у этого человека!»

В тот же день я поблагодарила Павла Петровича за его душевную беседу с поэтом-дальневосточником. Петр Комаров, кстати, на конференции определенно проходил «в именинники» — его стихи обсуждались особенно оживленно, как создания подлинно поэтического и свежего таланта. Внимание Бажова к этим дальневосточным стихам было мне приятно еще и по другой причине: талантливый дальневосточник уже давно болел туберкулезом, и, как часто бывает с больными, моральная поддержка и похвала исключительно взбадривали его.

Павел Петрович, выслушав это, понимающе кивнул,

а потом произнес с доброй и многозначительной улыбкой:

— Талантлив парень, талантлив по-настоящему. Было бы только здоровье, а победа у него впереди.

Наш чудодей как напророчил: прошло не много лет, и стихи поэта-дальневосточника Петра Комарова были удостоены Сталинской премии.

Довелось мне еще несколько раз встречаться с Бажовым, когда он приезжал на сессии Верховного Совета СССР. В перерывах между заседаниями Верховного Совета он непременно заходил в Союз писателей — и всегда по поводу важных и насущных вопросов для писателей Свердловской области. Не помню случая, когда бы Бажов не знал, кто из писателей-уральцев над чем работает и какие произведения скоро выйдут в свет. В один из приездов Павла Петровича в Москву, в конце сороковых годов, все беседовавшие с ним в тот день обратили внимание на его болезненный вид и странный, мутный взгляд. Он устало щурился, прикрывая глаза рукой. На вопросы, что с ним, почему он так дурно выглядит, Павел Петрович отвечал нехотя:

— Да ничего особенного. Нездоровится немного... ну, и глаза что-то...

Это «что-то», как потом выяснилось, была болезнь сетчатки, грозившая зрению тяжелыми последствиями. Однако сам Павел Петрович относился к своей болезни без особого беспокойства.

— Павел Петрович, дорогой, да вам надо лечь в глазную больницу, ведь в Москве у нас есть замечательные офтальмологи, — говорили ему.

— В больницу только попади, время так мимо тебя и побежит, — отшучивался он. — Нам, старикам, и такого зрения хватит.

На своем юбилейном вечере в Центральном Доме литераторов Павел Петрович был оживлен и будто весь светился сердечной радостью: его, лауреата Сталинской премии, автора чудесной «Малахитовой шкатулки», государственного деятеля, собралась поздравить литературная общественность, писатели, родные, друзья, литературная молодежь. Помню, как понравилась всем заключительная речь юбиляра: только в словах благодар-

ности всем пришедшим на его праздник Бажов сказал очень скупо о себе, а в основном он говорил о советской литературе, о неиссякаемой силе ее идей, о жизненной правде ее образов, о благородных и ответственных перед народом задачах передового художника, неутомимого борца за мир во всем мире — советского писателя.

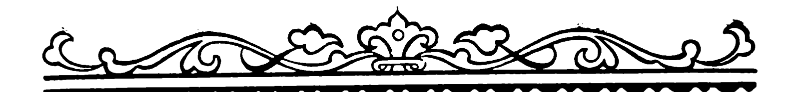
— Крепок еще старик! — говорили в тот вечер, и уж, конечно, никому не пришло в голову, что эта встреча писателя с собратьями по перу и с читателями — одна из последних. Уж таков этот неписаный закон литературной жизни: человек цветущей творческой силы представляется нам и физически крепким.

Известие о тяжелой болезни Павла Петровича поразило меня. Несколько раз, возвращаясь со своих лечебных процедур, я хотела пройти из поликлиники в больничную палату к нашему Бажову (тогда Кремлевская поликлиника и больница помещались в одном здании), но посетить Павла Петровича так и не удалось. Врачи явно неодобрительно смотрели на посещения больного: «Павел Петрович слаб, очень просим не беспокоить его». Много, наверно, дружеских, теплых приветов передавали Бажову в те дни. Однажды, во время лечебной процедуры, я услышала разговор двух медицинских сестер, которые с искренней печалью говорили о Павле Петровиче, что он «очень-очень плох».

Прошло два-три дня, и мы простились с Павлом Петровичем навсегда.

Воспоминания о большом художнике слова, чья жизнь и творчество были так органично слиты с бытием советского народа, всегда для меня связаны не только с чувством печали об ушедшем, но и с чувством горечи и недовольства: общаясь с человеком при жизни, мы все-таки мало и бегло откладываем в памяти, многое помнится неточно, бледно, а то и просто теряется. Однако самое главное остается: душевное уважение и любовь к творческой личности писателя, к патриотическому труду его жизни для блага нашей великой родины и советского народа.

Москва



ЛЕВ КАССИЛЬ

„ДОРОГОЕ ИМЯЧКО“

Еще до встречи с ним, никогда не видя его портретов, я представлял себе автора «Малахитовой шкатулки» именно таким, каким он на самом деле и оказался. Это не так часто бывает. Много раз в жизни при знакомстве с автором заинтересовавшей меня книги я должен был некоторое время преодолевать те представления о его внешности, которые в силу каких-то особенностей его произведений рисовались в моем воображении.

Но Павел Петрович Бажов, с ним я впервые встретился поздней осенью 1941 года, даже и по облику своему оказался именно таким, каким я его представлял себе. Небольшой и, несмотря на преклонный уже возраст, прямой. Несколько приземистый, прочно стоящий на своей уральской, воспетой им земле и даже, как мне всегда казалось, словно бы глубоко вросший в нее, бородатый, с ясно и глубоко светившимся взором из-под дремучих бровей. Он сам будто вышел из своей знаменитой книги, из недр легендарной горы. Таким рисовался мне и дедушка Слышко, сказы которого о старом Урале дивно отгранил и бережно передал нам мудрый уральский волшебник писатель.

...Шел самый тяжелый период Великой Отечественной войны. Казалось бы, что всем было уже не до сказок. Суровая действительность обернулась ко всем нам наиболее жестокой своей стороной. Недобрые вести приходили с фронта. Фанфароны из фашистских штабов хвастались, что уже видят через свои бинокли Кремль. Сибирские и уральские дивизии спешили на выручку. Чуть ли не с ходу вступая в бой, они своими свежими богатырскими силами сдерживали бешеный натиск гитлеровских полчищ, заслоняя грудью столицу Советского Союза от страшной опасности. Да, казалось, не до старых сказок дедушки Слышко было тут... Все наши мысли устремлялись к тем, кто творил новую героическую легенду, со сказочным упорством оберегая уже близкие подступы к Москве. К ним, доблестно стоявшим на карауле у столицы и отбивавшим беспрерывные атаки танковых орд, а не к «караулке на Думной горе», где впервые подслушал своим чутким ухом уральские сказы Бажов, обращались наши мысли. Но, направляясь в Свердловск, где мне предстояло временно работать в организованном тогда филиале Всесоюзного радиокомитета на Урале, я еще раз перечитал в вагоне «Малахитовую шкатулку». Хотя речь в этой изумительной книжке шла о делах давно минувших, все же, как мне казалось, через нее, словно через волшебное «глядельце», виделись суровые и неповторимые по своеобразию характеры тех народных умельцев, потомки которых помогали теперь защищать землю под Москвой, а на своей родной земле искусно ковать оружие для Советской Армии.

Да и в самом Павле Петровиче Бажове, как я это хорошо ощутил с первой же минуты знакомства с ним, было много такого, что помогало нам, впервые попавшим на Урал в те трудные дни, почувствовать истинную поэзию этих славных мест и заглянуть в души здешних жителей, сперва кажущихся не очень-то приветливыми, суровых на вид, скупых на слово, но золотых в работе. Строгая уверенность в своей силе и правоте ощущалась во всей, как говорят, «выходке» этих людей.

Каким-то особым, влиятельным спокойствием веяло и от некрупной на вид фигуры Павла Петровича Бажова,

несколько смахивавшего на всеведущего сказочного гнома, поднявшегося из недр земли, чтобы рассказать о кладах, хранителем которых он издавно служит. Бажов говорил очень тихим, глуховатым голосом, медленно и обдумчиво выбирая слова, с легким, характерным для уральского говора, чуть вопрошающим «оканьем». И чувствовалось, что за каждым словом простирается хорошо взвешенная, проверенная на огромном жизненном опыте мысль. Непоколебимого и мудрого спокойствия был исполнен взгляд его. В нем было много влекущего к себе света, который так мне запомнился в глазах Ромена Роллана, Циолковского, Джамбула, — в глаза их я тоже имел счастье смотреть в своей жизни. И вдруг где-то из-под самых бровей, весело шевельнувшихся, на вас светила такая лукавая и озорная хитринка, что невольно делалось веселее на душе... При Павле Петровиче Бажове неудобно было суетиться, произносить трескучие фразы. Сейчас же человек, который попробовал бы быть слишком расторопным и речистым при Бажове, натолкнулся бы на смешливый, быстро колющий и снова прячущийся под мохнатые брови, умный, все понимающий взгляд. Сам Павел Петрович очень бережно обращался с такими словами, как «революция», «партия», «народ». Но произносил их с особой настойчивой твердостью, за которой вставал истинный партиец, коммунист.

Он был исконным уральцем и очень любил свой край, своих земляков. Он мне говорил:

— Народ у нас, конечно, тяжеловат. На первый взгляд, может быть, вам покажется трудным. Верно, пока к вам не пригляделись наши, будут держаться нелюдимыми. Исторически сложился такой характер. Жизнь такая была. Особые условия. Рубеж между Европой и Азией, между вольницей и каторгой. Но уж если вас тут полюбят, то уж знайте — это навсегда. Уралец не кинется к вам на шею с первой встречи. У нас тут сначала к людям присматриваются. Попробуют их в деле, проверят в дружбе. Но уж если пришелся человек, то, будьте уверены, в беде не бросят, никогда в жизни не оставят. Уральца понять надо. Любовь у уральца добыть нелегко, но зато любовь уральская прочная, не на один вечер за бутылочкой. Серьезная любовь. Надолго.

Ему очень хотелось, чтобы мы, писатели из Москвы, по-настоящему бы поняли величие уральского края, скрытую красоту души уральцев. Он очень радовался, когда я рассказывал ему о своих наблюдениях, делился с ним впечатлениями своими после посещения уральских заводов или казарм, где перед отправкой на фронт жили воины-уральцы.

— Очень хорошо подметили. Совершенно точно подметили, — говорил он, довольный, по-новому, по-доброму, или, как сказано у него в книге, весь «удобрившись», поглядывая на меня. — Уральцев понять надо. Верно, немного скрытный народ. Но вы осторожненько копните — так такие клады, такие сокровища обнаружите!..

Перед самым возвращением в Москву, в январе 1942 года, я прочел по радио, а затем напечатал в газете рассказ «Улица Ленина». Рассказ был построен в форме сюжетного пояснения, которое выслушивает от старого уральского мастера, встретившегося на главной улице Свердловска, заезжий человек. Я старался всячески передать характерные особенности речи старых уральцев и через образ одного из них показать некоторые черты так называемого уральского характера.

— А что? Получилось у вас, — сказал мне на другой же день после напечатания рассказа Павел Петрович. — Подхватили. Хорошо услышали. Стано̀витесь, вижу, уральцем.

— Да ведь я же, Павел Петрович, у вас у самого многое прочел или подслушал, — признался я, отчасти смущенный этой, как мне показалось, незаслуженной похвалой. — Это же я вам всем обязан. Вы мне помогли к уральцам в душу заглянуть. Да и обороты некоторые, не скрываю, я у вас перенял.

— А что ж тут такого? — добродушно возразил Бажов. — Я ведь не сам слова придумывал, у своих, у уральцев, их подслушал. И пользуйтесь себе на здоровье! Ведь тут важно, чтобы из чужой книжки страницы не шелестели, чтобы человек своими глазами жизнь разглядел. А слова разве мои? Не мои они и не ваши. Им народ хозяин. Надо только повнимательнее отбирать, вырезать из массива языкового то, что особенно светит, играет, звучит. Ну, и, конечно, чтобы слово время

отражало. Язык на месте не стоит. Надо все время к нему прислушиваться. А то отстанут слова от жизни.

Сам Павел Петрович в жизни никогда не стремился щегольнуть знанием народного языка, поиграть редкими, неведомыми словечками. Он говорил очень просто, без книжных оборотов, не впадая в интеллигентское гладкоречье, но и обходясь без орнаментальных выкрутасов. Человек чрезвычайно начитанный, впитавший в себя лучшие традиции передовой русской литературы, великолепно знавший ее, он сочетал в себе подлинно народную мудрость с тонким, взыскательным вкусом большого художника, отлично ощущавшего новые времена. Как верно чувствовал он Чехова, и Короленко, и Маяковского, и Гладкова...

Когда я еще во время войны, побывав уже на фронте и на флоте, опять попадал в Свердловск, я всегда спешил встретиться с этим изумительным человеком, колдуном литературы, хранителем неповторимых кладов, таящихся в народной речи. И он заставлял меня подолгу рассказывать о наших моряках, о пехотинцах и летчиках — обо всем, что тогда заносилось спешно в блокнот фронтового корреспондента или записывалось впрок, для будущей литературной работы. Однажды он был очень смущен, хотя и не мог спрятать в бороде радостной улыбки, когда я рассказал ему, что в библиотеке гвардейского миноносца, отличившегося во время конвоирования каравана заокеанских судов за Полярным кругом, я увидел зачитанный до того, что пришлось его подклеивать, экземпляр «Малахитовой шкатулки». И во время похода молодые моряки попросили меня рассказать об уральском кудеснике.

— Нашли про кого рассказывать, — глухо, в бороду, произнес Павел Петрович. — Охота вам была... Но, впрочем, — и опять лукаво блеснули на меня эти светоносные глаза из-под бровей, — впрочем, кто знает... Ведь недаром солдаты в походах всегда друг другу сказки сказывали. Без сказки трудно людям. Иной раз и ложка в рот нейдет без присказки. Вы это, по-моему, должны хорошо понимать. Вот ведь вы тоже, когда вас в старое время гимназическое начальство допекало, «Швамбранию» себе придумали. Конечно, действительность вас, все

ваши ребячьи утопии на свой лад повернула. Но ведь и вы и те, для кого вы книжку свою писали, сказку вашу не забыли. Вот и я иной раз позволяю себе думать: шут ее знает, эту «Шкатулку» мою... Конечно, патроны в нее не уложишь, но ведь дедушка Слышко кое-что в жизни соображал. И намекал он на вещи серьезные, дельные, без которых и воевать трудно. Ведь у нас люди не просто так стреляют, а знают, за что они воюют, что обороняют. А народ в сказках своих как раз, как мне думается, и раскрывает по-своему, поэтически, то, что иной раз другими словами и не выразишь.

Впоследствии я встретился в Москве с Павлом Петровичем на столетнем юбилее И. А. Крылова. Наши места оказались случайно рядом, в партере Большого театра. И, слушая пересыпанный строками из басен доклад о не обесцвеченном, не стертом годами творчестве великого баснописца, Павел Петрович вдруг наклонился ко мне и тихо сказал:

— Через сколько лет, а разит! И не в бровь, а в глаз. А? Вот она, бронебойная меткость, какая у слова может быть... А ведь басня — она та же сказка, только нагляднее прицел, да и бьет скорострельно, влет! Верно ведь?

Я перебираю сегодня в памяти каждую встречу с Павлом Петровичем Бажовым, общественные поручения и писательские дела, которыми нам приходилось заниматься вместе на Урале, совместные выступления перед молодыми слушателями на вечерах, где он председательствовал, его добрую, дедовскую заботу о наших детях, эвакуированных на Урал. И снова слышу его негромкую, слегка замедленную речь, речь мудреца и кудесника, несравненного умельца и самоцветного художника. И радуюсь, что судьба давала мне возможность хоть и не часто, хоть и ненадолго, но все же не раз встречаться с этим чудесным человеком. «Дорогое имячко» его всегда звучит одним из первых в моей благодарной памяти, когда я думаю о самых лучших, самых ярких и больших людях, встречавшихся мне в жизни.

Москва



Л. СКОРИНО

УРАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

ОСЕНЬ В СВЕРДЛОВСКЕ

Горькая военная осень 1941 года, уход из Москвы 16 октября, когда к самой столице подкатились фашистские полчища — были взяты Наро-Фоминск, Можайск, Истра... Долгий путь на восток, бомбежки с воздуха, бесконечные остановки на глухих полустанках и разлуки, разлуки... Дом, брошенный позади, — вернемся ли? — близкие люди, которых разметало по военным дорогам, — свидимся ли?.. А главное — неотступная мысль: «Что с Москвой?»

И в дорожные эти тяжкие дни внезапно открылся нам Урал, с его темно-зелеными горами, холодными голубыми озерами, рослыми сосновыми лесами, с его яркими закатами, ветреным небом, где несутся неспокойные облака, — открылся во всей своей сильной, мужественной красоте. Было в уральской земле что-то бесконечно русское, родное... Но не утишавшее душу, как спокойные, чуть грустные пейзажи средней полосы России, а иное — суровое, напористое: устоим, выдержим, все одолеем...

Вспомнились сказы «Малахитовой шкатулки», прочитанные еще в Москве в такие недавние и одновременно

уже такие далекие мирные дни. Пришло ясное ощущение: сказы эти могли возникнуть только здесь, в этом могучем горном крае.

Шли недели и месяцы в эвакуации, трудные, полные забот и огорчений. Но Москва устояла, враг был разбит у самых ее стен, и это вселяло уверенность в приближении решающей победы над фашизмом. И, может, потому сказы Бажова, мужественные и добрые, полные веры в несокрушимую силу трудового человека, все больше и больше в сознании моем сливались с этим трудным и героическим временем, с надеждами и решимостью моих современников.

Встреча с Павлом Петровичем Бажовым произошла в середине 1942 года. До этого я успела уже поколесить вдоль Уральского хребта. Первое время жила в Красноуфимске, куда эвакуировался Гослитиздат, и с писательской агитбригадой во время посевной объездила почти весь район; затем попала в Кыштым — город на озерах, где в госпитале, тяжело больной, лежал мой муж. И только летом 1942 года оказалась в Свердловске.

Здесь к тому времени из хозяев города — свердловчан — и приезжих — москвичей, киевлян, ленинградцев — сложился большой дружный писательский коллектив. Численный состав его достигал немалой цифры — свыше шестидесяти человек. Находились тут Федор Гладков, Ольга Форш, Мариэтта Шагинян, Анна Караваева, Николай Ляшко, Илья Садофьев, Борис Ромашов, Виктор Финк, Агния Барто, Оксана Иваненко, Вера Звягинцева, Евгений Пермяк и последний из символистов — старик Юрий Верховский.

Во главе свердловской организации стояли Бажов и Караваева. Они-то вместе с писательской «старой гвардией» и задавали тон — боевой, рабочий, деятельный.

Одолевали Павла Петровича в эту пору неотложные хозяйственные заботы: эвакуированных писателей, их семьи надо было разместить, накормить, а часто и одеть-обуть — ведь уходили люди с обжитых мест в спешке, бросая вещи в опустевшем доме. Были здесь старики и женщины, дети, пережившие уже целый военный год, полный тревог, лишений. Семьи писательские нуждались в помощи, и П. Бажов, который и сам в эти годы

жил трудно и голодно, чувствовал себя ответственным за доверенных ему людей, за самое их существование.

Огромной заслугой Павла Петровича было то, что он вместе с Анной Караваевой упорно сплачивал писательский коллектив, не давал людям разбредаться по углам, оставаться наедине со своими личными бедами и горестями. Оттого-то их, эти беды, легче было претерпевать, что жила свердловская организация в трудном, военном 1942 году активной общественной жизнью.

Писатели разъезжали с агитационными выступлениями по всему заводскому Уралу, шефствовали над госпиталями, ремесленными училищами, работали в местных газетах и в центральной прессе, принимали участие в уборочной и посевной кампаниях. И каждый чувствовал: нет, течение жизни не прервалось, в суровых условиях военного времени продолжалось ее молчаливое, глубинное развитие. И все стремились не уступать в войне ни пяди обычного нашего советского существования, упрямо отвоевывали у нее право на творчество, на новые дела и свершения.

— Нельзя, чтобы духовная жизнь угасала, — сказал как-то Бажов на собрании, шутливо о важном. — Интеллигенция на то и создана, чтобы поддерживать огонек...

Сам Бажов принадлежал к коренной русской интеллигенции из демократических слоев, какая в старину убежденно сидела по «медвежьим углам», щедро отдавая свои знания народу, а после Октября 1917 года пошла за большевиками и подняла огромные пласты революционной работы.

Годы Павла Петровича перевалили уже за седьмой десяток, негустая борода давно побелела, а лицо покрыли глубокие морщины. Не был Бажов ни высок, ни представителен, — небольшого роста, но плечистый и крепкий, обладал он какой-то особой, благородной силой, которая не позволяла о нем сказать: «старик». И невольно о Бажове думалось как о красивом человеке. Красивым был большой, выпуклый лоб, умные, полные энергии глаза, руки, выразительные и спокойные, уверенные руки мастера, знающего свое дело. И самое главное — в каждом движении Павла Петровича, в словах и поступках проявлялась его внутренняя сущность. Бажов был

коммунист, и это все определяло в его облике: требовательно добрый к людям, человек ясных и четких убеждений, верный высоким нашим идеалам без позы, без громких слов, прочно, навсегда. Таким он раскрывался нам и в частной своей жизни и в общественной деятельности.

Именно такой человек и мог сплотить людей с различными судьбами в дружный, стойкий коллектив.

Позднее Анна Караваева хорошо сказала:

— Тут, казалось бы, по литературной традиции, этакого цветущего бодряка надо во главе организации ставить. А Павел Петрович на привычного героя совсем не походил. Немолод, и тихость его... Многословия не любил, голос негромкий, всегда незаметен он как-то оставался, а дело двигалось, и душевное тепло от него людям шло... Как огонь в доме — вот с чем сравнить хочется... Всех вокруг себя собрал...

И правда, свердловская организация была по-настоящему творческим коллективом, который не отделял себя от большой, героической жизни страны.

Незадолго до моего приезда в Свердловск состоялось здесь большое писательское собрание, в котором приняла участие и городская интеллигенция, собрание, посвященное героическому Ленинграду. В течение весенних месяцев 1942 года на Урал прибывали жители осажденного города, которых постепенно перебрасывали оттуда по ледяной дороге и самолетами. Истощенных блокадой ленинградцев немедленно направляли в больницы и санатории, где они получали усиленное питание и медицинский уход. Многих это просто-напросто спасло от смерти.

«Ленинградский вечер» был большим общественным событием. Председательствовала на нем по праву Ольга Форш. Писатели-ленинградцы рассказали о том, что пережили вместе с городом в блокадные месяцы.

Беспощадно жестокими были их простые повествования, жестокой — реальность деталей, неумолимой — простота смерти. Но сильнее всего — мужество человека.

Вечер оставил неизгладимое впечатление на всех, кто на нем присутствовал. Позднее Павел Петрович не раз

обращался в своих размышлениях к ленинградской эпопее. Он говорил нам:

— Напрасно повторяют, что русский человек терпелив. Не в этом суть дела. А в мужестве, в трезвом понимании процессов жизни. На крутых поворотах истории видишь — другого выхода нет, через огонь, через смерть пройти надо. Вот без нытья и трусости берешься за трудную задачу. Потому-то сломить наших людей зверствами нельзя. Да и силы свои ощутили за годы революции. Ленинградская блокада — это же Данте, исторический катаклизм. А человек остался человеком, и еще советским.

В писательской организации во время войны заведено было систематически встречаться для обсуждения новых произведений, напечатанных и здесь, в Свердловске, и в центральной прессе.

7 сентября 1942 года состоялось шумное собрание, обсуждали новинку — только что напечатанную в «Правде» пьесу А. Корнейчука «Фронт». Пьеса всех задела за живое. Разговоров вокруг нее было много. Одни ею восхищались за остроту, за смелость критики, другие отрицали начисто, утверждая, что это голая публицистика.

На собрание пришло много народа. И, конечно, снова разгорелись споры. Самым интересным было выступление Мариэтты Шагинян. Она в это время работала над книгой очерков «Урал в обороне» и много ездила по заводам и колхозам горного края, изучая жизнь тыла.

Маленькая, очень крепкая, этакий сбитень, невероятно энергичная, в сапожках и каком-то «авиаторском» кожаном шлеме на голове, «Мариэтта» — так все ее называли за глаза — была самым подвижным и увлекающимся человеком среди писателей. Ее интерес к жизни невольно заражал окружающих, несмотря на все крайности суждений, в какие она неизменно впадала.

М. Шагинян сразу начала разговор с главного — с сопоставления пьесы с жизнью. И, как всегда, немедля же пошла в атаку:

— Есть кое у кого эстетский подход к «Фронту» Корнейчука. Говорят даже, что пьеса не удалась. Это неправильное отношение к произведению талантливого драматурга. «Фронт» — огромное событие в моей про-

фессиональной жизни. Мы должны писать честно, а это значит — смело выйти на большую дорогу нашей жизни, философски, социально, исторически понять происходящее... Только тогда и стоит читать наши произведения. Корнейчук посмел пробить стену молчания, заставить зазвучать общий голос народа.

В пьесе изображен человек, казалось бы, положительный, прошедший гражданскую войну, храбрый, отдающий сына фронту без колебаний. Положительный? Но Корнейчук обнажил его... В образе Горлова даны собирательные черты... Горлов за двадцать пять лет многое растерял, ничего не нажил. Такой Горлов вреден...

Как нам, нам, тыловикам, в своей работе идти вслед за таким широким откликом, который сделал Корнейчук? Но тыловая тема стоит не менее остро, чем фронтовая. Каждый из нас не должен здесь дожидаться Корнейчука. Мы должны выражать передовое движение в тылу. Я объездила почти весь Урал. Побывала на стройках, на заводах. Я видела героизм, самоотверженность, но есть... и то, что ударил Корнейчук в своей пьесе «Фронт». И здесь, в тылу, вырисовывается фигура человека, кичащегося доблестным прошлым. А можно гордиться сейчас только одним — правильной организацией тыла. Работать старыми методами — значит идти к поражению... Я об этом буду писать, кричать буду...

Павел Петрович на обсуждение пьесы пришел с запозданием, очень усталый, его задержали где-то в городских организациях бытовые дела Союза писателей. Он захватил лишь последние выступления, прослушал Мариэтту Шагинян, но сам не выступал.

После собрания довольно шумной толпой пошли провожать Павла Петровича, хотя он и пытался потихоньку ускользнуть, — ведь устал за день, и не до разговоров ему было. А нам еще хотелось договорить, доспорить... Теперь уже разбирали художественные достоинства пьесы. Павел Петрович шел обычным своим быстрым шагом, но на лице резко обозначались морщины, исчез смешливый огонек в глазах. Слушал нас П. Бажов молча, в разговор не вступал.

Рывками, по-уральски, дул сильный ветер, подтал-

кивал в спины, завихрялся у крыш, на перекрестках. Стемнело. Улица Ленина широкой полосой уходила вперед, загорались огни в окнах, и нам, «приезжим», путникам в дороге, невольно виделись родные города, погруженные во мрак затемнения. Павел Петрович, искоса взглянув на меня, словно понял эти невысказанные мысли и мою грустную зависть. Он заговорил, как бы размышляя вслух, о Мариэтте Сергеевне и ее выступлении, а по сути — о писательском труде:

— А ведь права Шагинян... Не без перехлеста у нее, конечно, но права... В том, что мы пишем, частенько главного-то и не хватает: фонарики слабенькие подвешены, очень не высоконько, и освещают пустоту.

Пишут вот о производстве. День поработают на заводе, два, — несерьезно это. Очерки потом читать обидно. Я съездил к Янкину, просидел недельку. Посмотрел его в шахте, в бане, дома. Написал очерк, не достойный ни человека, ни темы. Надо найти типичное в Янкиных. Я должен был найти нечто такое, от чего люди захотели бы стать Янкиными. Фонарик оказался слаб. А то рассказал, что два перфоратора вместо одного — вроде фокуса. А в самом-то деле тут величайшая закономерность. Философски все надо осмыслить. Получилась же пустота, образ висит в воздухе.

У Шагинян высоко горящий фонарик. Из всех нас она наиболее важное дело делает. Философски осмыслить свое время стремится... А это ценно...

Мы подошли к пруду, находящемуся в центре города, старинному, еще екатеринбургских времен. Пруд темным зеркалом лежал в окаймлении уличных огней. В дальнем краю виднелась узкая светлая полоска, оставшаяся от бурного, ветреного уральского заката. Павел Петрович здесь решительно распрощался, свернул в какую-то улочку и словно растворился во внезапно надвинувшейся осенней темноте.

Мы еще долго стояли у балюстрады, смотрели на молчаливый пруд, в котором темнота обрела и плотность и глубину. Где-то вдалеке глухо отбивали часы. Казалось, пробуждается к жизни старый горнозаводский Екатеринбург...

„ТАЙНЫЕ СКАЗЫ“ ГОРНОРУДНОГО КРАЯ

Павел Петрович, хотя, как коренной уралец, человек отнюдь не говорливый, всегда был очень интересен в беседе — богатством жизненных наблюдений, тонкими и неожиданными замечаниями о людях и событиях, своими размышлениями об искусстве. Скажет мало, а думать заставляет много.

Речь у Бажова по-народному живописная, афористичная, всегда пересыпана примерами, выхваченными из жизни. А преподносились они не без лукавства: ну-ка, сумеет ли слушающий сделать верный вывод? Ведь русский человек любит испытать собеседника.

Скажу прямо: совершила я сразу же стратегическую ошибку — рассказала П. Бажову о том, что задумала написать о нем книгу, — и потом про себя частенько жалела, что рано открылась. Павел Петрович поначалу даже было замкнулся, стал говорить скупее, сдержаннее, старательно обходя себя в своих рассказах об Урале. Русский интеллигент старой закалки, он считал недопустимым как-либо влиять на меня, своего будущего биографа. А между тем ему по душе пришлась идея книги, где речь пошла бы об Урале, о его истории, о его людях. И хотя Павел Петрович сам был типичным человеком горнозаводского края, но вот себя-то он и исключал из своих рассказов. Пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать материалы по его биографии, выходящие за пределы анкеты. Зато о горняцком Урале — старом и новом — рассказывал Бажов охотно и с любовью.

Как-то в конце рабочего дня, когда уже затихал шумный Дом печати — здесь помещались и газета «Уральский рабочий», и местное издательство, и типография, и отделение Союза писателей, — осенью 1942 года, начались мои беседы с Павлом Петровичем. Беседы об Урале, о «тайных сказах» горнорудного края, об уральских мастерах.

Мы находили в издательстве пустую комнату. Я усаживала Павла Петровича на почетное место — за редакторский стол, не без хитрости, отрезая своему «герою» путь к бегству, сама примащивалась с краю, раскłady-

вала бумаги... Павел Петрович смотрел на эти приготовления сквозь дымок самокрутки, про себя посмеивался, но вместе с тем и одобрял: серьезно, видать, задумано, рабочая хватка есть...

А чтобы я не взялась за дело с налету, без достаточной подготовки, — очень этого не любил Бажов, — он деликатно, как это ему вообще было присуще, время от времени советовал мне познакомиться с необходимыми материалами. Так, назвал он «Горный журнал», который выходил в XIX веке, «Исторический и географический словарь» Чупина, «Летописи» Василия Вячеславовича Шишонко и многое другое.

Первая беседа началась с вопроса:

— Как возник замысел «Малахитовой шкатулки»?

На это Павел Петрович отвечал охотно:

— В тысяча девятьсот тридцать четвертом году, — рассказывал он, — Свердловское издательство затеяло выпустить сборник дооктябрьского фольклора на Урале. И у них оказалось, что рабочего-то фольклора нет. Меня возмутило это. Записанного нет, но в памяти, в головах... На Урале по-северному не умеют рассказывать, народ-то по всему складу своему другой, но к нему надо прислушаться.

И по-иному записи вести следует... Мы чаще всего привычное ищем. А тут приходится по крупицам собирать — кусочки преданий, черточки, детали. Надо различать и говорить о фольклоре *устоявшемся* и *творимом*.

Уральский фольклор не имел законченной формы, сохранялся чаще всего в виде рабочих семейных преданий.

Кладоискательские «тайные сказы» были старательскими. Богатство скрыто в земле. Как же к нему добраться? Находка драгоценного металла или камня и есть клад. Как открыть его тайну, как найти? Возникала легенда о страшилищах, которые дорогу к кладам преграждают, стерегут земные богатства.

А бывало и так — где-нибудь объявится «Аликаев камень». Пойдут догадки: почему он так назван? Видно, связано это с каким-то Аликаем. Кто он? Что тут произошло, у этого камня, чье имя к нему прилепилось?

Или вот в Алапаевске есть камень Мигунчик, а в Верхотурье — Кликун-камень. Плоская возвышенность отдает звук. И всяк по-своему это объясняет. Один выдумает, другой добавит, получается цельная картина. Объяснения могут быть разными. Но при расспросах неизбежно начнется и совпадение ответов, рассказчики сходятся, возникает завязь предания. А в основе — стремление объяснить непонятные явления природы, восстановить забытые страницы истории.

Возникали семейные предания о мастерах. Опытный медеплавильщик становился персонажем легендарным — ведь от него, от его работы, зависела оплата других профессий. На Урале рабочие особые. Здесь не было кустарного разделения труда. Труд концентрировался вокруг печи. Она объединяла углежогов, плавильщиков металла, возчиков и т. д. От умелой работы мастера у печи зависел заработок всех остальных. Опытный рабочий, реальный человек, приобретал после смерти, а то и при жизни черты легендарные.

У меня еще не записано ни одного факта о доменщиках. А о них прямо на глазах создается легенда. О каком-нибудь Василии Ивановиче тебе рассказывают: «Дело он знал тонко. Запьет, сидит дома. Что делать, без него работа не ладится, бегут за ним. А он выглянет в окно, посмотрит на дым и полный рецепт скажет: «Два короба песку да смеси столько-то, угля ли там, еще чего...» И все правильно. По дыму определял».

В подобных преданиях сохранялось восхищение перед тонкостью ремесленных навыков.

А вот задумайтесь хотя бы: «мороженое железо» в Невьянске — одних чеканок тридцать сортов. Был, скажем, жильник, а тут появился прожильник, какого не было. Сложное мастерство. Смотреть, не зная дела, — увидишь простой, непритязательный узор «серёдыш». Но, чтобы подобрать его, надо тонко знать состав чеканок.

В каждом ремесле своя особинка имеется.

Екатеринбургская грань была ведь кем-то придумана. А ведь мастера были связаны традиционными образцами византийской и немецкой грани. Нашелся же смелый человек, по-своему сделал, пошел своим, особым

путем. Вот таких мастеров рабочее предание и превращает в легендарные существа.

И Павел Петрович заключил советом: если хочешь понять уральские сказы, нужно изучить историю края. Вместе с уральскими горнозаводскими людьми следует разбираться в тонкостях их дела. А для этого нелишне поездить и понаблюдать, как они трудятся и как живут. Понимать надо их мастерство, в деталях его изучить.

— В тридцать два года я женился, а до этого двенадцать лет ничем не был связан, много ездил. Каждое лето, во время вакаций, «шарашился» по Уралу. Ездил и на юг года два-три. Побывал на Кавказе, Украине. Сознаюсь — не понравилось. Красив Урал и дороже других мест. Одни горные озера изумительной красоты чего стоят! Ездил я, рыбачил, охотился. Смотрел, как люди живут.

Тут я опять поторопилась, напрямик задала вопрос:

— Что же такое сказы «Малахитовой шкатулки» — обработка или оригинальное творчество?

Бажов помолчал. Он не торопился определять свое место в литературе. Сказы «Малахитовой шкатулки» всеми корнями уходили в уральскую почву. Быт, психология, устное творчество горнозаводского рабочего — такова их основа. И художнику казалось, что, назвав свои сказы литературой, он отрывается от этой жизненной почвы. А вместе с тем т а к и х сказов в народе не существовало, они были созданы им самим. Сложность этого сплава реального и поэтического начал остро ощущалась писателем. Как объяснить это, да и надо ли объяснять — он еще колебался. Проще попросту назвать — уральские сказы. Так ведь оно и есть — уральские...

Павел Петрович ответил уклончиво:

— Записей сказов не было. Записывал в молодости уральские побаски. В «Малахитовой шкатулке» собралось то, что слыхал в детстве от стариков. Наиболее яркое сохранилось в памяти.

— Кто же такой дедушка Слышко? — спросила я Павла Петровича, хотя хорошо знала, что это прозвище реально существовавшего старого горнорабочего, старателя Василия Александровича Хмелинина.

— Это фигура реальная, типическая и символическая, — ответил Павел Петрович. — Немало таких стариков встречалось. Проработал двадцать пять лет у печи, изробился. А заводовладелец обязан всему заводскому населению дать «пропитал». Вот и определяли таких старых прокатчиков, горняков в лесообъездчики, в лесную сторожку, сторожем железных и прочих магазинов. Такой дедко Слышко — это знающий, видавший виды человек. Теперь у него есть досуг. Строгает лучину, плетет лапти, попутно выполняет легкую заводскую должность. Живет, как правило, не только на природе, но и обязательно среди людей: все слышит и все видит, обо всем думает, осмысляет. Это довольно распространенный тип на заводе. Всегда такой дедушка Слышко знает что-нибудь занятное, может порассказать о старине.

— Какие сказы услышаны вами у дедушки Слышко? — спросила я осторожно. — Ведь в «Малахитовой шкатулке» сказы разных типов.

— Он рассказывал старательские сказы, — ответил Павел Петрович, — сказов о камнерезах Хмелинин не знал.

А ведь лучшие сказы «Малахитовой шкатулки» — это как раз сказы о камнерезах! Мне только это и хотелось знать...

— Что из вашей книги можно прямо отнести к «тайным сказам»?

Тут Павел Петрович уже почувствовал направленность моих вопросов и, хотя и поколебавшись, правдиво назвал мне «Дорогое имячко», «Приказчиковы подошвы», охарактеризовав этот сказ как заводскую сатиру...

— Ну, и «Хозяйка Медной горы»... — добавил он.

— Но не в таком же точно виде?

Он нехотя согласился:

— Не в таком...

— А кто такие «стары люди», которые упоминаются в вашем сказе «Дорогое имячко»?

— Это первонасельники, те, кто жил до башкиро-русской колонизации края. По найденным остаткам это могли быть манси и хантэ до их разделения.

— Откуда возникли образы девки Азовки и Полоза?

— О девке Азовке рассказывают по всему Уралу. Старица — в Тагиле, Горная матка, а то и Горный старик. Это хранители земных недр. Образ этот имеет в фольклоре признаки чаще звукового характера, чем зрительного. Подвывания Азовки передают рудничные звуки — завывания, поддувания и прочее.

— А Полоз?

— Упоминания о Полозе имеются у Сабанеева в книге «Горные озера Урала». Сабанеев считает, что Полоз существует. Писали о Полозе и позднее, в «Уральском рабочем» за тысяча девятьсот двадцать седьмой — двадцать восьмой год.

— Откуда взялся сказочный образ Огненные уши?

— Образ кошки возник в горных сказках опять-таки в связи с природными явлениями. Сернистый огонек появляется там, где выходит сернистый газ. Он походит на болотный огонек. Но тот стоит свечкой, прямой, тонкий. А сернистый огонек имеет широкое основание и потому напоминает ушко.

В беседах и в письмах Павел Петрович потом не раз возвращался к вопросу о фольклорных истоках своих сказов, придавая им, этим истокам, огромное значение. Позднее он уже не скрывал того, что «Малахитовая шкатулка» — явление литературы, а отнюдь не запись и не обработка сказов. К обработкам он относился отрицательно. Именно поэтому он неодобрительно отзывался о книге «Тайные сказы Урала». Делал одну лишь оговорку:

— Включили туда нетронутыми «гранильные сказы». Это подлинные записи. Они выходили отдельно в тысяча девятьсот тридцать седьмом или тридцать восьмом году. Имеют автора-собирателя. Это единственные в книге подлинно рабочие сказы, записанные в точных выражениях.

В комсомольской свердловской газете «На смену» в тысяча девятьсот сороковом или в начале сорок первого года тоже печатались рабочие сказы. Молодой поэт Тельканов занялся их собиранием, но в другой манере,

чем я. Опубликовал он двенадцать коротеньких сказов — просто записал, что рассказывают старики. Побывал Телькaнов на Березовском руднике, куда меня давно тянет. Говорил со снохой мастера Кондратия Зверева. Очень интересно. Это то сырье, из которого можно любой сказ делать.

Позднее, уже весной 1943 года, 23 марта, когда мне снова удалось захватить Павла Петровича в свободную минуту, я спросила его, как зарождается замысел сказа. Он, лукаво прищурившись, ответил:

—Да ведь я пишу по готовому материалу. Записываю сказы...

Я думала уже отступиться, больше не расспрашивать, как вдруг Павел Петрович рассказал, как будто совсем о другом:

— Ездил на Березовский завод. Были интересные встречи иного порядка, но не сказовые. И вот осталась от этой поездки заноза. Это старейший уральский золотой рудник. А кладоискательские фантастические рассказы не собраны. Надо бы тут посидеть, пожить, поговорить с дедушкой Слышко, в штанах или юбке — все равно. Доворошить до настоящего материала.

Вот родилось здесь слово «шевелит». Не понимаете? Запишите — «шиилитовая руда». Березовский рудник перешевеливается до основания. Что валилось в отвалы как ненужное, теперь оказалось ценнейшим материалом.

Помолчал и снова лукаво добавил:

— Теперь еще надо дедушку Слышко найти...

„СВОЕГЛАЗНОЕ ЗНАНИЕ"

В среду, последнюю среду сентября, — а она пришлась на 30-е число, — состоялось обсуждение новой книги Анны Караваевой — «Богатыри уральской стали», которую писательница заканчивала осенью 1942 года.

Собрались на этот раз в Доме партпросвещения — красивом двухэтажном особнячке, где решено было отныне проводить всю клубную работу Союза писателей.

А деловая издательская жизнь продолжала кипеть в Доме печати.

Уютный небольшой зал быстро заполнился. Всех тянуло на люди, туда, где думали о литературе, жили ею.

Анна Караваева пришла на собрание запыхавшись, румяная от осеннего ветра, — ей пришлось пешком возвращаться с Уралмаша.

— Туда уехала, а оттуда нет трамвая...

Жила она, как и все в эти дни, трудно; с нею в эвакуации была большая семья — дочери и старики. Однако Караваева, этакая большая, цветущая женщина, из тех, кого в старину называли «вальяжными», всегда была бодрой, живой и неизменно доброжелательной к окружающим. Общественные обязанности несла охотно, выполняла их дельно, с хорошей практической сметкой. Творчески она, как и Мариэтта Шагинян, работала много. В центральной прессе постоянно появлялись ее очерки о жизни оборонного тыла. Повести о сталеварах возникли в результате корреспондентской работы по заданиям «Правды».

Читала Караваева из новой книги лишь фрагменты — «Огни» и «Семья». Отрывки оказались объединены не очень-то выигрышно, явно наспех, — цельного впечатления не получалось. Однако в каждом куске был заключен такой подлинно жизненный, горячий материал, словно спешно вытащили раскаленную заготовку, которая еще ждет обработки, но уже чувствуешь силу этого куска металла, предугадываешь его будущую жизнь.

Обсуждение, как обычно, было бурным. Спорили и с автором и друг с другом. Павел Петрович сидел в сторонке, помалкивал, до поры не вмешиваясь в ход дискуссии, хотя выступавшие частенько со своими речами обращались именно к нему, как бы ища поддержки, а не к Анне Караваевой, которая с разгоревшимся лицом, обмахиваясь собственной рукописью, внимательно слушала критические замечания. Но если одни из них были справедливы, то другие принять автор не соглашался. Некоторые из выступавших сочли недочетом повестей то, что уральские сталевары предстают людь-

ми интеллектуальными, «слишком образованно говорят».

— Мне представляется, — сказал один из выступавших литературоведов, знаток древней русской литературы, — что действующие лица, Олейников, например, поданы иконописно, положительные герои без сучка и задоринки. В стиле восемнадцатого века... Правы те, кто отмечали книжность и литературность языка Олейникова. Он говорит языком интеллигента, — длинная монологическая фраза, которая ему не к лицу.

Анна Александровна не удержалась, бросила реплику:

— Эти повести не выдумка, это куски авторского дневника.

Разговор стал общим, не официальное обсуждение с регламентом и ораторами, а живая беседа, когда один говорит, другой возражает, вступают новые голоса, когда предмет спора всех горячо затрагивает: как же оно в жизни, каков сегодняшний человек?

— Вы меня упрекнули в иконописности, — волнуясь, говорила А. Караваева. — А герои книги не исключение. Это люди типичные, лицо нашего рабочего класса. Я сама хотела найти человеческую требушинку, но мои сталевары живут невероятно строгой жизнью. Я ведь все же показала и свет и тени... Тимофей Олейников нетерпелив, ушел с завода, не доучился. Потом вернулся...

Олейников горяч. Но он беспощадно боролся с «безгрешными минутами» — его словечко, с «давайте, ребята, перекурим», с косностью старых рабочих.

Видела я подлинное и сквозь хвастовство Олейникова и сквозь его нетерпение и восторги. Олейников кует трудные детали. А в применении к труду любит слова «художественно», «художник». Что такое «художественное» в его понимании? Быстрота, верность и смелость. На заводе приходится быть смелым. Без этого стахановца не получится.

В поддержку героев Караваевой выступил Николай Ляшко.

— Как члена «Кузницы», старого металлиста, — заявил задиристый Ляшко, — меня привело в восторг, что Анна Александровна без всякой сермяжности пишет о

рабочих. Святой человек Ван-Гог протестовал против забвения людей труда. Сильные картины можно создать, если знаешь и уважаешь своих героев, любишь их труд.

Все ждали, что скажет Павел Петрович, человек, знавший и старый и новый Урал, многие десятилетия, как журналист и газетчик, как партийный работник, наблюдавший изменения в жизни этого края. Бажов не торопился выступать, посасывая трубочку, слушал и, казалось, думал что-то свое. Но и он взял слово.

— Частенько норовим мы жизнь по старинке видеть. Душа-то у старого Урала новая, и люди меняются. Анна Александровна хочет в них вглядеться, — и правильно, надо. Тут и перебор известный может получиться, но верно главное: свежий взгляд, непредубежденный, так, чтобы привычное не заслоняло жизни.

Автор большую задачу решает, — значит, большой с него и спрос. Много профессий в повестях Анны Александровны — токари, лекальщики, сталевары. Специфику каждого надо охватить. В вагоне — главка «Огни» — писательница как у себя дома, здесь свет и тени. А вот у кузнеца есть точечки неизученные... А ведь только подлинно жизненная деталь делает повествование достоверным. В этом у автора есть просчет...

Не только на обсуждении повестей А. Караваевой Бажов касался вопроса о роли детали в искусстве, но и во время многих других выступлений на писательских собраниях и просто в беседах с нами.

Забегая вперед, скажу, что как-то в ноябре 1942 года, на очередной писательской встрече в этом же зале Дома партпросвещения, слушали мой доклад о современной новелле. Речь зашла о художественной функции детали; я довольно полемически доказывала, что в предвоенной новелле деталь начала вытеснять характер. Павел Петрович, по своему обыкновению, молча слушал разгоревшиеся споры, а затем сказал докладчику:

— А как же с Чеховым быть? У него — возьмите почти любой рассказ — найдете их множество: художник исключительно детали выписывает, а о характере,

казалось бы, и не заботится. Например, гвардейский поручик покупает ноты. Вот и все, сценка... Груда деталей, а за ними раскрывается характер. Очевидно, все дело в умении пользоваться деталью при создании образа. Как думаете?

Жизненной точности деталей, глубинной, а не чисто эстетской, поверхностной, Бажов придавал огромнейшее значение. У меня сохранилась записка, которую Павел Петрович написал в связи с запросом Гослитиздата о возможности повторить иллюстрации первого московского издания «Малахитовой шкатулки». П. Бажов подверг критике эти рисунки именно с точки зрения реальности деталей. Он писал:

«Людмила Ивановна,

тут еще завпроизводств[енным] отделом Гослита просил вложить иллюстрации московского издания, которые, на мой взгляд, наиболее удались.

Считаю такими, кроме фронтисписа, иллюстрации к сказам: «Золотой волос», «Огневушка-поскакушка», «Ключ-камень», «Малахитовая шкатулка», «Сочневы камешки».

Иллюстрация к «Хозяйке горы» прекрасна, но требует иной трактовки приказчика. Он не охотнорядец, зазывающий покупателей, а полноправный заместитель владельца, дворянин, б[ывший] офицер гвардии. И он зарастает с ног, а не погружается в тину.

В иллюстрации к сказу «Кошачьи уши», мне кажется, надо по-иному дать руку с топором: готовясь к обороне, топор держат ближе к концу топорища.

П. Бажов.

Остальные иллюстрации мне меньше нравятся.

«Хозяйка горы» вышла страшнее, а не привлекательнее, пара в сказе «Синюшкин колодец» слишком пейзажиста, в «Серебряном копытце» дан домашний козел, а не разновидность серны.

П. Б.»

В этой записке Бажов осудил одну из деталей за неверность социальной характеристики — художник спу-

тал купеческого приказчика с горнозаводским управителем; другую отбросил за бытовую ее неточность, за незнание того, как держат топор при защите от нападения, и, наконец, третью — за путаницу, так сказать, зоологическую, за то, что серну в рисунке легкомысленно домашним козлом подменили.

Требовательность Павла Петровича к художественной детали была велика и непреклонна. Никому, ни «старшим», ни «молодым», не прощал он незнания или небрежности, легкого, поверхностного обращения с деталью. Добивался он от каждого причастного к литературе поистине богатырского труда, чтобы потом не обнаруживались в произведении «точечки неизученные». И еще одно любимое выражение было у П. Бажова — «своеглазное знание».

Как-то в разговоре сказал он:

— Главное — своеглазное знание, прошлого ли, настоящего... Помните, у меня в очерке «На старом руднике» случай с «мраморным домом», который на поверку старой хибарой оказался? Это очень важно для всего моего творчества. Или разговоры, слышанные в детстве, о Медной горе и первая с нею встреча в реальности: противоречие между тем, что увидел и как себе представлял. Часто ведь в жизни это не совпадает... Вот и нужно своеглазное знание...

И, как бы отвечая на какие-то глубинные свои мысли, Павел Петрович заметил:

— За жизнью теперь скачи — не угонишься. Изменения во всем — в истории, в быту, в сознании. Новому человеку не доверяют, сомневаются, а он уже существует. Не изучено явление — легче сказать, что ничего не изменилось. Но мне за эту работу поздно браться. Старый быт уральский у меня перед глазами. Вот и нерентабельно на новое переключаться. В шестьдесят лет с лишком еще не исчерпал старые запасы.

Когда пишешь о том, что не до корня изучил, — походишь на десятки других писателей. Лучше ли, похуже ли, но в том же ряду. А в старом материале я — хозяин. Я все это имел возможность видеть, изучать. В этом и мое преимущество, но и моя обязанность. Я должен обо всем, что видел, изучил, рассказать.

„ГОВОРИТ УРАЛ!"

Летом 1942 года в писательской организации возникла идея издать к 25-й годовщине Октября юбилейный литературно-художественный сборник. В его редколлегию вошли П. Бажов, А. Караваева, К. Мурзиди, К. Рождественская — от Свердловского издательства — и я. Редактором и составителем сборника меня назначили 10 августа. Материалы для него надо было еще заказывать, организовывать — времени оставалось в обрез. В местном издательстве раздавались скептические голоса; говорили о том, что дело неминуемо провалится, что сроки не реальны, что у «приезжих» «чемоданные настроения», а «местных» «не раскачаешь»... и т. д., и т. п. Но все эти мрачные предвещания не оправдались. Писатели дружно и энергично взялись за дело. И когда ровно через месяц, 10 сентября, нас с Караваевой вызвали в обком, проверить, как идет подготовка сборника (кто-то из издательских «скептиков», страхуя себя, нарисовал в обкоме пессимистическую картину полного провала), мы смогли выложить на стол реальные рукописи — они уже начали поступать.

Секретарем Свердловского обкома по агитации и пропаганде был в этот период М. М. Розенталь, возглавлявший до войны журнал «Литературный критик». Затея со сборником была ему и самому дорога, она как бы переносила в атмосферу еще довоенного московского журнального мира. И М. М. Розенталь и Анна Караваева, бывшая долгие годы главным редактором журнала «Молодая гвардия», понимали, что выпустить сборник хотя и трудно, но можно. Они оба встали на сторону оптимистов. Решение совещания гласило: «Сборнику быть!» Скептики оказались посрамлены. Вскоре вместо запланированных двадцати авторских листов в руках редколлегии оказалось вдвое больше материалов. Мы могли отбирать лучшее, отсеивать слабое.

Бажов оказался душой всего дела. Он никогда прямо не вмешивался в работу по сборнику, не ограничивал ничьей инициативы, не указывал и ничего не требовал. Но все время как-то очень явственно ощущалась его поддержка; в нужную минуту подсказывал он правиль-

ное решение или предостерегал от опрометчивых действий. И делал это незаметно, на ходу, бросив две-три фразы, смягчив их шуткой или заострив лукавой подковыркой.

К Павлу Петровичу хотелось пойти и посоветоваться, подумать вслух над новыми именами или новыми разделами, высказать свои сомнения или взвихриться в планах и проектах. Ему можно было рассказать все начистоту, как оно есть в самом деле, худо ли, хорошо ли, не дипломатничая, не осторожничая. Доверие к нему рождалось само собой...

Напряженная работа над юбилейным сборником для меня совпала с устройством бытовых дел. Муж мой, писатель Важдаев, находившийся в школе лейтенантов в Кыштыме, тяжело заболел, был «комиссован», то есть снят с военного учета. Операцию буквально в последнюю минуту сделал ему замечательный кыштымский хирург Степан Дементьевич Нарбутовских. Теперь Важдаев поправлялся, его даже собирались выписать из госпиталя, а это означало, что нужны будут крыша над головой, теплая одежда и питание...

Моя мать оставалась в Красноуфимске, где еще находился Гослитиздат; ее надо было забрать оттуда, но куда? Я жила прямо в издательстве, спала ночью на том столе, на котором работала.

Город был переполнен эвакуированными с Украины, из Москвы и Ленинграда, вселиться куда-либо по ордеру было уже почти невозможно. Дело усложнялось и тем, что обратиться за помощью к П. П. Бажову было неловко, и это я оставляла на самый крайний случай. Так возникла мысль при поддержке издательства организовать общежитие в Доме печати, где было много пустующих комнат. В огромном помещении «клуба рабкоров», на четвертом этаже, уже разместилось одно общежитие — здесь жили рабочие московской Первой Образцовой типографии вместе со своими семьями. Общежитие походило на огромный табор. Семьи отделялись здесь друг от друга условно — столом, шкафом, простыней. Считалось, что эти четыре стула, служащие кроватью, — квартира одной семьи, а те — другой. Жили, однако, дружно. Из общежития ни-

кто не захотел уезжать, когда уже в 1943-м попробовали их расселять, — начался отлив эвакуированных из Свердловска, и рабочим предлагали квартиры в городе. Но они решительно отказались покинуть «клуб рабкоров» и так и прожили в нем сплоченным коллективом вплоть до возвращения в Москву.

Наше общежитие, которое в шутку называли «колхоз «Бедлам» или «колхоз «Бедность не порок», было маленьким. Входили в него моя семья, огизовская корректорша и заведующая производством Первой Образцовой Е. А. Фильцер с десятилетним сынишкой Славиком. Вскоре, однако, «колхоз» стал штаб-квартирой всей работы по сборнику «Говорит Урал!» Двери сюда не закрывались — утром и вечером шли авторы. Здесь заказывались и отвергались материалы, обсуждались и редактировались принятые произведения. Сюда люди тянулись и по делу и на огонек. Дом печати худо-бедно, но отапливался, в «колхозе» всегда было сравнительно тепло, непрерывно горел электрический свет. Его не выключали — ведь в нижнем этаже работали ротационные машины и линотипы. А раз был свет, была и горячая вода, которой щедро угощали посетителей «колхоза». Более того: тут подавали великолепное блюдо — салат из мелко нашинкованной сырой капусты, тертой с солью. Союз писателей организованно закупил в сельском районе вагон овощей. «Колхоз «Бедлам» участвовал в его разгрузке, и все сделали солидные заготовки — картошка и капуста горою были свалены в одном из углов нашего общежития. И немало народу заглядывало к нам в надежде полакомиться капустным салатом, а то и просто капустными листками — ведь все страдали от отсутствия витаминов. А в «колхозе» не скряжничали и делились всем, что имели сами.

Частым гостем был в «колхозе» Павел Петрович. Заходил он ненадолго, всегда по делу. И каждое его посещение давало новый толчок сборнику: то Бажов подсказывал автора, которого забыли, а его следует привлечь, то советовал, как подправить рукопись, — читал же он все отобранные нами материалы, то кратко одобрял планы составителя или, наоборот, обстоятельно их критиковал и отвергал.

Как всегда, во всяком коллективном начинании, не обходилось без столкновения мнений, без крайностей и невыполнимых затей. «Пуристы» предложили, например, составить сборник только из произведений писателей «с именем». При этом от участия в нем оказались бы отстраненными многие местные авторы, которые, не имея всесоюзной известности, легко попали бы в категорию «недоклассиков», как шутил Евгений Пермяк. Это повело бы к расколу в организации, редколлегия превратилась бы в литературное судилище. Павел Петрович по этому поводу сказал:

— Отбирать надо просто: написал хорошо — напечатали. А остальное предоставим потомкам...

Каждый раз, как возникал новый величественный и неосуществимый проект немыслимо прекрасного сборника, Павел Петрович очень спокойно из области воздушных замков переводил все на реальную почву. Но если в замысле было хоть какое-либо рациональное зерно, Бажов уже не отступался и поддержка его была обеспечена.

Задумано было книгой «Говорит Урал!» рассказать фронту о том, как живет тыл в тяжкие дни военной страды.

— Факты, конкретность сегодняшнего быта — лучшая наша агитация, — сказал Бажов.

— Пусть знают, — пылко воскликнула Анна Караваева, — что мы вместе! Все делим — трудности, мысли, чувства... Тем, кто на линии огня, кто занят страшной, кровавой работой, важно знать, что жизнь не остановилась в тылу.

И эту задачу писательский коллектив с честью выполнил. Мариэтта Шагинян и Анна Караваева выступили с очерками о людях Урала. Федор Гладков дал в сборник небольшую повесть о донорах. Нина Попова рассказала о простой житейской стойкости наших женщин в тяжкие военные дни. Николай Ляшко написал о детях, берущихся за взрослые дела. Свердловчанин Борис Рябинин — о домашней хозяйке, о том, как в годину войны пришла она на завод и стала к станку.

Бажов дал в сборник новый сказ — «Железковы покрышки». Остряки шутили потом, когда уже вышел

«Говорит Урал!»: потомки все вырежут, останется лист-полтора — и то одни железковы покрышки.

Немало в книге «Говорит Урал!» было стихов. Илья Садофьев и Константин Мурзиди, Агния Барто и Людмила Татьяничева, Юрий Верховский и Белла Дижур и многие другие поэты — уральцы и «приезжие» — каждый по-своему, в своей творческой манере, выражали общее страстное ожидание победы, рассказывали о боли, жившей во всех сердцах, о глубокой любви к страдающей родине.

Произведения нашего сборника, написанные в разных жанрах, разными людьми, с разной степенью художественности, отразили, однако, все вместе дух времени и живые его черты — в быту, в характерах людей. С обложки книги на зрителя повернулось и глядело жерло мощной пушки, овеянной красным флагом, готовой к наступлению. Этот рисунок художника В. Таубера хорошо выражал единое настроение, лейтмотив сборника.

«Говорит Урал!» собрали и отредактировали к середине октября 1942 года. До праздников оставалось дней семнадцать, но работники Первой Образцовой типографии пообещали выпустить книгу молнией.

И вот 6 ноября 1942 года «Говорит Урал!» вышел в свет. На столе издательства лежала большая, толстая книга, еще хранившая тепло рабочих рук, еще пахнувшая типографской краской. Просто книга — в обычное, далекое мирное время, а сейчас почти чудо — настоящая книга. Ведь с начала войны выходили лишь тоненькие брошюрки, и печатали их на грубой газетной бумаге. А тут книга, и хорошо оформленная, даже с иллюстрациями: в последнюю минуту нашлись у Свердлгиза отпечатанные до войны красочные уральские пейзажи, предназначавшиеся для какого-то другого издания.

Поглядеть на «Говорит Урал!» забегали самые разные люди — не только из Союза писателей, авторы или «болельщики», нет, приходили из типографии, из корректорской, из редакции «Уральского рабочего», из чужих издательств (их много было в эвакуации), приходили курьеры и уборщицы Дома печати. Всем хотелось подержать книгу в руках, полистать ее. Говорились

обычные, незначительные слова, не похвала, а констатация факта: «Вышла наконец», «Сделали все-таки», «Какая большая! Есть что почитать...» Но за всем этим возникала одна и та же невысказанная мысль: «Значит, жизнь налаживается!»

Пришел Павел Петрович, постоял, посмотрел, как люди держат в руках наш «Говорит Урал!», молча ушел. В шумной толчее, царившей в маленькой издательской комнате, никто, по сути, не заметил ни появления, ни ухода Бажова. Но запомнилось его лицо — задумчивое и усталое, на котором еще не ослабло душевное напряжение, лицо старого рабочего, только лишь закончившего свое трудное дело и стоящего у печи или у станка, вытирая руки «концами».

Прибежала Мариэтта Шагинян. Осудила оформление, — теперь у нее уже разыгрался аппетит, — уверяла, что могло быть лучше. Мешая критику с одобрением, говорила:

— Весь сборник отражает большую любовь к Уралу. Хороший, добротный... Не понравился мне только рассказ «Малкино счастье». Я бы с автором по душам поговорила, и он бы согласился. Основа архизаезженная — донорство. Плохо, что стихотворный отдел — барабанный. Лирического ничего нет. А ведь лирика — это особый подход к той же патриотической теме. И все же сборник дает представление об Урале. Интересно читается... Я в одну ночь его прочла.

В радостной суматохе, в атмосфере праздничности мы между тем и не замечали, что рабочий день неуклонно шел к концу. И только, когда за окнами по-зимнему стало темнеть, спохватились, что за сборником никто не приезжает. Бросились звонить в Союзпечать и услышали ответ, что о выходе сборника там ничего не знали, да если бы и знали, то вывезти сегодня не могут — нет транспорта. А мы мечтали, что «Говорит Урал!» попадет на праздничный вечер в оперный театр, где собирался цвет области — рабочие-тысячники, знатные колхозники, партактив...

Что делать? Хотели броситься за советом, а по че-

сти — за помощью, к Павлу Петровичу, но посовестились: уж очень он не любил недодуманных дел и преждевременных «победных реляций». Всегда над ними посмеивался, был беспощаден к бахвальству и шумихе. А мы явно попали впросак, не позаботились проверить, занимается ли кто-либо Союзпечатью. Собрались в «колхозе» участники и «болельщики» сборника. Из авторов случайно оказался Б. Рябинин, которому не терпелось подержать в руках свою повесть, и он к вечеру забежал в Дом печати. Посовещались, подсчитали людей и решили взмолиться к Союзпечати, чтобы «Говорит Урал!» сегодня же взяли в киоск оперного театра, а доставку сборника мы обеспечим сами. Нам охотно пошли навстречу и дали наряд в киоск на тысячу экземпляров.

«Доставка» — пышно сказано, а означало просто-напросто, что нам надо перенести «Говорит Урал!» на руках, потому что и у нас не было никакого транспорта. Хорошо еще, что театр находился неподалеку от Дома печати.

За дипломатическими переговорами, за деловым оформлением передачи сборника из типографии в Союзпечать время шло с неимоверной быстротой. Рабочий день кончался, надо было спешить: разойдутся люди — ведь праздник, все спешат по домам, никого не созовешь, какая уж тут будет «доставка»! И «колхозники» пошли по Дому печати, объясняя, что произошло, и зовя людей нам помочь. Откликнулись рабочие из типографии, корректоры, техреды — словом, все, кто не ушел еще домой. Уламывать никого не пришлось. Носильщиками стали, конечно, и сами «колхозники», и «приколхозный актив» (была и такая градация), и даже два-три автора, среди них Борис Рябинин.

Около «большого общежития», того самого, что размещалось в «клубе рабкоров», всегда было много мальчишек — детей рабочих из Первой Образцовой типографии. Мы с ними подружились давно на сугубо политической почве. Дело в том, что внезапно, — видно, подошел возраст, — началось среди мальчишек повальное увлечение «Тремя мушкетерами». Играли в них, не читая книги, не видя кинофильма, играли по рассказам

приятелей, дрались на деревянных шпагах с эфесами из консервных банок. Но затем посмотрели довольно посредственный, хотя и веселый, фильм по роману Дюма — он только что вышел на экран — и задумались. Да ведь мушкетеры за короля и против... гвардейцев. Как быть? А в Советской Армии как раз ввели гвардейское звание. На лестничной площадке верхнего этажа происходили бурные мальчишьи сборища. Причем в этом никогда не участвовал ни один взрослый. И когда внезапно наш «политрук» Славик объявил себя кардиналом Ришелье, ситуация стала абсолютно ясной. Ребята долго разрывались между симпатией к Атосу, Портосу, Арамису, д'Артаньяну и твердой любовью к гвардейцам. Бесповоротно победила последняя. Мальчишки объявили себя «красногвардейцами», стали бить мушкетеров. Поражение любимых героев Дюма-отца впервые в истории произошло в октябре 1942 года.

Конечно, мы обратились к этим идейно закаленным товарищам. Они, проникнувшись важностью задачи, примкнули к нашему отряду добровольных носильщиков.

Совсем уже стемнело, когда мы небольшими группами, нагруженные книгами, вышли на улицу.

Зимний холодный вечер. Ветер метет вдоль улицы колкую белую крупу. Дует в лицо, мерзнут руки. Но все равно город праздничен, дома украшены лозунгами, красными знаменами. Горят веселые огни, протянулись нити цветных лампочек. Наискось от Дома печати возвышается ярко освещенное здание оперы. То и дело открываются двери и впускают знатных людей области — тех, кто месяцами не уходил из цехов, кто дал урожаи, прокормившие в этот год фронт и тыл, кто, как и мы, страстно ждал победы над фашизмом. Наши читатели! — ради них все эти месяцы мы так трудились, а сейчас видим перед собой вот тут, в сказочной холодной синеве уральского города, и явственно ощущаем неразрывную душевную с ними связь.

Появление наше в фойе театра произвело большое впечатление на всех. Киоскер нас уже ждал, контролеры были предупреждены — пропуском служили книги. В праздничную, принаряженную толпу переносчики

«Говорит Урал!» врезались веселым диссонансом: были мы в обычной и довольно потрепанной уже одежде, но румяные с холода, возбужденные своей удачей, шумные, тащили груды книг. Новость прошла по коридорам театра, и люди стали сбегаться. Образовались мгновенно очереди — никогда они мне не доставляли такого удовольствия и даже радости. «Говорит Урал!» расхватывали с жадностью. Уже прозвучали звонки, возвещавшие начало праздничного вечера, а люди не уходили из коридора, осаждая киоск. Вся тысяча экземпляров была расхватана буквально на наших глазах.

Слушая отчет о событиях этого вечера, Павел Петрович смеялся, но и явно был растроган.

— Учитесь, — сказал он. — Всякое дело доводки требует. Да, видно, неспроста родилось присловье: «Оптимисты побеждают»...

Думается мне, однако, что именно с этого времени Павел Петрович признал своего «исследователя» и стал ему открываться...

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЛОВЕ

Еще зимой 1942 года, 17 декабря, когда я донимала Павла Петровича разными вопросами для будущей книги, заговорили о языке сказов.

Слово, меткое, яркое, причудливое русское слово, всегда было для Павла Петровича не мертвой, устоявшейся формой, а живым, развивающимся организмом. Он чувствовал его запах, увлекался игрой его красок, его звучанием. Он искал корни слова в быту, в истории края. Слово было для него не только обозначением явлений, оно открывало Бажову целые пласты жизни. И потому его возмущал примитивизм в обращении со словом, в понимании его художественных функций.

— Когда я оформил первый сказ — «Дорогое имячко», возражали мне, говорили, что в стилистику, в «писаховщину», ударился. Упреки эти кое в чем были справедливы. Позже я отошел от чрезмерного увлечения языковым колоритом. Оставил только производственную

стилистику. А все эти «тожно», «пошто»... все выбросил. Или вот — «навеливать невесту»... Надобности нет хранить слово или речение, когда за ним нет образа. А всяким там причудам языка можно умиляться, можно играть словом, но это пустое, в конце концов.

Слово мы часто берем однолинейно — только как обозначение понятия. А ведь в нем все есть: и звук, и краска, и образ. У меня в сказах найдете слово «в чиковку». Что оно означает? Звуковое здесь уловлено — «чик в чик», то есть так же размеренно и точно, как движение маятника. И означает потому — точь-в-точь, как раз, впору, в меру. А вот другое словцо: «жикнуть» — рассечь воздух резким ударом прута, жгута, сабли, отчего, естественно, возникает особый свистящий звук. И рядом «жичка» — веточка, вица, прутик, все, чем можно жикнуть. Все эти слова не литературного плана, но законные при сказовой манере письма. Но вот обыгрывать фонетическую неграмотность не могу и не хочу. Недостойно делать предметом балагурства язык моего отца и моей матери. Горбунов мог умиляться — «чичас» и прочее того же рода. Он смотрел и слушал со стороны. Но нас эти Ваньки и Таньки тешить не могут. Не выношу Горбунова, даже в самых невинных его вещах. Лесков тоже злоупотребляет фонетическими неправильностями, но все же нет у него этого горбуновского ёрничества.

Огромное значение Павел Петрович придавал исторической основе, породившей то или иное слово, закономерностям развития и движения языковой стихии. Об этом говорил он в беседе 30 января 1943 года.

— Художник ищет и отбирает слова по своему, по сути узкому, плану, а в народном языке идет более широкий отбор, откладываются подлинно ценные слова. Здесь отбор, произведенный родом, а там — личностью, автором.

Хорошие слова в сказе «Медной горы Хозяйка», — с удовольствием говорит Павел Петрович и поясняет: — Много рабочей терминологии. Может, и перегружают... но жалко расстаться, отбросить... «Обальчик», «королек», «кёнихи» — зерна. Или вот «виток» — так называли пластинчатую медь, тонкими нитями...

Часто народ осмысляет чужеродное слово, дает ему

народный перевод, свое понимание. Вот, например, как своеобразно преломлялась немецкая горнозаводская терминология в живой речи уральского населения. «Стенбухарь» — рабочий размельченную породу бросает на сетку, просеивает. Звуковое оформление слова — «бухарь,» тот, кто бухает, швыряет со стуком. Или «карнахарь». Это осмысление немецкого слова «гармахер» — горный мастер. Русские рабочие на Урале с бородами, а немцы бритые, корнали свою харю. Осмысление не без сатирической оценки.

О работе над словом Павел Петрович всегда говорил охотно, как бы размышляя вслух, а чаще явно стремясь передать своему собеседнику собственное, уважительное отношение к родному языку. Дело это важное и совсем не простое — отбор слова, умение слово верно применить к делу, поставить на нужное место в художественном произведении. Работать над обогащением своей речи писатель должен упорно, ежедневно и ежечасно, считал Бажов. И охотно делился собственным опытом. Об этом и зашел разговор 23 марта 1943 года.

— Слова записываю, — рассказывал он о себе, — но не те, что особенно редкие, а такие, которые могут понадобиться, да их в нужную минуту никак не найдешь. Вот, например, простой парень — простота, можно сказать. Существуют целые семьи слов. Начнешь их перебирать — всё уже обыграно. И не можешь найти нужного слова, не заезженного, но простого по смыслу, которое полно бы выражало твою мысль. Иной раз случайно натолкнешься на новые возможности русского словообразования. Перечитывал я как-то «Бурю» Шекспира. Произведение не русское. И переводчик тоже не ахти как перевел. Но встретилось мне там слово «миляга». А ведь можно сказать «простяга». Вот ответ и найден. Нужное слово нашлось. — И Бажов добавил: — Так вот, сам не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

Павел Петрович никогда не уставал любоваться гибкостью, многообразием русской фразы, емкостью и сочностью слова.

— К словарю обращаюсь редко, — говорит он, — лишь в случаях затруднений. В словарях слово неподвижно. Слушаю его в повседневной речи, ищу в книгах, в

действии, в жизни. Интересуют меня слова известные, но забытые в литературном языке. Я их очень ценю и подбираю. Записываю на карточках и время от времени проглядываю.

Простое слово «хвост», а как богато различительными определениями! Хвосты-то разные бывают. У волка — полено, у лисы — труба, у белки — пушняк, у зайца — репеек, у глухаря — сноп, у ласточки — вилка. Народ приметлив. И увидеть умеет, и в слове выразить, да еще и философски осмыслить. Говорят ведь: «Лошадка быстра, а от своего хвоста не уйдет». И хвост тут, глядишь, пригодился.

С улыбкой, а о серьезном умеет рабочий человек сказать. «Не пей, кума, дарового вина — дороже купленного обойдется». Или: «Плохо положено, страхом не огорожено». Ну как не записать, само просится!

Иной раз записываю слова, которые и не пригодятся в работе. В Пермь ездил — несколько удмуртских слов меня заинтересовали, а их явно в литературе нельзя использовать. Грубоватые слова, но выразительные: «падыш» — кобель, «куча» — сука. Иногда очень жалеешь, что слова такого грубого тона нельзя в литературе применить, взять в дело. Они-то самые сочные... Так вот, из всей поездки в Пермь я и привез — «падыш» да «куча». Потом, правда, добавил из пермских записей: «полазистый», «чутьистая»... Я их использовал в сказе «Хрустальный лак». Напомнили они мне и другие деления: верхнее чутье, нижнее... Слово только тронь — оно и заиграет разными гранями...

Но не только слово-образ, слово — реальная деталь заботили Павла Петровича. Он думал и о его звучании, о ритме и мелодии фразы.

Одно мимолетное замечание художника весьма для него характерно. Оно было сделано 29 марта 1943 года, в разговоре с писателями-свердловчанами, которые собрались по каким-то общественным делам в отделении Союза. Зашла речь о трудностях работы над стилем произведения. Павел Петрович убежденно сказал:

— Фразу надо разбивать. — И повторил: — Надо разбивать фразу. Правда, тогда связки мучают. В длинной фразе они второстепенны, незаметны. А если разбить,

сразу начинаются «но», «и», «однако», «оттого, что» и прочее... Воевать надо с подсобными словами, воевать.

В беседе со мной 24 мая 1943 года Павел Петрович заметил, что его сказы по своей тональности, по самому строю речи значительно разнятся. Они, считал Бажов, распадаются на три группы: первая — сказы «детского тона», тут Павел Петрович для примера назвал «Огневушку-поскакушку»; затем «взрослого тона» — ну хотя бы «Каменный цветок» и, наконец, «исторические рассказы» — такие, как «Марков камень».

И действительно, разная тональность сказов, их мелодия были продиктованы различными творческими задачами, поставленными художником: содержание требовало каждый раз своего, особого звукового решения, своего, особого звучания.

Огромное значение Бажов придавал обогащению словарного запаса художника, расширению границ личных словесных накоплений. Он считал, что писатель обязан всю жизнь работать над языком, неустанно заботясь о речевом разнообразии.

— Вначале, когда приступал к сказам, — говорил Бажов, — было легко: целое поле свободных слов. А чем дальше, тем труднее. Оглядываешься ведь на уже написанное. Нельзя же повторять одно и то же. Целый ряд рабочих слов выбрасывает из моего обихода каждый новый сказ. К ним уже не вернешься.

Трудность в стилистике. Надо для каждого старого понятия найти подходящее выражение, ясное и теперь. Мысль бывает правильная, а выходит не так, как надо. Ведь надо верно передать, как бы тогда, в прошлом, люди сказали, как бы тогда подумали. Ищу слово мучительно долго. Вот приведу вам пример. В сказе «Таюткино зеркальце» надо было сказать о надежной крепи в шахте. Старый технический словарь и другие словари подсказывают просто — «крепь». Хорошее народное слово. Но это ведь первое слово. Надо еще поискать. Сколько русских слов перебрал! И вдруг нашлось: говорится не только «крепь», но и «переклад». А «надежная крепь» — «укрепить двойным перекладом». Это уж сразу почувствуется, что прочно. С удовольствием по-

ставил в сказе «укрепить двойным перекладом». Горжусь: нашел.

Только простоты этой, естественности языка очень трудно достичь. — И лукаво добавил: — Легко, когда сказители говорят, а тем, кто свои вещи записывает, тем трудно...

К этому времени я уже проделала большую подготовительную работу для книги и, в частности, основательно изучила бажовские сказы со стороны языка и стиля. Наблюдений и выписок накопилось многое множество.

Я сказала между прочим Павлу Петровичу, что в его сказах бросается в глаза обилие уменьшительных слов. Бажов явно был этим доволен. Он живо откликнулся на это невинное замечание и сказал:

— Уменьшительные слова присущи сказителям, вот таким дедушкам Слышко, знающим, много пережившим заводским старикам. В этих словах отражается народное философское осмысление жизни. Говорит так человек, который судит о ней с точки зрения своего богатого жизненного опыта. Он обо всем раздумывает, все способен верно оценить, все рассудит здраво. Философия его основана на твердой уверенности, что дети будут жить лучше него. О золотых горах прошлого меньше всего думали. Мечтали о золотых горах будущего.

Уменьшительные мне самому очень нравятся. Мягкость тона придают... День пройден, всегда его с улыбкой вспоминаешь.

Невольно себя ловлю на пристрастии к уменьшительным. «Девчонка» — пренебрежительный оттенок. Иное — «девчушка», «девчоночка добренька»... Это стариковское, в зрелом возрасте не так говорят... Уменьшительные слова тоньше, добрее... В одном, не напечатанном еще сказе: «Была маленько косоротенька, изъян небольшой, а женихи убегают». Я считаю — хорошо...

И Павел Петрович смеется, доволен, добавляет:

— Пачечку сказочных слов пересмотрю: записывал слова, а повело к теме... Вот в записях у меня найдете: «петушиное перо» — о забияке говорится... Из этих слов образ рождается... Дальше у меня стоит: «С петушьим пером родился: по всякому пустяку в драчишку лез, а

силенкой не богат. Его и колотили порядком, а парню все неймется. Ко всякому лезет: я-де никому уступать не желаю. Тут вот его стукнули по загривку, да столь навесно, что сразу свалился».

Как видите, образ, заключенный в слове, сам развернулся, обрел движение...

Да, большая сила в народном слове... А знаем ли мы по-настоящему свой родной язык? Стоит над этим и призадуматься...

АНКЕТА

19 января 1943 года я решила все-таки поговорить с моим упрямым «героем» о нем самом. Ухватила его прямо в Союзе писателей и непреклонно стала ему задавать вопросы. Павел Петрович, уважая чужую работу, сдался и позволил себя интервьюировать.

— Когда вы и где родились?

— Родился в тысяча восемьсот семьдесят девятом году, двадцать восьмого января. Завод Сысерть, Екатеринбургского округа. В тысяча восемьсот семьдесят девятом, а не в тысяча семьсот семьдесят девятом, — лукаво подчеркнул Павел Петрович и усмехнулся в бороду.

— Как звали ваших отца и мать?

— Петр Васильевич Бажов. Августа Степановна, в девках Осинцева.

«Вот откуда и псевдоним Осинцев», — сообразила я. А вслух продолжала устную анкету:

— Как имя и отчество вашей бабушки?

— Какой? Которая имела влияние на сказы?

— Да.

— Авдотья Петровна, в девках Насонова. Дед Василий Александрович Бажов, из плавильных мастеров. Жил еще при Александре третьем.

— А что значит ваша фамилия — Бажов?

— «Бажить» — самое ходовое северное слово. Означает — ворожить, но не угадывать, а предвещать, накликать. «Не бажи, себе не наворожи». И еще «бажать»: южное слово — нежить, ласкать, воспитывать и... баловать. Фамилия распространенная. Бажовых на Полевском

заводе много. Конференцию Бажовых можно созвать. Молодежь перекроила — «Бажев». Дескать, так важнее.

— Когда вы напишете продолжение «Зеленой кобылки», повесть «Красные пянки»?

Павел Петрович лукаво усмехнулся:

— При солнышке. А сейчас невозможно: когда мерзнут руки, голова не работает.

— Переписывались ли вы с Максимом Горьким?

— Написал я очерк «Потерянная полоса». Москвичи, обкорнав его, послали Горькому в Сорренто. Горький прошелся по очерку красным и синим карандашом, чернилами. Прислал коротенькую записочку: «Таких чудес не бывает».

А о чудесах у меня оговорка была в первой части очерка, которую выбросили.

Спустя некоторое время получил заказ от Горького — написать о колхозе «Гигант». Написал, но не послал, так как начались колебания по поводу этого колхоза и такого типа колхозов вообще. Это ведь был загиб, гигантомания.

— Когда началась ваша литературная деятельность?

— Печататься я начал после Октябрьской революции. В камышловских «Известиях» писал фельетоны, был обозревателем.

В восемнадцатом году на Урале началась гражданская война, пошла вооруженная борьба. Состоял я тогда в «Особой советской роте красных орлов полка». Это был зародыш политотдела — полк в соединении с депутатами Камышловского Совета. Сделали меня заведующим информационным отделом Двадцать девятой дивизии и редактором дивизионной газеты «Окопная правда».

Так началась моя газетная работа. Правда, писать было некогда. Я оказался не только редактором, но и секретарем и выпускающим газеты — все в одном лице. Жили, однако, солидно — в двух вагонах газета ездила. Выходила, правда, не регулярно. Выпустили мы пятьдесят номеров на Уральском фронте. В сотрудниках были красноармейцы. Писали подчас отчаянные стихозы. И все же в их заметках, очерках было главное — жизненная правда.

Получил я однажды рукопись, называлась она «В ка-

расинке». Написано химическим карандашом, на клочках бумаги, бесхитростно и даже безграмотно, — не забудьте: тогда еще «ять» существовало. Ни абзацев, ни знаков препинания, и матерок есть. Но все рассказывалось так искренне, что не останешься равнодушным. «Да ведь это разобрать надо, — подумал я, — расставить знаки...» Подвалом напечатал — не убавил, не прибавил, только в грамматике порядок навел.

Хороший получился подвал. Рассказывается случай, как бежали наши из плена. Вошли в город белогвардейцы, загнали всех в Нобелевский керосиновый склад. Переживания тех, кто сидел «в карасинке», ждал смерти, и как радовались, когда оттуда вырвались. А рассказано живыми, свежими словами.

Иной раз эолова арфа превосходит и труды композиторов...

И уж без моих просьб Павел Петрович с охотой принялся рассказывать о литературной обстановке на Урале в послереволюционные годы. Воспоминания ему явно доставляли удовольствие своей пестротой и причудливым своеобразием деталей быта, времени. Рассказывал он шутливо, подчеркивая юмористическую сторону происходящего.

— Выходили на Урале разные журналы. «Колос» — появилось десять номеров. «Рост» — сюда почти не писал. «Штурм». А еще был журнал «Товарищ Терентий». Это название имеет свою историю. Художника Парамонова, человека по тем временам совершенно аполитичного, послали зарисовать типичного уральского рабочего. Он и зарисовал у какой-то маленькой мастерской привычное — мастера в фартуке, с цигаркой, в шапчонке, как у раннего металлиста. Нарисовал, а спросить забыл, как его звали, фамилию, отчество... «Товарищ Терентий» — и все. Редактору понравилось. Отсюда и пошло название... Портрет мастерового на обложку дали.

Интересный получился еженедельный журнал. Даже формалисты наши провинциальные в него проникнуть пытались.

В Свердловске в это время было издательство «Уралкнига», — жаль, архивов его не сохранилось. Возомнило себя не хуже столичного. Решило издавать «Джунгли»

Р. Киплинга, сочинения Жюля Верна и тому подобные книги. Возникла известная неловкость. А Урал где же?

Я сидел в это время в «Крестьянской газете», в отделе писем. Пришли ко мне:

— Ты напиши-ка что-нибудь об Урале.

— Не шуточное дело.

— Да что-нибудь.

— О сысертских заводах могу.

Согрешил книгой «Уральские были», впервые со мной случилось. Показалось удивительно легко. Над словом не думал. Запас слов был. Писал так, как у нас говорят. Когда пишешь на материнском и отцовском языке да о том, что сам видел, — легко работать. Встает картина. Календарных дат не надо. Сблизить понятия, сопоставить. Книга эта меня и погубила, отсюда все и пошло.

Тут Павел Петровил прищурился, засмеялся в бороду, — ему нравилось подтрунивать над «исследователем», избравшим, как он выражался, «ненадежный объект». Поэтому озорно и рисовал он образ этакого наивного простака, «задумавшего стать писателем».

И удачи его якобы объяснялись лишь «нехваткой своих уральских кадров». Они, эти удачи, и забавляли и удивляли рассказчика — вот ведь что в жизни бывает!

— В журнале «Товарищ Терентий» впервые подвалами печатались «Уральские были». Книжку эту уральцы подняли. Чуть не Маминым-Сибиряком автора объявили. Рецензию с портретом дали в «Уральском рабочем» в двадцать четвертом или двадцать пятом году. Бороду на портрете так обыграли, что получился я вроде какого-то жюльверновского злодея или беглого каторжника. Словом, персонаж!

С той поры и началась канитель: «Бажов, напиши книжку о кампании взаимопомощи, напиши о том, что советская власть дала крестьянству» и т. д.

И, задумавшись над тем, что вспомнилось, помолчав, Павел Петрович уже серьезно, без шутки, не для собеседника, а для самого себя, сказал:

— Нет, не был я еще писателем. Всякий желающий писать — желает. А я не хотел... Откликался на задания...

Но вот книгу «За советскую правду» — эту я написал по чести, по совести, очень ее желал. Рисовалась она

мне как кинолента жизненных положений. Таких книг тридцать две штуки было у меня намечено. Хотел рассказать о том, что пережито в годы борьбы за советскую власть. Вот хоть бы Алтай в двадцатом году — как бились за прииск Аджар. Сколько крови потрачено. Но сидим в степной дыре, а резонанс в Америке — держать, держать... Или вот еще: горцы Кавказа ходят в газырях, с кинжалами, пояса с серебряной насечкой, а Орловка поднята выше кавказских горных аулов — народ здесь в зипунах, овчинах, перепоясаны кашемировыми кистями. Называются эти бабы и мужики «полк горных орлов». Партизанский отряд. Это жители селений по Бухтарме-реке.

Да, пиши, не отрывая пера...

О ЧЕХОВЕ

Часто и с большой любовью обращался в своих беседах Павел Петрович к размышлениям о творчестве А. П. Чехова. Он видел в нем подлинного мастера, знавшего свое время в большом и малом, во всех деталях быта... Бажов не уставал восхищаться зоркостью художнического глаза Чехова, точностью его слова, за которым открывались огромные пласты жизни современников.

— Вот у кого учиться слову! — говорил Павел Петрович, когда мы собрались как-то в Союзе писателей весной 1943 года. — Надо представить только, в каком окружении, и когда он писал, и для кого... Вспомните хотя бы изумительные фамилии его героев. Некоторые нарочно грубовато сделаны: Вонмигласов, Змеежалов! Грубоватая подача, на публику, — нате вам, не отвертитесь!

Но есть и тонкая игра словом. Помните рассказ «Брожение умов»? Двое обывателей смотрят, куда полетит стая скворцов. Сядут в саду протоиерея или пролетят дальше? Прохожие тоже принялись глазеть, судят да рядят: в чем дело, что случилось, может быть, пожар?.. И вот волнение в городе... В этой безобидной, смешной сценке — трагедия пустого быта.

А те, с кого началось «брожение умов», не поняли, что они-то всему виной. И обратите внимание: носят они

поразительные фамилии — Оптимахов и Почечуев. И в этих фамилиях отразилась пустота быта. Почечуй — геморрой. А Оптимахов? Да от латинского optime... Смешение российского с латынью, размах, удаль русская... Оптимахов!

Детали в художественном произведении Павел Петрович придавал огромное значение. Но он неизменно определял свое отношение к этому важному средству художественной изобразительности — деталь должна иметь прочную основу в быте, в психологии героев. Она не украшение, а необходимейший элемент повествования.

— У Чехова всегда изумительное богатство деталей, — говорил Павел Петрович в беседе 23 марта 1943 года. — Детали внешне пустяковые, но за ними гамма переживаний. Возьмите рассказ его «Ведьма». Видите людей целиком — с их привычками, их прошлым и настоящим. Не важно, какой дьячок — седой, рыжий... Он уже вылеплен, живой.

Не помню, кто из его воспоминателей передавал, что Чехов говорил: «Меня будут читать семь лет, не больше». Недоумевали: почему семь лет? Но жизнь показала, что Чехов в известной мере был прав. Новый читатель читает не то, что читали в его, Чехова, время.

Помните, была полоса... «Степь», «Мужики», «Палата номер шесть»... А теперь читают «мелочи» Чехова! В них искристый быт. За яркой деталью стоит целая жизнь. Эти ранние рассказы не только не умирают, но и не умрут. Выжили «мелочи», которые он писал играючи, — так густа, насыщенна в них жизнь.

Чехов скупо детали ставил. Но уж поставил — не уберешь, крепко сделано. Другой бы жевал, жевал... «А мы Пересолиху по зубам!» Или вот в «Хирургии», там есть фельдшер, он говорит: «Александр Иванович Египетский — один костюм двадцать пять рублей!» Смешно? А за этим люди видны. Нет, не простой человек Александр Иванович... У Лескова тоже это есть — граф Кисельвроде (Нессельроде)! Но не воспринимается как правда. Нарочно это, игра... А Александр Иванович Египетский — правда. Невозможно даже это объяснить...

Леско́ва я тоже люблю. И люблю вот за что: попытка

у него — ведь он, как-никак предшественник Чехова, — попытка использовать русское слово. Но вот переудачил. Хотя есть у него и замечательные вещи.

Позднее Павел Петрович не раз возвращался к этой теме. Он много думал и говорил о мастерстве Чехова-художника и ставил его на первое место среди русских писателей-классиков. 15 апреля 1943 года у нас опять зашел разговор о Чехове.

— Прочел я его впервые в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет, — говорил Павел Петрович. — Это были «Пестрые рассказы», когда они только лишь вышли отдельной книгой. В «Осколках» я их не имел возможности читать. Воспринял по первоначалу как «смешные»: «Винт», «Канитель»... Потом читал Чехова все, что попадало мне в руки.

Когда Чехов стал писать такие рассказы, как «Степь», «Мужики», я не знаю, я демокритовской, видно, складки — мне это меньше понравилось. И драмы чеховские, их психологизм не так сильно действовали, как его «мелочи». Всегда меня поражало его скупословие. Ведь одним лишь словом Чехов выражает все, одно слово — и человек обрисован. «А у нас Пересолиха! А мы Пересолиху по зубам!»

У Лескова поражает его выдумка, обыгрывание слов. Мельников-Печерский тоже хорош, хотя и неровен. Но у него пахнет Русью. Сюжет обычно простенький. Хорошо там, где художник этот выступает как отобразитель жизни. А все же мельче он Чехова, рядом не поставишь.

Деталь у Бунина тоже изумительна, но как-то чувствуется, что человек ее искал и вот нашел. Часто у него — поражающая деталь. А у Чехова спокойно, тонко, а ни прибавить, ни изменить: естественная деталь.

К размышлениям о Чехове Павел Петрович возвращался и тогда, когда я уже уехала в Москву, — говорил о нем в своих письмах.

«Вот Вам и творческие возможности Вашего объекта! — подтрунивал в письме от 27/10 1945 года Павел Петрович над своим «исследователем», уже после того, как о «Малахитовой шкатулке» была написана книга. — Стыдитесь, кого выбирали! Да еще ряды составляете!

Ну, Ваш объект и Лесков — это еще стерпеть можно, как разновидность старой темы muska et taurus, но Чехова приплетать даже в самой завуалированной связи — это, извините, кощунство, святотатство, литературное неприличие.

Чехов для меня фигура несоизмеримая, почти стихийная. Порой кажется, что он многое делал по наитию. Присел вот к столу на часок, на два — и написал «Шуточку», заключив в этой капельке сложнейший вопрос человеческих взаимоотношений. Ведь у Куприна, даже у Бунина все-таки можно узнать, как это делалось, а у Чехова, особенно до его «хмурого периода», никаких концов не видно. Что это? Высшая степень искусства или то, что зовется наитием? Отвергаете такой термин? Ну, Ваше дело, а оно все-таки у Чехова было. Кажется, что многое у него отливалось в совершеннейшие формы без предварительной кропотливой формовочной работы и не требовало последующей чеканки...

Так что Вы не шутите около этого имени. Мне вон не нравится даже издание писем А. П. Чехова. Там много блеску, немало всяких литературоведческих ключей и отмычек, но это все же как-то приземляет его, придает ему черты мастера высшего разряда, а мне этого не хочется. Для меня он несоизмерим, несравним, почти стихиен».

ЛАУРЕАТ

20 марта 1943 года по радио объявили, что Павел Петрович получил за «Малахитовую шкатулку» лауреатскую премию. Вместе с ним звания лауреатов были удостоены такие писатели, как Алексей Толстой — за трилогию «Хождение по мукам», Ванда Василевская — за повесть «Радуга», Леонид Соболев — за сборник рассказов «Морская душа»; в поэзии — Максим Рыльский, Михаил Исаковский и Маргарита Алигер — за поэму «Зоя».

Кинохроника — московская и свердловская группы — соединенными усилиями целый день 24 марта снимали Павла Петровича — уральского лауреата. По холодному, полутемному коридору верхнего этажа Дома печати, где

помещалась редакция областной газеты «Уральский рабочий», протянулись толстые серые шланги кинорепитеров. В большом кабинете Льва Степановича Шаумяна, тогдашнего редактора газеты, полно народу. Все это были рослые, дюжие кинооператоры и осветители. Тесно и шумно. На треножниках стояли огромные осветительные аппараты, похожие на уэллсовских марсиан. За громадным письменным столом сидел маленький, усталый, совершенно измученный Павел Петрович и перелистывал страницы «Малахитовой шкатулки».

— Устали, Павел Петрович? Утомили мы вас?

— Ничего, — ответил Бажов, утешая их, — зато за всю зиму отогреваюсь.

А в комнате тропическая жара. Капли пота выступили на лицах даже у бывалых операторов...

Наконец завершили съемку. Когда операторы занялись уборкой аппаратуры, Павел Петрович быстро, скромненько собрал «вещички» и заспешил к двери. Маленький, в черном пальто, сапогах, меховой рыжей шапке-ушанке, круглой и всегда сидящей слегка набок.

Я догнала Павла Петровича в «предбанничке» — приемной главного редактора — и уговорила отсидеться и остыть, прежде чем выйти в коридор, промерзший за долгую военную зиму, продуваемый всеми сквозняками, со всех этажей.

И, пока сторожила Павла Петровича, мы с ним переговорили о многом. Я сразу заметила, что мой собеседник, несмотря на привычную шутливость тона, внутренне сосредоточен и погружен в свои мысли. Беседа наша прерывалась долгими паузами, затем снова причудливо вилась, перебрасываясь с темы на тему. Павел Петрович, задумываясь, замолкал; тогда молчала и я. Оба мы не обращались к главному событию этих дней — награждению «Малахитовой шкатулки» премией, хотя весь Дом печати только об этом и говорил. Даже тут, когда мы сидели в «предбанничке» у кабинета Л. Шаумяна, мимо сновала уйма народа, перебрасываясь замечаниями и репликами, вертевшимися все вокруг той же темы — Урал получил своего лауреата. Как и для многих, кто давно уже полюбил эту удивительную книгу, для меня премия «Малахитовой шкатулке» представлялась

само собой разумеющейся и справедливой наградой. Но сам Павел Петрович был явно ошеломлен происшедшим. Поэтому-то беседа наша то замирала, то вновь возобновлялась.

— Как вы понимаете концовку сказа «Медной горы Хозяйка»? Пессимистическая или оптимистическая она? — спросил меня неожиданно Бажов.

Я подумала, затем сказала, что внешне она пессимистическая — Хозяйка никому не приносит счастья. Но, по сути дела, если рассматривать сказ в целом, — оптимистическая, так как тут символ творческой неудовлетворенности, вечных исканий. А ведь в этом-то и заключается истинное счастье.

Павел Петрович улыбнулся, довольный:

— И я так думаю. Роман с недрами земли. В поисках каменной Галатеи.

Помолчал и уже серьезно, без улыбки, добавил:

— Камень хорошо отшлифованный возьмите — родонит, нефрит, яшму. День посмотрите — все остальное поймете...

Я заметила, что форма рабочего тайного сказа очень гибкая и емкая, она позволяет соединять быт с высокой философией.

— Вот что меня всегда удивляло, — сказал задумчиво Павел Петрович, — в крестьянских сказках нет ничего о труде. Они касаются крестьянского быта, а не крестьянского производства. Могли бы ведь возникнуть сказки о зерне, о травах, — вот родилась же у горнорабочих сказка о мастерстве...

Воспользовавшись случаем, я не преминула задать очередной вопрос из своей внутренней анкеты — о том, как работает Павел Петрович над сказами.

— Какой метод работы? — сказал он. — По существу, никакого. Интуитивное чувство скорее... Стремление брать на заметку, в запас, многое. А будет ли приложено к делу когда-нибудь или нет, посмотрим... Веду и записи, а многое просто запоминается. Скажем, сижу в Зайкове на партийной конференции. Тысяча девятьсот двадцать седьмой или двадцать восьмой год. Говорят, говорят, уже повторяться стали... Надоело, душно, лето... Вышел покурить. Держит речь секретарь райисполкома. На воз-

духе хорошо... Рядом помещение столовой. Несколько женщин приготовляют ужин для конференции. Сюда смутно, но доносится, что говорят в помещении. Женщины нет-нет да прислушаются. Заведующая столовой вдруг говорит: «Заишшокал секретарь, сейчас кончат». И действительно, под конец речи секретарь с подъемом повторял: «Еще решительнее повести борьбу, еще сильнее ударить...» и т. д. После этой сценки видал и слыхал я много всякого, слова эти никогда не употреблял в своих очерках, а вот они остались в памяти.

Веду карточки. Правда, анархически это делается. Записываю живые детали быта, поразившие меня слова. Вот, например, записано два слова — «кардинально» и «капитально». Один оратор сказал: «Этот вопрос надо решить кардинально и капитально». Поди ж ты, как торжественно!

Нет, это у меня не метод. Ну, сказался и опыт журналиста. Привычка, если хотите. Ведь я писал фельетоны типа былей, вроде «Потерянной полосы». Печатался очерк в журнале «Индустрия социализма». Чем интересен? Это была попытка профработников издавать литературно-художественный журнал. Толку, конечно, не получилось.

А в очерке в чем суть? Поиски, первая попытка перехода из реального в фантастический план.

Записи на карточках веду лет двадцать. Есть люди, которые имеют горы карточек, а у меня мало их. И все это записывается беспорядочно, бессистемно, про запас...

Заговорили мы о Театре Красной Армии, который находился в эвакуации здесь же, в Свердловске. Я смотрела у них пьесу А. Гладкова «Давным-давно». Бажов оживился, заулыбался, и сказал, что пьеса ему нравится, он считает ее одной из лучших пьес последнего времени.

— Она не «огероивает» людей, люди здесь простые, даже обыденные. Кутузов, например, хороший старик. Помните, как он сказал: «А девкой был бы краше!» Драматург слово чувствует. Нет теперь у людей тяги к приподнятости, не хотят они на котурны громоздиться. Хочется им веселого, хоть сколько-нибудь радости получить.

Вот подумайте только — Ибсен, Гауптман психологические пьесы писали, учили... В мое время, какой успех имели! А сейчас вот умерли... А Скриб — поди ж ты! — живет... «Стакан воды» — пожалуйте! Интересно, занимательно, и среди веселого смеха вдруг мысль хорошая подчеркнута. Блеснет она, казалось бы, среди пустяков, а вот ведь — доходит, запоминается. Помните: «Если большая держава хочет поглотить маленькую, то дело последней — худо. Если две большие державы хотят поглотить маленькую, то дело ее совсем неплохо и даже завидно — она сама может превратиться в большую». В пьесе «Давным-давно» хорошо то, что она веселая, а доносит до зрителя большие идеи любви к родине, героического действенного патриотизма.

Павел Петрович сказал, что сам работает сейчас над пьесой. Но только ему, видно, не сговориться с режиссерами: они все требуют от него действия и действия.

— А я так думаю: слово — тоже действие...

Догадки мои о внутреннем состоянии Павла Петровича в дни пришедшей к нему славы, когда очевидным стало, что «Малахитовая шкатулка» оценена как явление литературы особое, неповторимое, догадки эти полностью оправдались и даже вскоре нашли свое подтверждение.

На вечере в честь Павла Петровича Бажова в Свердловском ДКА, который был организован в самом начале апреля 1943 года Ф. И. Варновицкой, большим любителем и знатоком советской литературы, выступали: я — с докладом о творчестве лауреата, Виктор Финк — с рассказом о выступлении Фадеева на творческой дискуссии в Москве, Ольга Высотская и Оксана Иваненко — со стихами, посвященными П. Бажову, Юрий Хазанович — с дружеской стилизацией под бажовский сказ «Счастливый глазок», Евгений Пермяк — с отрывком из написанной им пьесы «Ермаковы лебеди».

В президиуме сидел наш свердловский импрессарио — Е. Я. Берлинраут, в шапке, галошах, старый, усталый, беззастенчиво засыпал. Его толкали, когда он начинал всхрапывать.

Павел Петрович выступил со словом, в котором стремился объяснить, не столько даже аудитории, сколько

самому себе, причины той высокой оценки, какую получила его книга. Что роднит «Малахитовую шкатулку» с новым временем, что ее связывает с современностью — вот на что искал для себя ответа ее создатель.

— На Урале истоки русского рабочего класса, — говорил П. Бажов. — Рабочему классу здесь двести лег. Сложились свои традиции, свои предания. Мы, уральцы, можем гордиться предками, их доблестью на войне и в труде.

— В прошлом многие знали, что Урал — это медь, золото, драгоценная руда. Край наш — неисчислимые богатства горных недр. Естественно, что если не точным знанием, то чутьем чуяли эти богатства те, кто работал в уральских горах. Неизбежны отсюда богатейший производственный словарь и фантастические объяснения тому, что видел и о чем догадывался.

Уральские горщики всегда мечтали о камнях будущего. Теперь это уже не мечта, а реальность. Открыты магнезит, хромиты и многие другие камни. Народная история полна глубокого смысла. Драгоценное наследство это еще не собрано. «Малахитовая шкатулка» — в основе ее фольклор Гумёшковского рудника. А есть еще Березовский, Тагильский и другие. Здесь на Урале в отношении сбора народного творчества — неисчерпаемые возможности. Я был бы рад, если бы кто-нибудь из молодежи подумал: а не сделать ли это делом своей жизни? Не все, что рассказывается, ценно, но стоит походить, поискать, докопаться до настоящего.

Советская власть придает этому большое значение. Она считает возможным в дни Отечественной войны отметить наградой книжку уральских сказов.

Советская власть полна уверенности в будущем, если она, когда все сосредоточено вокруг войны, имеет возможность оценивать крупицы сказов. Советская система — исключительная система. Здесь людям присуща широта взглядов на вопросы культуры. Мне хочется завершить сегодняшний наш разговор славой нашей советской системе, заботящейся о народном творчестве, той общественной системе, которая оживила старый Урал.

„ОТМЕННЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ“

Писательская организация решила отпраздновать премию Бажова, чествовать уральского сказочника. С этим совпал и юбилей Мариэтты Шагинян — сорокалетие ее литературной деятельности. Хотели даже устроить банкет, обратились в областные организации. Но там сочли недостаточным повод для расходования остродефицитных продуктов и потому ограничились тем, что Бажову и Шагинян выдали по солидной продуктовой «посылке». Банкет не состоялся. Но стенную газету мы все же выпустили — веселую, боевую, с хорошим текстом и дружескими шаржами, посвященными обоим юбилярам.

Много было шуток в этой газете. В тяжелые годы войны людей отличало стремление смехом одолевать беды, своим жизнелюбием противостоять врагу. Недаром Павел Петрович не раз говаривал, что таково национальное свойство русского характера. Испокон веков для русского человека ясна была истина, что «посильна беда со смехом, невмочь со слезами».

В нашей газете были и шуточные приветствия, — например, «Тост», написанный поэтом Е. Ружанским:

Товарищи, подымем тост
(Он будет искренен и прост),
Чтоб долго жил и был здоров
Уральский сказочник Бажов.

Была и юмористическая «зарубежная» хроника, написанная Евгением Пермяком. В этот период ожидание открытия второго фронта уже сменилось уверенностью, что наши «доблестные союзники» отнюдь не торопятся, и поэтому к ним начали относиться иронически. Но все еще думалось — авось раскачаются... В быту, в частных беседах, над ними посмеивались и подтрунивали. Этот насмешливый, но еще добродушный дух проявился и в стенгазетной «хронике». Мариэтте Шагинян была посвящена заметка «Ошибка корреспондента».

«В газете «Нью-Дью-Фью» появилась статья «Генерал-майор Шагинян».

Редакция «Литературного Урала» заинтересовалась

й запросила «Нью-Дью-Фью». Оказалось, что предприимчивый корреспондент, вместо того чтобы взять интервью лично у Шагинян, проник в кухню отеля «Большой Урал» под видом санитарного инспектора и обнаружил фамилию Шагинян в списке на генеральские обеды.

«Майор» добавлено потому, что на это указывала буква «М», стоявшая впереди фамилии Шагинян.

Исправляя свою ошибку, газета «Нью-Дью-Фью» напечатала поправку: считать генерал-майора Шагинян младшим сержантом, о чем, по мнению газеты, убедительно свидетельствуют буквы «М. С.», стоящие перед фамилией Шагинян.

От редакции:

Странные нравы некоторых газет!»

Павлу Петровичу посвящалась другая заметка, которая была продиктована тем, что достать книгу Бажова на Урале при всем желании не представлялось возможным. Поэтому в разделе «За рубежом» редакция стенгазеты и напечатала «корреспонденцию» Евгения Пермяка:

«БАНДИТ НАКАЗАН

Известный король уголовного мира Аль-Капонэ задался целью выкрасть «Малахитовую шкатулку», изд. 1942 года, «Советский писатель».

Бандит потерпел фиаско. В Свердловске ни одного экземпляра не оказалось».

Надо сказать, что для работы над монографией я с трудом получила под расписку «Малахитовую шкатулку» в Свердловском издательстве, затем книгу у меня начали отнимать, а это поставило бы всю мою работу под удар, если бы я не оказалась предусмотрительной и не выменяла «Малахитовую шкатулку» у одного владельца книги на три буханки хлеба, килограмм сахара и бутылочку постного масла — предметы высокой ценности по тем трудным и голодным временам. Но «искусство требует жертв».

Появились в нашей стенгазете и традиционные для тех дней боевые предложения — собрать деньги на танк

и назвать его «Малахитовая шкатулка». Об этом писал тот же Евгений Пермяк в заметке, где говорилось:

«Мощный танк должен украсить «библиотеку» уральского танкового корпуса.

Как это сделать?

Платный спектакль «Ермаковых лебедей» силами ТЮЗа — раз. Несколько литературных вечеров — два. И книжный базар —три.

Если останутся деньги на второй танк, назвать его именем автора «Малахитовой шкатулки» — «Лауреат Сталинской премии П. Бажов».

Второй такой танк танковому корпусу тоже не будет лишним.

Такова постановка вопроса».

Павел Петрович, конечно, поддержал самую идею сбора писательской организацией средств на танк и, конечно, категорически отклонил предложение о таком наименовании его, какое было внесено Евг. Пермяком.

Откликнулась на чествование Бажова очень душевно и старая писательская гвардия. В нашей стенной газете с маленькой поэтичной новеллой выступил Николай Ляшко, который лирично выразил свое понимание таланта уральского сказочника и свое отношение к Павлу Петровичу. Вот эта новелла:

„Отменный встречный"

В долгом пути бывает много встреч, но в вашей памяти остаются только отменные встречные: они чаще всего просты, рядом с пестрыми и шутливыми острословами и сверкунами они тускнеют. Любовь и ревность к своему делу, к своей мечте роднят их с чудаками и нередко подкладывают им под бока вместо перины голые сучковатые доски.

Вы не забудете этих встречных даже в том случае, если беседа с ними у вас не вышла, не наладилась... Какие слова любят они, заикаются они в беседе или придыхают — все равно: словом, или делом, непосредственно,

или через других людей, или через вещи, которые они сделали, через песни или книги, сложенные ими, но свой свет, свой огонек или огонь они донесут до вас и что-то осветят или в вас самих, или вокруг вас, или вдали...

Такие встречные не часто попадаются даже на длинном пути, но они есть, и среди них давно идет человек, подаривший людям «Малахитовую шкатулку».

Сквозь радость пробивается горечь досады, что этого человека на пути заметили только в этом году. Ну что ж... Возможно, в грозу люди видят зорче, а может, в грозу отменные встречные становятся виднее. Это от молний...»

Подписана была новелла псевдонимом «Странник». Ведь находились мы все в эвакуации, вдали от родных мест, от родного города. И чувствовали себя в пути, в долгом-долгом странствии...

Особенно грустным и героически-мужественным было одно приветствие, полученное в эти дни Павлом Петровичем. В Свердловске, смертельно больной, доживал свои последние дни переводчик «Интернационала» А. Я. Коц. Старый коммунист знал о том, что конец его близок, болезнь была тяжелой, мучительной, умирал он в больнице от грудной жабы и рака. Но ум его был светел, дух несокрушим. Он жил верой в победу над фашизмом, и все мысли его были только о делах на фронте. Мы уже пережили счастье победоносной битвы под Москвой, первого разгрома немецких полчищ, и 1943 год встречали полные надежд. Умирающий А. Коц жил большими делами страны. Он интересовался и жизнью нашей писательской организации. Награждение Павла Петровича лауреатским званием он, как и все остальные писатели, встретил с большим одобрением и прислал Бажову следующее трогательное и прочувствованное письмо:

«Дорогой Павел Петрович!

Крайне сожалею, что, прикованный тяжелой болезнью к постели в больнице, я не могу лично пожать Вам руку и от души приветствовать Вас, как лауреата Сталинской премии по искусству и литературе.

Закрываю на минуту глаза, чтобы лучше представить себе знакомый Ваш образ патриархального типа, как бы

сошедший с картины Васнецова, но насколько, однако, преображенный событиями нашей великой эпохи! Сколько под этим внешним благообразием скрыто взрывчатого материала! Какая неистребимая ненависть к врагу в дни грозной опасности, нависшей над страной! Какая еще неизбывная энергия к творчеству на пользу Родины!

От души желаю Вам долго здравствовать и так творить!

А. Коц
I/IV 1943 г.
Областная Свердловская больница».

Старая писательская гвардия радовалась успеху одного из представителей своего поколения. Они видели в Павле Петровиче Бажове человека, верного заветам русской демократической интеллигенции, одного из тех, кто всем сердцем принял Октябрьскую революцию и предан ей был до конца.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

В середине июля 1943 года свердловская делегация отправлялась в Пермь, на межобластную литературную конференцию. Здесь должны были встретиться три города — Свердловск, Пермь, Челябинск.

Отъезд нашей делегации оказался поспешным. Билеты мы получили часа за полтора до отправления поезда. Рассчитывать на хорошие места нельзя было; все, что смогли для нас сделать, — это начать посадку с нашей делегации, чтобы мы могли первыми войти в вагон и разместиться в нем кучно, всем вместе. «Колхозники» и тут оказались дружными и организованными. Мы прорвались вперед и заняли для Павла Петровича нижнюю полку. Целый отсек вагона заполнила свердловская делегация.

Шумно и весело устраивались на ночь. Постелей, конечно, никаких не полагалось. Вагон был жесткий. Подстелили куртки, пальто, кто что захватил. В вагоне царил полумрак. Электричества не было, горели где-то две-три

свечки, вставленные в пустые бутылки. Павел Петрович не ложился, сидел у окошка, за которым уже побежал холмистый лесной пейзаж, и глядел в ночную синеву.

Едем, едем, — вагон потряхивает на стыках рельсов, длинные тени качаются на стенах и потолке, лиц в темноте не разглядеть. Лишь красный огонек самокрутки, которой попыхивает Бажов, разгоревшись, выхватывает из черноты то прищуренный глаз, то красивый, ясный его лоб, то обрисует размытый силуэт лица, сильные плечи, обтянутые неизменной темно-синей гимнастеркой, в какой ходить всегда и сподручнее и привычнее Павлу Петровичу.

Молчим. В других отсеках вагона звучат голоса: наши делегаты все еще переживают события последних дней, предотъездные волнения, еще идут какие-то незаконченные споры. Но постепенно разговоры и смех редеют, начинают стихать, вагон потряхивает, покачивает, за окном бегут темные силуэты деревьев. Едем... едем...

И тут Павел Петрович задумчиво спрашивает:

— Как полагаете, быль или сказ?

Голос его звучит глуховато, словно издалека, из этого ночного, синего Урала там за окном — колдовского горного Урала, сказочного озерного края. Павел Петрович, видно, настроен на добрую, неторопливую беседу, упускать ее нельзя. Несмотря на усталую разморенность, я быстро отвечаю:

— Быль обязательно, но и сказочное тоже...

Огонек самокрутки разгорается, вьется легкий дымок.

— Верно, — говорит Бажов, — это рассказ с элементами фантастического, неправдоподобного. Побывальщина — иное, там нет фантастики. Прошлое подкрашено чуть-чуть. А сказ — это всего лишь недостоверное свидетельство. Апокрифы — вот вам сказ. Правда, греческое название брать ни к чему — оно подчеркивает религиозный и церковный характер повествования. А в сказе его нет и не должно быть.

Удобна форма сказа, подходяща... Возьмите вот Ермака... Все, что говорится о нем у меня в сказе «Ермаковы лебеди», я и от горщиков слыхал и в печатном виде видел. Но все это исторически недостоверно. Не

имею права рассказывать об этом, как о фактах, а вот в форме сказа говорить можно.

Сказ — неписаная история, изустно передаваемая в народе от поколения к поколению. Тут и документальности нет и фантастика подмешивается. Но все же в основе быль... Надо знать свой край, и как люди жили, о чем думали...

Замолчали снова. В вагонном окне уже исчезла синева, оно потемнело, в его прямоугольнике то сгущалась, то таяла чернота, неясные пятна строений и деревьев проносились мимо...

Павел Петрович, я догадывалась, начал разговор неспроста. Он знал, что я еду на конференцию с докладом о нем, и осторожно, стараясь меня не обидеть, направлял мое внимание на основу своих сказов — на историю края, на своеобразие быта старого уральского рабочего. Не раз уже в наших беседах он говорил мне, что дело совсем не в личности автора, а в той жизненной почве, на которой только и могли возникнуть сказы «Малахитовой шкатулки». Я помалкивала. У меня уже сложилась своя концепция, и хотя риск был разойтись с Павлом Петровичем на конференции, — он тоже выступал и, главное, после меня, с докладом «Работа по собиранию уральского рабочего фольклора», — я не уступала, считая «Малахитовую шкатулку» явлением современной литературы. Но слушать Павла Петровича, когда он говорил о труде и философии среды, из которой сам вышел, было увлекательно и полезно.

Я сказала, что больше всего мне по душе оптимизм героев «Малахитовой шкатулки». Не хныкающие, не несчастненькие люди, а боевой, крепкий, веселый русский народ.

Павел Петрович, явно довольный, продолжил разговор:

— Уральцы — пионеры края. Существует предвзятое мнение, что уральское население состоит только из ссыльных. Нет, Урал населен людьми, которые пришли в новые места своей волей: воля могла быть полной или полуполной. Именно эти люди, которые пришли на новые места, создавали фольклор.

Мне много их пришлось наблюдать в Западной Си-

бири, где недавно происходило то же самое, что у нас на Урале двести лет назад, — заселение края. Новые поселенцы — сильные люди; человек «слабых кровей», он не поедет. А это все люди «ищущие», с выдумкой, в тяжелых условиях борьбы с природой они не теряли ни своей выдумки, ни бодрости духа.

Был как-то я за Тавдой. Там только лишь налаживалась железнодорожная ветка, глухой край. Ездил, конечно, по заданию газеты. Заблудились в поселках. В Самоходах оказались. Глухомань. Единственный самовар у бабушки Шпунтихи. Нашлись яички, и сметана, и маслице. Бабка обрадовалась — приезжие люди. Угощала на совесть...

Шпунтиха со своим кланом с Украины. Все скулят: то, другое плохо. Комара много. Необжитое место, низкое. Коров некуда выпустить. Страсти!..

Я спросил:

«На кой дьявол сюда поехали?»

И тот же самый собеседник, который жаловался, ныл, преобразился:

«Лес ведь, речка, земля хорошая!..»

Ходоки на разведку ходили. Они-то и соблазнились лесом. Когда приехали на место, лес пришлось рубить, жечь. Но не бегут, жалуются, а продолжают борьбу. Да, наши люди любят языком почесать. Если бы была настоящая унылость, человек сложил бы руки... Уныния нет там, где работают. А злость в работе и суровость характера содействуют успеху. Все выдержат, не согнутся...

Снова слышен стал размеренный перестук колес. Внезапно отчетливо и громко заговорило радио, до того что-то невнятно бормотавшее в тишине засыпающего вагона. Передавали военную сводку. Сразу затихла какая-то дальняя перебранка незнакомых нам, случайных попутчиков. Двое из них перессорились, разругались. Обиженный в ответ на довольно живописное поношение, где и матерок был, возмущенно говорил обидчику: «Что вы уточняете, что вы уточняете сами не знаете что...» Замолчали и они. Слушали, как и все в вагоне, ясный голос диктора из Москвы. И сердца откликались на слова сводки: «Выстояли, выстояли...»

Передача по радио так же внезапно закончилась, как и началась. Недолго, но оживленно еще переговаривались люди. Однако под монотонное покачивание вагона вскоре потянулась сонная теплота, стало дремотно.

Павлу Петровичу не спалось. Он продолжал разговор с того, на чем нас прервало радио.

— Рабочий в своей массе благороден, — говорил Бажов. — Он подымал государство, основал нашу промышленность. Он-то создавал и новый фольклор.

В первую полосу освоения Урала пригнали сюда людей босых, рваных. Но эти люди заложили здесь могучую — даже по тем временам — промышленность, укрепили государство. Забывать об этом нельзя.

А фольклор рабочий был фальсифицирован, подменен купецкой удалью, плясовыми. По четырнадцать часов поработаешь с восьмилетнего возраста — не запляшешь. Я полемизирую с теми, кто эти плясовые выдает за народный фольклор.

Прочтите Писемского — мнение о рабочих сороковых годов прошлого столетия, — он откровенно, даже упрощенно говорит то, что другие вуалируют: рабочие, по его мысли, спившиеся крестьяне, развратившиеся на фабриках. Отсюда рабочий фольклор — ухарский. Считали, что рабочие могут дать только частушки и больше ничего. Неверно это. Ухарские песенки охотнорядские молодцы составляли, а не настоящие рабочие.

Когда я писал «Малахитовую шкатулку», и не думал, что это у меня полемический задор: просто хотел, чтобы заговорил сам рабочий. Мое мнение, взгляды — это мнение уральского рабочего. Но он не мог его сформулировать, вот в чем разница.

Нет, документации исторической не верю. Писалось ведь с других классовых позиций. А народная аргументация хранится в сказах, в побасенках, в рассказах рабочих о самих себе — это и является второй историей.

Полоса яркого света упала в окно, выхватила из темноты лицо Бажова, умное лицо русского трудового человека, многое в жизни повидавшего, спокойно-доброжелательного, дельного...

Поезд проскочил мимо какой-то небольшой станции, и снова за окном неслись черные облака и деревья, и

лесистые сопки начинали уже уступать свое место равнине. Сильный, несокрушимый и сказочно прекрасный Урал жил, дышал совсем рядом. Все было в нем, все, что довелось повидать, — и свинцовое зимнее небо Нижнего Тагила, освещенное снизу огненными всполохами домен, и мачтовый сосновый лес Кыштыма, города, где в закатной золотой воде озер отражалась темная сопка, и весенний разлив Уфы под Красноуфимском, дикие заросли шиповника по ее берегам. А сколько еще неувиденного, неузнанного...

Но душа горного края открылась нам в дни войны, нам, невольным скитальцам, во встречах с уральскими людьми, в общих делах и в книге причудливых сказов «Малахитовой шкатулки».

— Мои сказы, — говорил Бажов, — голос того человека, что не дошел до нас, дошел он через меня. Мне хотелось быть голосом своего класса, уральского рабочего класса.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

Как все изменилось к осени 1943 года! Словно сильным штормовым ветром повеяло над нашей землей. Фронты двинулись на Запад. Ежедневные сводки сообщали о новых и новых победах. Всех это радостно волновало. Строили стратегические планы, старались предугадать дальнейший ход военных операций. На улицах, в столовых, на работе люди только и говорили, что о наступлении, о наших освобожденных городах и селах.

Однажды, запыхавшись, прибежал в «колхоз» литературовед И. Эйгес. С порога он закричал:

— Подумайте! Мы приближаемся к «Запискам охотника» — Щигры взяли!

А в день, когда фашистов выбили из Харькова, еще до того, как об этом объявили по радио, весть о победе разнеслась по всему Свердловску. Нам в «колхоз» позвонила одна из сотрудниц местного издательства и дрожащим голосом спросила, что мы знаем о взятии Харькова, Сталино и Макеевки. Мы ничего не знали. Бросились к соседям, в редакцию «Уральского рабочего», — там не знали ничего тоже. Звонили в ТАСС, на радио,

в обком — нигде никаких сведений о Харькове еще не было. А город кипел...

Юрий Верховский пришел к нам сказать, что ему звонили из Камышлова, — и там уже пронеслась та же весть.

Наконец в последних известиях новость о Харькове подтвердилась.

Откуда же взялся слух? Говорят, что утром эту радостную весть передали по телеграфу, и работники почты, взволновавшись, высунулись из своих окошечек и рассказали о взятии Харькова посетителям, оказавшимся в этот момент в помещении, а те разнесли новость по городу. Как страстно всем хотелось, чтобы фашистов гнали все дальше и дальше с нашей земли.

В 1943 году начали разъезжаться эвакуированные коллективы, люди возвращались в родные города. В конце мая уехал последний эшелон Московского университета. Заканчивалась реэвакуация Театра Красной Армии. К лету в Свердловске оставался один только спектакль — «Давным-давно». Готовились дать два прощальных представления — и затем... в Москву.

Уезжала со всем своим кланом Мариэтта Шагинян, как всегда кипучая, полная творческих замыслов. «Колхозники» провожали ее на вокзал. Мы в ту пору в свердловской писательской организации были самыми молодыми и, естественно, принимали участие во всех отъездах, или «весенне-осенних перевозках», как их шутя называли в «колхозе». Да, это была веселая «нагрузка» — провожать друзей по домам. Помогли Мариэтте Сергеевне погрузиться, устроиться в вагоне. Сначала в суете и толчее посадки говорить было некогда. Но вот хлопоты пришли к концу и настали те недолгие минуты перед отправлением поезда, когда кажется, что должны быть сказаны какие-то важные слова, подведены итоги целого периода жизни. Ведь он сейчас завершится, с негромким паровозным гудком, с первым стуком колес, с началом движения поезда вперед, к новой жизни.

Сидели в переполненном купе у Мариэтты Сергеевны. Было тесно, шумно, все говорили вразброд о несущественных мелочах. На вагонном столике возвышалась большая клетка с пестрым, ярким попугаем. Он был стар и

мудр и тоже вмешивался в бестолковый предотъездный разговор. Это вносило добавочную сумятицу.

Неожиданно в какую-то из случайных пауз Мариэтта Сергеевна сказала:

— Распрощались мы с Павлом Петровичем... Вы ему привет еще и с дороги передайте. Не понимаем мы его, глыба это, сплав многих элементов — исторических, быта уральского, философских, мировоззренческих, если хотите. В горных недрах так порода образуется... Время нужно, чтобы понять такое явление, как «Малахитовая шкатулка». Далекая, казалось бы, история, а целиком в нашей эпохе... Диалектика!.. А как полно выразил Бажов свой край, всё — говор, обычаи, душевные качества уральского горнорабочего. И природу Урала... Создал образы земли: руда, золотоносные жилы, «верховое золото», малахит — все ожило, заговорило. Настоящего художника по этому-то и узнаешь. Уезжаю и увожу с собой Урал, весь он в бажовской книге... Нет, ничего еще мы в глыбище этой, в Бажове, не понимаем. Я о нем писать буду обязательно. За высокую литературу воевать нужно. Сама о нем напишу...

Мариэтте Сергеевне как воздух нужна полемика, необходим противник. Она вызывала нас на спор и сердилась оттого, что никто не возражал ей, что некого было ниспровергать, утверждая свое... Но спорить уже некогда, поезд вот-вот отойдет.

На другой день после отъезда Шагинян встретились мы прямо на улице с Павлом Петровичем. Я бежала в столовую. Он шел в Свердловское отделение Союза писателей. Выглядел очень плохо — совсем серое лицо, морщины резко пролегли на щеках и под глазами. Пожаловался, что скверно себя чувствует, впору хоть в больницу ложиться.

Слова Павла Петровича были так неожиданны и непривычны, — никогда еще от него не слышали мы ничего похожего на признание в усталости, — и я как-то не нашлась что сказать... Видно, и у него сказывалась душевная и физическая измотанность за два напряженнейших военных года. И все же не обошлось у Павла Петровича без шутки, посмеялся над самим собой, своими

немощами: по чину и званию, мол, полагается охать да кряхтеть — дело стариковское...

Я передала ему слова Мариэтты Сергеевны, ее прощальный привет. Бажов выслушал внимательно и серьезно сказал:

— Разъезжаются люди, и какие... даровитые, образованнейшие... Вот закрепить бы их за Уралом, условия создать, интересной работой соблазнить бы... А то что ж — всё Москве... И ведь уже прижились здесь многие, огляделись, полюбили наш край...

Несмотря на обычную бажовскую деятельную веселость и энергию, встреча эта породила смутную тревогу. Впервые я заметила, какое худое лицо у Павла Петровича, какое тяжкое утомление залегло в каждой черточке, в глубине глаз. Не тогда ли ощутил впервые Бажов начало смертельного недуга? Годы войны уже наложили свою страшную мету на этого удивительного нашего художника. Но ни он, ни окружающие еще ничего не знали. И только неясное предчувствие на мгновение сжало сердце. Мы разошлись, чтобы заняться повседневными делами, которых, как всегда, было много, и казались они важными и неотложными.

Я обернулась вслед Бажову. Он своим быстрым шагом уходил от меня вверх по широкой солнечной улице Ленина. Словно почувствовав, что я гляжу, Павел Петрович не останавливаясь бросил взгляд через плечо. И улыбнулся — какой-то доброй смущенной и успокаивающей улыбкой: «Все образуется...» Он любил это смешное толстовское выражение...

Как часто бывает тут, на Урале, в секунды все внезапно резко изменилось на улице: откуда-то из-за угла вырвался резкий, холодный ветер, стремительно понеслись темные тучи, сразу стало дождливо и пасмурно. Бажов прибавил шагу и скрылся в дверях Дома печати. А я пошла своей дорогой.

Такой тревожной потом вспоминалась эта встреча...

В сентябре 1943 года настал черед уезжать и нам. Вызовы из Москвы были получены уже давно. Мы несколько раз их продлевали: я кончала книгу о Бажове и не хотела отрываться от местных материалов, которых в Москве и не достанешь. Целыми днями просиживала в

прекрасно оборудованном парткабинете все в том же Доме печати. Здесь очень хорошо работалось, несмотря на то, что неизменно в середине дня сотрудники кабинета с неизвестными целями начинали забивать гвозди и очень обижались, когда посетители принимались протестовать. Но и в этом было какое-то очарование таинственных и непознаваемых закономерностей...

Грустно было расставаться с Уралом, с писательским нашим коллективом, с бодрым и дружным «колхозом» — со всем, что стало уже родным и дорогим сердцу. Настал вечер, когда мы пошли в гостеприимный дом Бажовых прощаться с Павлом Петровичем и его семейными.

Еще над городом буйствовал яркий уральский закат. Казалось, что кто-то поспешно сдирает с пламенеющего неба темную, тяжелую завесу туч. Над крышами домов все играло бесчисленными оттенками и тонами красного. Многоэтажные здания засверкали перламутрово-багряной чешуей окон. Затем небо внезапно ярко вспыхнуло огнем, и сразу стало темнеть.

Чем дальше мы уходили от центра, от широких и шумных его магистралей, застроенных высокими, новыми домами, тем становилось темнее и тише. Старый Екатеринбург нехотя, по-стариковски ворча, отступал перед натиском современного Свердловска. Там и сям виднелись еще одноэтажные деревянные домишки с палисадничками, заборами, собачьими будками, где покладистые, сонные псы должны были играть устарелую роль свирепых сторожей. Однако мы уже не обманывались — мы знали душу старого Урала. Она была новой, молодой, несмотря на старые одежки быта, несмотря на эти деревянные дома, которые казались еще старожилам и привычнее и проще. Но все уже внутри сдвинулось с места, менялось прямо на глазах.

В одном из старинных, рубленых домов жил и Павел Петрович. Дом давно потемнел, крылечко покривилось, маленький садик вокруг был добрым и трогательным, но каким-то ненастоящим, словно по кусочкам перенесенным из далеких воспоминаний: кусочек огорода, скамеечка, два куста сирени, немного травки. Все вместе напоминало уголок старого горнозаводского поселка с его укладом жизни, с его бытом. Впечатление это крепло,

когда посетители входили в темноватую прихожую, а затем попадали в просторные, чистые комнаты, где во всем заметна была женская заботливая рука. Все здесь казалось давно знакомым, обжитым и приветливым. И словно только что вымытые, свежие полы, и блестящие фикусы в углу у окна, и кружевные занавески, и старая, прочная мебель — все лишь самое необходимое, то, что для жизни, а не для украшения, и, наконец, стенные дедовские часы, которые, кряхтя и вздыхая, напоминали о движении времени.

Навстречу нам вышла Валентина Александровна Бажова, жена Павла Петровича. Спокойная, немногословная, домовитая уральская женщина. Говорит она на том чистом, певучем русском языке, который сохранился, пожалуй, лишь в глубине страны. Слушаешь ее — и похоже, что где-то в лесной гущине неторопливо пробивается прозрачный родник. Глаза у Валентины Александровны живые, карие. Волосы черные, без седины, и выглядит она рядом с Бажовым совсем молодой, а ведь прожили они вместе уже большую, трудную жизнь.

В доме Бажовых нам с мужем рады. Павел Петрович одет по-домашнему, в старом, тщательно заштопанном вязаном свитере. Он усаживает нас около своего письменного стола. Сбоку на стене подвешена большая открытая книжная полка. На ней труды по истории Урала, словари, различные уральские сборники и альманахи. На столе беспорядок: здесь грудой лежат газеты, журналы, рукописи. Среди них затерло электрическую лампочку. Она на тонкой медной ножке, с маленьким зеленым абажуром, на который надевается сверху еще и самодельный, из плотной бумаги.

Лежит на виду рукопись, — шла работа над новым сказом. На простом тетрадочном листке в клетку Павел Петрович пишет неторопливо, тут же перечеркивая и переделывая, своим старинным, узорчатым почерком. Буквы короткие и круглые, с завитушками, и читать этот почерк трудно...

Разговор у нас деловой. Я прошу разрешения «добирать материал», то есть ставить в письмах вопросы, которые мне нужны будут для книги, и главное — получать ответы. Павел Петрович обещает писать честно, «по

пунктам»... «Хождение по канату», — шутливо говорит он. Но Бажов человек слова, раз обещал — сделает. Так начинается наша многолетняя переписка. Приготовлены в подарок книги — первое издание «Уральских былей», первое издание «Зеленой кобылки», подписанное шутливым псевдонимом «Егорша Колдунков», и новый сборник сказов «Ключ-камень», который Павел Петрович дарит нам «на добрую память об Урале и его людях».

Валентина Александровна изредка вставляет в разговор одно-два слова, тихо выходит и входит, хлопоча по хозяйству, готовясь угостить нас чаем. На стол ставятся, как в обычное время, и хлеб и сахар, но вежливые гости военных лет крепко помнят, что все это из пайка, который делится в доме Бажовых на большую семью, и поэтому не набрасываются на еду, а дегустируют ее чисто символически. Но зато горячий и крепкий чай — перед ним устоять невозможно. В комнате холодновато, уральские ветры насквозь продувают старый бажовский дом.

Пора уходить. Хозяева хотя по-уральски сдержаны и скупы на внешнее выражение своих чувств, все же явно опечалены. Павел Петрович как обычно шутит, отвечать мне на письма обещает, но не скрывает, что я, по его мнению, поступила весьма опрометчиво, хоть и «мыслящая женщина»: избрала ненадежный «объект исследований» и еще хлебну с ним горя. Валентина Александровна просто-напросто обняла и расцеловала меня. «Бойся не гостя сидячего, а гостя стоячего», — говорит Важдаев; на пороге жмем руки, прощаемся и выходим в темноту улицы.

Уже наступила ночь, ветреная осенняя уральская ночь. Мы идем по улице, ставшей какой-то незнакомой и тревожной. В черном небе несутся молчаливые облака. Ветер хлопает чьей-то калиткой, скрипят где-то старые ставни. Пусто и холодно. И только позади стоит маленький, темный, бревенчатый дом Бажовых, и уже далеко-далеко светятся его добрые окна.

Москва



КЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

1

Многие значительные моменты литературной деятельности Павла Петровича Бажова связаны со Свердловским государственным издательством, где он работал долгое время и где впервые были изданы все его произведения.

Осенью 1932 года, когда я поступила на работу в это издательство, тогда именовавшееся Уралогизом, Бажов был уполномоченным Обллита. Его стол с аккуратно разложенными рукописями стоял у дальней стены большой полутемной комнаты редакционного отдела. Все книги и плакаты, какие выпускал Уралогиз, проходили через Павла Петровича.

Позднее, в 1933 году, ему был поручен самый горячий и ответственный участок в издательстве — редактирование сельскохозяйственной литературы.

На этом участке Бажов проработал недолго, перешел на редактирование социально-экономической литературы, которая больше соответствовала его склонностям. Он усиленно работал тогда над воспоминаниями участников

гражданской войны. Готовил к печати свою четвертую очерковую книгу — «Бойцы первого призыва».

Долгое время мы знали Бажова только как очеркиста, и потому для нас несколько неожиданным был его переход к уральским сказам. Поскольку первые сказы были первоначально опубликованы в сборнике «Дореволюционный фольклор Урала», то мы восприняли их как обыкновенные фольклорные записи преданий. Когда же потом появились еще несколько сказов в местном альманахе и затем в журнале «Красная новь», все увидели, что это не простые пересказы уральских преданий и былей, а подлинные художественные произведения. О сказах заговорили.

В октябре и ноябре 1937 года Бажов написал два новых, еще более сильных сказа — «Малахитовая шкатулка» и «Каменный цветок». Их тотчас взял альманах «Уральский современник», только что ставший органом Союза писателей.

Вскоре мы получили из правления Огиза внутреннюю рецензию на первый номер альманаха. Из всех авторов рецензент выделил Бажова. Высоко оценив его сказы, он советовал издательству опубликовать их отдельной книгой.

Такая рекомендация была нам нужна. Руководство издательства еще сомневалось: нужно ли продвигать их в широкую массу читателей? История да еще фантастика — кто знает, как отзовется критика?

Для Бажова большой интерес представил полученный в то же время отклик ленинградского писателя А. Г. Бармина, который пробовал собирать уральские горнозаводские мифы.

«Малахитовая шкатулка», — писал Бармин, — чудесная вещь. Это не фольклор, конечно. В фольклоре не бывает личной психологии. Интересно сочетание доподлинного уральского быта с фантастикой всемирных легенд. Бажову выпала редкая удача — найти дорогой самоцвет и суметь его огранить с любовью и знанием художника. Когда-то я пробовал собирать сказы, и мне показалось, что они погибли, недозрев. Все обрывки или недоростки».

Издательство стало готовить сборник сказов. Начало 1938 года было для Бажова периодом большого творческого напряжения. Особенно март. Он написал за один этот месяц четыре сказа — «Две ящерки», «Тяжелая витушка», «Горный мастер», «Кошачьи уши».

Издательство поторапливало типографию и само усиленно хлопотало, готовя оригинальный, дорогой переплет для нескольких выставочных экземпляров. На обложку должна была лечь настоящая малахитовая пластинка и серебряная ящерка с зелеными глазами — самоцветами.

Самого Бажова эта суета вокруг его книги больше беспокоила, чем радовала.

Отправив в печать последний сказ для сборника «Малахитовая шкатулка», Бажов приступил к новому циклу сказов. Первым в этом цикле был «Синюшкин колодец». Этот сказ вызвал в нем много сомнений, и он время от времени делился со мной своими размышлениями.

— Значит, я «Синюшкиным туманом» начинаю цикл сказов про первого добытчика. У меня уже копошится в голове много тем, но только еще тем. Цикл таких сказов даст мне возможность выйти из Полевой и действие перенести в другие местности.

Вот сказку про бабку Синюшку я не знаю — кончить ли в мажоре или миноре. Как будто бы в миноре: парень погиб от смертной тоски. Но вы меня сбили... Народ свои сказки кончает победой добра. Да, это правильно. Так оно... Потом у меня три перышка. Красное — на жаркий день. Оно опять меня уводит к мажору. Хотел я такую деталь обыграть. В ту пору в Мраморском девки славились красотой. Но не долговеки: чахотка. Так и говорили: «На мраморской жениться — вдовцом быть». А парней манит. У них, чахоточных, красота, сами знаете. Вот, если парня в эту сторону повернуть? Легенд этих о тумане до черта. По правде сказать, сказка про синий туман не так говорится. Старатели, как солдаты, женщин подолгу не видят. И в сказках, понятно, они обязательно приплетут женщину. На этом и бабка Синюшка построена. Парень, девка и все такое... Вот образ Медной горы Хозяйки тоже из этого же исходит.

Помолчав, сказал:

— Я пишу и думаю, а это мельче «Каменного цветка». Какая здесь идея? Никакой.

Заговорили о книге «Малахитовая шкатулка».

— Вашу книгу будут брать нарасхват.

— Верно, — подтверждал он и усмехался. — Книг-то ведь нет в продаже, любую расхватают.

Дня через два у нас произошел более обстоятельный разговор о сказе. Бажов был очень критичен к себе. Пересматривал разные элементы сказа.

— Бабка Лукерья не много ли говорит? Я уж ее сокращал. Все-таки длинно, кажется. Илья — немного неудобное имя, когда берешь его с предлогом. Хорошее имя Егор, но оно у меня уже есть в «Зеленой Кобылке». Что, если ему дать прозвище «Богата богатина»? Из женских имен хорошее имя Домна. Девки в «Бабке Синюшке» мне не нравятся. Мертвые столбы. А чего не хватает — не могу понять.

Я сказала, что «Синюшкин колодец» несколько отличается по стилю от прежних его сказов, которые вошли в печатающийся сборник. Бажов согласился:

— Я сам чувствую. Это другой стиль. Ни одного «слышь-ко» не употребил. Хмелининские сказы — те густо обросли бытом, поминутно отходы в сторону. Здесь этого нет. Обнажена фабула. Я мог бы и усложнить. Внести подробности, как он работал на прииске, но мне не хочется. Можно два колодца — два глаза, бездонные, понимаете?

Павла Петровича смущало и начало сказа.

— А что, если «Бабку Синюшку» начать так?.. — и он сказал тот текст, который затем стал окончательным.

Не раз затрагивал Бажов в разговоре с нами вопросы художественного мастерства. Как-то с добродушной усмешкой обронил:

— Надоели до тошноты все эти «сказал», «возразил». А куда денешься? Нельзя без них. Вот, например, Василий Шуйский: «сказал заискивающе» — и все ясно. Черта для характеристики. И главное — экономно. Читатель между прочим проглатывает. Мне в сказах удобно: «А он и говорит».

В связи со сказом «Таюткино зеркальце» он сказал:

— Вот детали. Иногда за целый вечер только одно слово найдешь. Бывает. Вот мне надо было найти крепление-название. Приблизительно нельзя. Надо точно. (Бажов привел два немецких названия.) Эти нельзя. Мне надо русское. Чтобы обозначало прочность и для того времени подходило. Нашел! «Двойной переклад из лежаков». За один вечер одна деталь. Видите...

Помню, с каким раздумьем были сказаны эти слова: «За один вечер одна деталь».

Яркое выразительное слово Бажов искал повсюду. Однажды он сказал:

— Вот в журнале «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» есть слово — «брызгальная звезда». «Брызгальная звезда», — как замечательно! Я его обязательно введу куда-нибудь. Книгу забудешь, а это слово никогда.

— Ребята бы поняли это слово.

— Конечно. Ведь народная речь так непосредственна, она всегда близка детям.

Вдумываясь в сказочные образы, созданные народной фантазией, Бажов неоднократно останавливался на том, какие реальные явления в природе обусловили их появление.

Эта тема его волновала. Его догадки и предположения были всегда очень конкретны. Указывая на то или иное явление природы, которое может породить в народном воображении сказочный образ, он, однако, никогда не был категоричен в своих утверждениях. Вообще категоричность была чужда его натуре.

Разговор о происхождении фантастических образов начался однажды с общих замечаний о сказах.

— «Дорогое имячко» — это сказ, конечно, более позднего происхождения. Это ясно. Ну, другие связаны с личностью первого Турчанинова... А вот о фантастике... Есть на Урале медяница. Она маленькая, вроде земляного червя. Посмотришь — бронзовая, вся в блестках. Похожа на камень — там такие же блестки. Вот и легенда: медяница проходит сквозь камень и оставляет след. Я об этом пишу в «Змеином следе». Думаю, что и на демидовских заводах возникали подобные же сказы. Но рабочий сказ облекался часто в грубую форму. Если

отбросить эту оболочку, то останется правильное зерно. У Всеволода Лебедева есть намеки на Хозяйку горы: горная девка поднялась за облака и рассыпалась, отсюда и богатство в разных местах... В Мурзинку, если сунуться, там наверняка много такой чепухи занятной. Камень! Цвет! Все это должно вызывать образ, желание объяснить как-то. Или на Хрустальной... Да вот Березовск под рукой. Сколько там сказов — до черта! Правда, кладоискательских: как найти, как обойти. Мне случалось бывать в казахских степях. Ровно — и вдруг грива. Названия: Черная грива, Белая грива. И верно, похоже...

Этот разговор дал толчок к тому, чтобы предложить Бажову написать статью для альманаха «Уральский современник». Павел Петрович довольно быстро написал ее. Это были воспоминания «У старого рудника» — ключ к пониманию происхождения «Малахитовой шкатулки».

2

Свои сказы Бажов предназначал для взрослых. Но скоро читатель приметил, что фантастический элемент, присутствующий в сказах, чрезвычайно близок детскому восприятию. И потому никто из нас не удивился, что очередной сказ, принесенный им для «Уральского современника», оказался как будто специально написанным для малышей. Это было «Серебряное копытце».

Общее ли наше восхищение или другое что побудило Бажова щедро отозваться на предложение редакции детской литературы дать что-либо для формирующегося тогда детского альманаха. Он дал сказ «Золотой волос» и автобиографическую повесть «Зеленая кобылка». Тогда меня несколько смущало то, что в одном номере будут два произведения одного и того же автора. Павел Петрович охотно согласился поставить под повестью псевдоним и, посмеиваясь, сообщил тут же: «Егорша Колдунков».

В 1939 году вышел в свет альманах «Золотые зерна». Кроме издательских работников, никто, даже местные литературные критики, не знал, кто скрывается под псевдонимом «Е. Колдунков». «Неизвестного» автора тотчас заметили. Его приход в детскую литературу сердечно приветствовал в газете свердловский критик К. Боголюбов. Бармин запросил из Ленинграда: «Кто этот Колдунков? Почему я его до сих пор не знаю? Не первая же его вещь «Зеленая кобылка». Хороший язык, понимание детскости, владение фабулой, экономия средств в создании характеров, наполненность пейзажей и бытовых описаний — все доказывает, что автор не новичок. Вы устроили конкурс на читательский успех: «Напишите, что лучше всего?» Если бы мне было двенадцать лет, я написал бы: «Дорогая редакция, из альманаха мне больше всего понравилась «Зеленая кобылка».

Бажов с улыбкой читал все отзывы. Они радовали его, но в то же время он как будто не вполне верил им. Ему казалось, что его перехваливают.

— Интересно, что о Колдункове говорят. Очень интересно, — говорил он, когда читал рецензию на «Золотые зерна», — «Освободить от местных речений». Нельзя. Это же характеризует то время. Вот интересно, как ребята отзовутся. Они — самое главное. У взрослых другая мерка... Как эпизод со сметаной, моя юмореска, доходит, нет?

После выхода «Малахитовой шкатулки» мы предполагали, что Бажов вернется к давно начатой им исторической повести об атамане Золотом, которую он еще в 1936 году давал читать Р. Фраерману, приезжавшему в Свердловск. И мы были довольны, когда Бажов принес в издательство творческую заявку на эту повесть.

В то время и позже я не раз досаждала Павлу Петровичу с другим напоминанием: сделать вторую автобиографическую повесть — «Крашеный панок», которая, по его словам, целиком уже сложилась в голове. Вначале он твердо обещал ее написать, а потом в ответ лишь с добродушным смехом отмахивался. Признался как-то:

— «Крашеный панок» я ведь начинал. Есть начало. Дед Филат, мастерская. У меня, значит, нажим на труд, на дружбу. Сейчас, когда вспомнишь старый быт, думаешь: было ли на самом деле? А было, все было...

Бажов отодвинул в резерв и повесть про атамана Золотого и «Крашеный панок». Так и не нашел для них времени. Писал сказы до конца жизни.

Весной 1939 года в редакции формировался новый сборник «Морозко» — для детей, на этот раз младшего возраста. В него вошла сказка «Серебряное копытце». Но этот сказ был уже известен детям. Хотелось, чтобы Павел Петрович написал что-нибудь новое и обязательно зимнее. Я обратилась с этой просьбой к нему. И он обещал дать «Поскакуху» («Огневушка-поскакушка»). Через некоторое время я обратилась к нему за новой сказкой.

— Вы говорите, что в «Морозко» еще надо сказочку. Не знаю. О «Поскакухе» я думаю. Еще наклевывается одна. Но пока она в дремотном состоянии. Съезжу в Полевую — обновлю. Что же такое о зиме? — задумчиво соображал он, покуривая. — Елку? Страшно захватано. Разве снежную пыль? Знаете, она с елки вот так, — он махнул своей маленькой крепкой рукой: — Красиво! Может быть, ее.

Бажов не написал о снежной пыли. «Морозко» вышел с двумя его сказками. Их появление было отмечено в печати. Знаток детской литературы И. Халтурин писал:

«Морозко» — любитель устраивать сюрпризы. Таким его новогодним подарком явились для нас две сказки П. Бажова: «Огневушка-поскакушка» и «Серебряное копытце». Это удивительные сказки, не имеющие предшественниц в русской литературе. Люди, с которыми в этих сказках происходят чудесные вещи, — трезвые, реальные люди. Мы ощущаем их так хорошо, что завтра можем с ними встретиться, поговорить, попить чайку и нисколько не удивимся. И в то же время мы верим тому чудесному, что случается с ними. Не много было в русской литературе сказочников-прозаиков: Погорельский, Одоевский, Кот Мурлыка. Бажова мы смело можем причислить к этим мастерам литературы... Рядом с его сказ-

ками даже сказка признанного классика детской литературы Мамина-Сибиряка «Пора спать» выглядит искусственной, инфантильной, слащавой. Вот это и есть соревнование старого и нового».

Бажов продолжал писать для детей. Хотелось ему дать ребятам специальный сборник — «Горные сказки», включив в него из старого, что подойдет, и новое.

— Может быть, «Горные сказки» сделать только из новых? — высказал он как-то предположение и стал перечислять, что может войти в эту книгу: — «Серебряное копытце», значит, «Золотой колос» — он подходит для ребят, «Ермаковы лебеди», затем «Поскакуха». Еще «Снеговушку»... снеговички такие...

В работе над «Ермаковыми лебедями» Бажова смущали многие моменты. Однажды он сообщил с некоторой нотой виноватости в голосе:

— «Ермаковы лебеди» выходят реальными, без фантастики. Ребятам, пожалуй, не подойдет. Может быть, во время работы что-нибудь придумается. У меня это бывает, — прибавил он как бы в утешение.

В один из январских дней 1940 года Павел Петрович пришел очень утомленный. Долго сидел у стола, полузакрыв глаза. Потом сказал:

— «Ермаковы лебеди» что-то заело, туго идет... У меня сегодня встреча. Я на нее возлагаю большие надежды. Учительница из Ревды, она собирает фольклор, вот хочет со мной посоветоваться и что-то сообщить. А я давно интересуюсь Ревдой.

Затем он стал говорить о постановке в ТЮЗе «Малахитовой шкатулки». Она его как-то особенно интересовала. Мне показалось, что ему было немного удивительно, что вот его герои живут и действуют на сцене.

Спустя дней десять он сообщил:

— Я наконец разрешил затруднение в «Ермаковых лебедях». Мне дали справку, что лебеди живут сто и больше лет, бывает — и триста. А то я думал ввести вторую пару, а мне этого не хотелось. Надо было бы прибегнуть к разным фокусам.

3

Выход «Малахитовой шкатулки» совпал с приближающимся шестидесятилетием Бажова. В отделении Союза писателей, в газетах и театрах шла подготовка к празднованию его юбилея. Начав писать статью о Бажове для газеты «Уральский рабочий», я попросила его рассказать мне в досужую минуту о своей жизни.

11 января 1939 года, вечером, когда посетители схлынули, пришел Павел Петрович в издательство, сел поудобнее около стола и неторопливо стал вспоминать свою жизнь. Я тут же записывала. В статье «Собиратель народных дум» мне не удалось сохранить отдельные детали этого рассказа, и потому считаю нужным привести здесь часть тех записей, которые вскрывают некоторые черты жизни писателя, сказавшиеся затем в его творчестве.

— ...Родился я в Сысерти, но правильнее всего меня назвать уроженцем Сысертского округа. До году жил в Сысерти, затем до пяти лет в Северском заводе. С шести до одиннадцати — опять в Сысерти, потом в Полевском заводе — с одиннадцати до четырнадцати, а с четырнадцати до семнадцати — в Вершинке. Сысерть, Северский, Полевский заводы, Вершинка — это все заводы одного владельца, Турчанинова.

Почему не сидели на одном месте? Отец мой был невоздержан на язык и склонен к запою. Его и «проветривали». Совсем не увольняли — ценили. Он хорошо разбирался в сортах стали, в сварке. По-теперешнему — он был инструментальный завхоз. Но где бы ни ездили, возвращались в Сысерть. Там был дом. Гиря! Бо̀льшую часть сознательной жизни провел в Сысерти. Там были товарищи. В Полевском заводе почему-то не установилось у меня крепких связей с ребятами.

Окончил духовное училище в Екатеринбурге, затем Пермскую семинарию. Нужно сказать, что в те годы духовные школы были самыми дешевыми — десятка в год за правоучение. А уже тогда наблюдалось такое течение — дети духовенства стремились отдавать своих детей в светские школы. В духовных оказывался недобор. Шли

туда по необходимости сироты — дети дьяков, дьяконов. В большинстве случаев, по моим наблюдениям, это были люди физически слабые (ну, бедность, нужда, понятно) и с задатками наследственного алкоголизма. Нужен был приток здоровой крови. С этой целью и открыли вход для других сословий. Дети рабочих, зажиточной части крестьянства. У нас в классе из тридцати пяти человек десять были не из духовных. И характерно, что никто из них не пошел в попы.

Помню, в семинарии у нас был свирепый учитель по русскому языку, его все боялись, но уважали. Он подчеркнет неправильное слово и на полях напишет: ошибка такая-то, писать надо так-то. Задал он раз сочинение «Наш сад». Ну конечно, все написали — клены, вязы, фонтаны, беседки и прочее. Приходит он и говорит: «Я хорошо знаю сады попов, хорошо знаю сады мещанского сословия, но таких садов, как вы пишете, я нигде не видел».

Внимание к народному слову возникло давно. Помню, в последние годы в семинарии был такой случай. Был у меня заводский товарищ Поткин. Наш швейцар-зырянин сообщает мне: «К тебе приходил Петухов». — «Какой Петухов? Нет у меня знакомых с такой фамилией». Швейцар описал наружность. «Так ведь это же Поткин». Швейцар возразил: «Не все равно, потка или петух?» Меня это поразило. Оказалось, у Поткина есть уличное прозвище — Петухов. Посмотрел у Даля: потка — петух, вологодское слово. Достал словарь северных наречий. Присмотрелся к прозвищам — по существу, это переводы. С той поры стал я интересоваться историей своего края.

Интерес к истории проявлялся, вероятно, и раньше, через дедовские рассказы, хотя деда я смутно помню...

Легенд больше чем где-либо я слышал в Полевском заводе. В те годы положение рабочих в Полевой было тяжелое, люди искали заработка где-то около дома. Россыпей было много. Приходилось мне в Полевой наблюдать работу Чурухинских мастерских. Изготовляли там предметы домашнего обихода — пепельницы, подсвечники, ножи для разрезания. Работали на мраморе главным образом. Был и змеевик, орлец. Видел я, как из ремесленника выходит художник. Привезут мрамор —

приемщик бракует: не гож, расцветка не та... «Каменный цветок» — довольно обычная история. Все камнерезы — художники в душе: недовольны достигнутым. Вот на Мраморском, где я бывал, мне посчастливилось натолкнуться на художника. Работали там на откуп — урны, вазы, плиты. Делали по стандарту. Вообще я близко наблюдал камнерезное дело. Знаю особенно мрамор...

Была связь и с каслинскими литейщиками. Живал не раз в Каслях. Был дружен с одним заводским художником-моделистом. Это был конец прошлого столетия, когда в Каслях боролись две группы художников — бытовики и художники изящных вещей в александровско-аракчеевском стиле. Заводская молодежь требовала изображения современности. Она пыталась давать такие предметы — рабочий сапог, кадь, угол избы. Они стремились к мельчайшей копии жизни. Если сапог, то он поношенный, с заплатками. Вот наш, каслинский бахил, в котором мы ходим. А та группа — розеточки. Потом появилась другая идея — давать в чугуне гоголевские типы...

Окончил я семинарию. Куда идти? В высшую школу доступ был накрепко закрыт. Можно было поступать только в три университета: Дерптский, Варшавский и Томский. В Дерптский я не хотел — неметчина, кислый дух, тринадцать классов. В Варшавский — русификаторская политика и все такое — не хотел. Оставался Томский. Но там было только два факультета — естественный и медицинский. Не влекло. Но я все-таки подал. А тогда требовалась характеристика от семинарии. Те дали, но, видимо, не совсем благоприятную — меня не допустили.

Что делать? Стал мотаться. Брался за все, лишь бы иметь заработок. Поехал я учителем в земскую школу около Невьянска, но долго не удержался. Инспектор был дурак, потребовал, чтобы я преподавал и закон божий. Я ушел.

Поступил в Екатеринбургское духовное училище. Здесь и определилась моя специальность — преподаватель русского языка. Проработал я учителем восемнадцать лет.

Наступал вакат — отправлялся путешествовать. Кавказ, Крым и все такое. Но меня это не влекло. Опере-

точно. Я люблю свой лес, сосняк. И больше всего я путешествовал по Уралу. Купил для этой цели велосипед. И совершал дальние поездки — до Богословских заводов.

Помню путешествие по Чусовой: где пешком, где на лошадях. Меня поразили присловья. Не поговорки, не пословицы, а присловья — закрепившиеся слова. Я и подумал: «Поговорки, пословицы записаны, а вот эдакие штучки не собраны, а они могут быть интересны». Эти побаски и стал записывать. Причем меня влекли те из них, где слышались отзвуки бурлачества, чусовской вольницы и т. д. Записал я шесть тетрадей. Это была моя первая краеведческая работа. Но в годы гражданской войны затерялась. И мне ее жаль. Сейчас не восстановить. Иногда ведь записывал то, что только что создалось, свежее присловье. Где же упомнить...

С восемнадцатого года стал я газетчиком. Назначили меня сразу редактором в камышловскую газету. Потом редактировал «Окопную правду» 29-й дивизии. Полоса военной работы: Алапаевск — Нижний Тагил — Кушва — Бисерть. Жили в вагоне. За это время выпустили пятьдесят номеров. Когда вернулся из Сибири, опять стал редактором камышловской газеты. А в двадцать третьем году начал работать в отделе писем «Крестьянской газеты» в Екатеринбурге. Редакция была маленькая: три человека. Писем приходило — ужас! Бывало в день до шестисот, тысяч десять на год. Стилистика замечательная! Любовь к народному слову здесь окончательно и определилась. Отдельные выражения запали на всю жизнь и, вероятно, попали в сказы. Говорю, стилистика замечательная.

Просидел я на письмах семь лет. Писал много о деревне. Давали нам длительные командировки, на месяц, с наблюдательской целью. Я имел возможность поездить по деревням, понаблюдать. Годов пять подряд ездил я в одну и ту же сельскохозяйственную артель, в один и тот же месяц. Писал очерки и книгу «Пять ступеней». Писал я короткой фразкой, чтобы понятнее. Писал для души.

Помню, наметил я себе тридцать два названия — такая кинолента жизни: годы гражданской войны в условиях Сибири и Алтая. Но из тридцати двух названий

я выполнил только одно. А дальше, вы знаете, пошли у меня «полки»: «Полк красных орлов», «Камышловский полк» — историко-революционная серия...

Думал ли я раньше стать писателем? Нет. И вероятно, никаких литературных трудов у меня не было бы, если бы не революция...

4

Хотя Бажов разрабатывал преимущественно темы прошлого, он постоянно и по-писательски зорко присматривался к характерным чертам действительности. И где бы он ни находился, куда бы ни выезжал, (а ездил он часто), — повсюду нащупывал он интересные темы и конфликты. Думаю, что до конца своих дней он делал накопления материала из современной жизни, оставался верен журналистской привычке — чутко прислушиваться к пульсу эпохи.

— Интересная тема. И может, ничего и не выйдет, а отвязаться не могу, — говорил он в начале ноября 1940 года. — Недавно пригласили меня в клуб глухонемых. Ну, я пришел. Людей много. Молодые, старые. Хорошо одеты. У них переводчик. Старый уж. Двадцать лет работал в школе глухонемых. Такой пробойный. Он стал говорить о «Малахитовой шкатулке». Знаками! Мимикой помогает. Вижу — «слушают». Реагируют правильно. Улыбаются, где надо улыбаться. Затем я выступил. Переводчик стоит за мной. Странное чувство. Аудитория большая, человек двести — триста. Хочется, чтобы все услышали. Я напрягаю голос, даже горло заболело. Слышу, переводчик говорит: «В этой аудитории можно не повышать голос». Ну, как ушат холодной воды... Переводчиком, видно, трудно быть. Я взглянул на него — он весь в поту. Потом ко мне подошел один, старый уже, и говорит: «Что же вы не бываете у нас на гранильной фабрике?» Говорит отчетливо. Я сказал. Ему перевели. Ну, поговорили. Он, оказывается, большой знаток камней. Мы с ним сговорились встретиться. Мне хочется сказ один написать о глухонемом. Это уже будет современный сказ. Конечно, не сразу. Надо вечеров пять-шесть провести с ними.

Какое значение имело для сказочного творчества Бажова непосредственное соприкосновение с современностью, может характеризовать такой факт:

В ноябре 1940 года вся страна заговорила о всесоюзном рекорде красноуральского бурильщика Иллариона Янкина, ученика Семиволоса. Янкин на трех перфораторах выполнил норму на 850 процентов, а спустя день дал 1047 процентов. Это был замечательный пример многозабойного обуривания.

Газета «Правда» попросила Бажова написать очерк о знаменитом бурильщике. Это значило — надо съездить в Красноуральск.

Вернувшись из поездки, Бажов неожиданно заговорил о названии нового, мне неизвестного сказа:

— Как, по-вашему, такой заголовок — «Зеркало Хозяйки горы?» А «Горное зеркало»?.. Пока не уложится заголовок, не могу начать.

— Значит, новый сказ?

— Новый. Ездил в Красноуральск. Там скольжение медного колчедана, трещиноватость. Получается зеркало. Я вспомнил одно поверье. Вот над этим и думаю...

Живой образ из современности вызвал в памяти Бажова далекое, давно забытое поверье. Мы не имели бы, вероятно, чудесного «Таюткина зеркальца», если бы писатель не съездил в Красноуральск.

— А очерк у меня не вышел, — сказал он тогда же. — Истории две страницы — ничего, а Янкин — плохо: не говорит.

26 ноября 1938 года в Доме литературы в Свердловске состоялся творческий вечер Алексея Петровича Бондина, давнего друга Бажова. На следующий день они оба пошли в издательство. Зашли «просто так» — посидеть, побалагурить, перекинуться словом о своих творческих замыслах. Они сидели друг против друга около стола в узкой редакционной комнате. Один — низенький, седобородый, неторопливый, другой — высокий, бритый, быстрый в движениях. Но было что-то общее между ними. Непосредственность живого, творческого ума, углубленного богатейшим жизненным опытом, какая-то креп-

кая, полная сил, внутренняя устойчивость уральского трудового человека, прошедшего через многие горнила и испытания. Больше говорил Бондин, пересыпая свою речь шутками. Громкий смех то и дело оглашал комнату.

— Наконец-то я нашел то, что искал, — рассказывал Бондин. — Девушка-комсомолка одна перевернула весь цех на Куйбышевском заводе[1]. Взяла мастера за шиворот: «Пойдем за мной! Я тебе покажу». Пошли. Стоит огромный станок, куда вкладывается барабан. Вот такой длины... — Сообщив несколько технических деталей, Бондин продолжал: — Токарь низенький, плотный, работает давно, отяжелел. Стоит, дремлет, как сыч. Дальше маленький станок. Токарь запустил стружку, ушел в другой угол. Болтает весь день, ему делать нечего. На третьем станке то же самое. Девушка и говорит мастеру: «Один токарь может справиться со всеми тремя станками. Запустил стружку — поглядывай за резцом. А для заправки станка должен быть один свободный токарь — токарь без станка». Решили в виде опыта провести. Пришло время получки — у токарей глаза как ложки. Девушка получила тысячу пятьсот, а они — по пятьсот. Вот вам! Теперь весь механический цех по-новому переоборудовали, перестроили. Вот тебе и баба! — Бондин засмеялся и прибавил: — Я все это вбучил Ольге Ермолаевой[2].

Павел Петрович внимательно слушал своего друга. Когда тот кончил рассказ о зачинательнице многостаночного обслуживания, сказал раздумчиво:

— Это и дорого — подсмотреть новые детали. Вот у тебя в «Логах» есть такая деталь — как рубить пластью. Сразу видно, что автор знает, какая косточка натружается.

— Я же токарь, слесарь, — с гордостью ответил Бондин. — Тридцать пять лет производственного стажу. С красной доски не слезал.

---

[1] Нижне-Тагильский завод имени В. Куйбышева.
[2] Бондин работал тогда над романом «Ольга Ермолаева».

5

Несмотря на возраст и недомогания, Бажов часто совершал поездки по Уралу, даже в трудные военные годы. Так в марте 1942 года он побывал в Березовске, где вместе с другими писателями выступал в школе и перед стахановцами золотой промышленности. В августе он был в Тагиле, на горе Высокой. Несколько поездок совершил Бажов в следующем, 1943 году — в Пермь, Таборы и опять в Тагил.

Из всех городов Урала Бажова больше всех интересовал Тагил. Хорошо зная его историю, он предполагал, что там, в бывшем демидовском гнезде, должны быть тайные рабочие сказы. «Только копнуть — наверняка, найдется. И, вероятно, в сказах фигурирует еще первый Демидов — Акинфий», — говорил он.

Нижний Тагил, старейший горнозаводский центр Урала, издавна привлекал внимание писателей и ученых. О Тагиле писал Д. Менделеев, в шахту медного рудника спускался Н. Телешов, на тагильском материале написаны известные романы Мамина-Сибиряка — «Горное гнездо» и «Три конца». Из тагильской жизни черпал материал для своих произведений А. Бондин. В годы Великой Отечественной войны не раз выезжали в Тагил и писали о нем — М. Шагинян, Е. Пермяк, А. Сурков, Б. Агапов, проф. В. Данилевский.

Нижний Тагил вносил большой вклад в дело обороны страны. Значительная часть металлургии Свердловской области была сконцентрирована в этом городе, коренным образом переустроенном в годы первых пятилеток. Крылатыми были в то время слова: «Мастерами из Тагила немцам роется могила».

Об этом городе свердловчане и решили написать коллективную книгу. Осенью 1943 года группа писателей во главе с Бажовым выехала в Тагил для проведения литературной конференции. Понятно, что мы (нас было тринадцать человек) с волнением въезжали в этот город, овеянный трудовой славой. То были дни большого патриотического подъема в стране. Красная Армия уже освободила Харьков, Орел, Новороссийск, Мариуполь, Брянск.

Литературная конференция открылась в Тагиле 18 сентября. Она продолжалась два дня.

Особо стояло сообщение Бажова о сборе народных преданий. Он высказал свой, давно им выношенный взгляд на историю письменную (официальную) и историю народную (устную). Сохранилась стенограмма его выступления. В печати она не опубликована. Считаю нужным привести здесь основные положения из выступления Бажова[1].

«У нас история берется обычно в разрезе одних документов, а вот народные предания, рабочие рассказы не учитываются. Между тем как они представляют важную историческую ценность. Часто в этих преданиях устанавливается то отношение, которое рабочие имели к тому или иному факту исторических событий. В документах это не записано, а в преданиях сохранилось.

Здесь, в Тагиле, сохранялся долгое время тот же уклад, который был при крепостничестве. Люди были прикованы своим наделом к одному месту. Взять сегодняшних стариков. Часть из них интересовалась прошлым у своих дедов, а те в свою очередь в молодые годы расспрашивали своих дедов. И вот составляется живая цепочка людей, предания которых могут охватить далекие времена.

Тагил, как тема уральской истории, по сути, является основным, ведущим пунктом в прошлое всего Урала. Записать предания о работах Тагила, в том числе и Высокогорского рудника, — это значит отразить в народных рассказах историю Урала, ибо здесь можно проследить староверческие, и украинские, и местные влияния, путь колонизации края.

Но запись этой истории имеет свою трудность. То, что не записано, а держится в памяти, существенно отличается от документа. Устный рассказ подвержен всяким изменениям памяти. Иногда старики путают исторические факты. Одно воспоминание переходит в другое, и получается несообразность. Предания стариков надо воспринимать критически. Если расскажет один, то его сообщение не следует считать окончатель-

---

[1] Запись дается с некоторыми, незначительными, поправками.

ным. Надо о том же событии собрать рассказы второго, третьего, четвертого человека, и только часто повторяющиеся детали могут быть показаны как действительный факт прошлого.

Сбор преданий представляется не менее важным делом, чем история горнозаводского Урала по письменным документам. Здесь своя точка зрения на каждый факт, противоположная тому, что дана в писаной истории. Автор, который записывал, был представителем правящей части, и он по-своему оценивал события, а рабочие по-своему оценивали, но не имели возможности отразить в письменном виде. И наша задача эту сторону поднять. И нужно записывать эти предания стариков бесхитростно, так, как есть. Когда этих рассказов накопится много, выплывет совершенно новый вопрос, о котором мы забыли.

Тагил и прежде был основной заводский и кустарный центр. А вот мы, пожалуй, и не знаем, какие здесь ремесла были развиты, связанные с искусством.

Лак тагильский, невьянский. Если бы секрет этого лака был известен сегодня, то он служил бы и сегодня нашим целям. Лак был необычайно стойким в отношении температурных изменений. А секрет — это местный секрет.

Мы знаем образцы сталей прошлого, знаем отдельных мастеровых — сталеваров прошлого, но знаем далеко не все. В народной памяти хранится гораздо больше. Может быть, эти воспоминания преувеличены в том смысле, что сделались легендарными. Это естественно. Рассказ с годами обрастает фантастикой, но она легко может быть устранена, и останется настоящее положение вещей.

Златоустовцы говорят, что для получения булатной стали старик ходил под Таганай и приносил оттуда какой-то песочек. Могло казаться, что кто-то занялся фокусничеством. А когда проверили, то оказалось, что под Таганаем имеются залежи вольфрамовых руд. Было установлено, что добавка этого вольфрама в какой-то дозе меняет качество стали. Огромнейшая коллекция штампов сундучного дела представляет собой тоже чрезвычайно интересный кусок народного творчества.

Эта народная история имеет большую историческую ценность. Нам надо договориться, каким путем тагильскую народную историю отразить в книге. Силами приезжих писателей это сделать невозможно. Надо привлечь большой коллектив, привлечь стариков, которые интересуются вопросами прошлого. Таких не так много, но они есть.

Если бы здесь удалось поднять народную историю, то мы бы не только сделали ценное для истории, но и обогатили бы литературу массой чисто народного материала в виде образов».

Книга о Тагиле пробудила у писателей большой интерес к очерку. Проблема документального очерка, живого, познавательно богатого и верно угадывающего пульс сегодняшнего дня, встала перед каждым литератором во весь рост. Бажова радовал такой поворот писателей к современной тематике.

Опыт с книгой «Тагил» помог нам быстрее создать вторую коллективную книгу о Свердловске. В обеих книгах Бажов принимал непосредственное участие — и как автор и как член редакционной коллегии. Специально для книги о Свердловске написал он воспоминания «Наш город», которые позже в расширенном виде вышли под названием: «Дальнее — близкое».

Мы очень торопили Павла Петровича с этой работой. Сохранилась записка, с которой он прислал в редакцию свою рукопись:

«Клавдия Васильевна! Вот эта селянка. Страницы все, хотя нумерация в двух местах спутана. С 60-й так и не успел прочесть. Не посетуйте. Все это скорей материал, о котором надо говорить. 12/V 1945».

Обе книги вышли почти одновременно.

В работе была третья коллективная книга о людях золотой промышленности. Приближалось двухсотлетие открытия золота на Урале. Первооткрыватели золота Марков и Брусницын сильно занимали внимание Бажова. Но без детального знания исторической основы он не мог работать. В это время для будущей книги В. П. Ярков, старый горняк и краевед, принес в издательство большую рукопись по истории золотой промышленности Урала. Бажов был знаком с В. Ярковым, как и с другими крае-

ведами Урала — А. А. Анфиногеновым, В. П. Бирюковым. Павел Петрович познакомился с историческими материалами Яркова. Для книги он дал сказ «Золотые байки». Второй сказ, о Брусницыне, не успел написать.

Поездки по Уралу помогли Бажову в работе над новым циклом — «Сказы о немцах». В старинных горнозаводских центрах Урала живее вставали воспоминания о том прошлом, когда на производстве хозяйничали немцы-управители. Бажов много размышлял об этом.

«Сказы о немцах» не вызывали у него полного удовлетворения. Думаю, это объяснялось тем, что сюжеты некоторых из них он брал из книжных источников.

В конце октября 1942 года Павел Петрович, хмурясь, сказал:

— Написал «Веселухин ложок». Ох, до чего же скушно. Весь день хожу под этим впечатлением. Скушно. Бессюжетная вещь. И главное, там есть кусочки, хорошие кусочки, из бережёного. Жалко. Они тут пропадут, их не заметят, просто не заметят. А мне жалко на эту немецкую муру тратить. Жалко. Там есть «глаз с крючочком да ухо с прихваткой». Из бережоного. Бессюжетная вещь. Бросить, что ли? Другим заняться?

Во время многочисленных своих поездок по Уралу Бажов встречался со множеством интересных людей, и когда рассказывал нам о том, что видел и слышал, в его словах всегда звучала большая гордость за дела советских тружеников.

— Изумительно! — говорил он как-то, побывав на одном из оборонных заводов соседней области. — Они конструируют «олю». Части те же, что и у «катюши», но новый поворот, бóльшую подвижность хотят придать. И ходит тут майор, в форме, знаки, все честь по чести. Вижу я — пахнет от него слесарем. Слесарь и слесарь. Спрашиваю: «Вы давно здесь, на заводе?» — «А вот, говорит, уже тридцать пять лет...» Там изумительные вещи. Пушки идут по ленте конвейером, крýгом. Идешь — видишь только пушки целый день. Кажется, что одна и та же пушка обходит круг.

Однажды он принес сказ, воспринятый всеми как крупное литературное событие. Это была «Живинка в деле». Павел Петрович впервые не отмахивался от наших

похвал. Но и не радовался, что-то точило его. Потом сказал очень озабоченно:

— «Живинка»-то связала меня по рукам и ногам. Это своего рода синтез. Я берег ее к концу жизни. А теперь опять размениваться на исторические анекдоты. Видите, надо опять что-то находить...

«Синтез» — не случайно Павел Петрович сказал так. «Живинка в деле» — мудрейший из его сказов — была итогом наблюдений и размышлений всей его богатой, долгой жизни.

Горячее патриотическое чувство двигало Бажовым всю жизнь. Помню слова его, сказанные в тот день, когда он принес «Живинку в деле»:

— Читал «Хождение» Афанасия Никитина. Над последними словами заплакал: «Нет страны краше нашей. Господь да устроит ее». И это написано на персидском языке...

6

В оценке своих произведений Бажов был поразительно скромен.

— Сказы имеют краевое значение. Какой черт — вклад в мировой фольклор! — говорил он.

В октябре 1944 года на очередном писательском «четверге» был поставлен доклад «Бажов и его отношение к рабочим сказам». Доклад был не вполне отчетливым по своим выводам, и потому, вероятно, возникли большие разноречия во взглядах на сказы. Павел Петрович, слушая, добродушно посмеивался. Ему как будто казалось забавным, что люди спорят о том, что так ясно и бесспорно.

На другой день он сказал:

— Вот сейчас уже определились три точки зрения: одни считают, что я выдумщик, другие рассматривают сказы как фольклор, и есть еще средняя позиция—самая гиблая. И вот тут надо что-то сказать, а я не знаю. Ведь что есть? Я скажу как думаю. «Уральские сказы» — это литературное явление». Это я признаю. Рабочие тайные сказы — факт бесспорный. Я их слышал, слышу. Один критик додумался до того, что Хмелинина не было вовсе,

я его придумал. Да нет же! Хмелинин был, жил на горе, я к нему бегал. Но были и другие сказители (перечисляет фамилии). Они тоже рассказывали. И в других местах были свои сказители, так что образ Хмелинина — это образ собирательный. И в чем моя заслуга — я говорю без ложной скромности: в том, что я к этому фольклору подошел со своим мировоззрением...

— Вы бросили свой луч, — подсказал один из писателей.

— Свой луч. Ведь вот Глеб Успенский. Он знал крестьян, жизнь, видел и злое и доброе, но ему, как демократу-разночинцу, нужны были отрицательные стороны. Он их дал. Чехов. Возьмите его «Мужиков». Его деревня — это жуть! Такая деревня не могла бы поднять революцию. Или у Подъячева. Но они видели, конечно, и другое — здоровье, силу, крепость, гений русского народа. И вот я, зная старинную жизнь, вижу ее с других позиций, под другим углом зрения. Вот только в этом моя заслуга. А что художник, мастер — чепуха, я просто передал.

Ему стали возражать, что он сам внушает другим неверный взгляд на свою работу как на чисто фольклорную.

— Да нет же! — с искренним недоумением воскликнул он. — Вот вы говорите: «Зеленая кобылка» — художественная вещь. Нет, это просто мемуары. Как было, я и изобразил... Меня спрашивают: «Какие сказы рассказала бабушка?» У меня бабушкой была вся улица. Кто сказал тот или другой сказ, я не знаю.

Этот разговор, по существу, не внес ясности, и писатели не разубедили Павла Петровича. Для нас было совершенно очевидно, что вся его художественная практика никак не вязалась с его настойчивым утверждением: «Как было рассказано, так было и передано». Этому противоречило и многое другое, в частности личные его высказывания о том, что память не может удержать детали сказов, слышанных полвека назад.

Думаю, что эта неувязка, противоречивость снимается в значительной мере, если знать, с каким критерием подходил Бажов к художественному произведению. Он считал подлинно художественным лишь то произведение,

которое ставило какую-либо проблему. Если этой проблемы нет в литературном произведении, то оно или документ, или простое бытописание. В этом именно смысле он высказывался не раз.

В конце 1938 года, когда «Малахитовая шкатулка» была накануне выхода в свет, он с полной убежденностью заявил:

— Какой я писатель? Настоящий писатель ставит какую-то проблему. А я что? Где элементы творчества?

Значительно позже, в связи с разговором о книгах Кренкеля и Папанина, он сказал с непривычной суровостью:

— Это не художественная литература. Это документ, участок жизни. Проблемы нет. Все художественные произведения были проблемными. То, что я пишу, — это простейший вид литературы. Я много над этим думал.

Спустя четыре года Бажов уже несколько по-иному подходил к этому вопросу.

— Вот я все думаю о людях одной книги. Что ж, это не так плохо. Может быть, это и надо развивать на данном этапе состояния литературы. Люди одной книги — большое дело. Это документы эпохи.

Неоднократно Павел Петрович обращал наше внимание на роль мировоззрения писателя в художественном произведении.

— В том, что ты изображаешь и как это даешь, уже сказывается мировоззрение. Вот книга Петра Ермакова [1] — вещь фактическая, а его мировоззрение видно во всем.

Утверждая партийность взгляда писателя на все явления жизни, Бажов, однако, был против нарочитой тенденциозности, выпирающей из художественной ткани произведения. Как-то один из критиков, прочтя «Серебряное копытце», сказал:

— Почему козлик показался Даренке, а не кому-либо другому? Надо бы как-то социально это мотивировать.

---

[1] П. П. Ермаков. Воспоминания горнорабочего. Свердлгиз, 1947.

Бажова заметно огорчило это замечание.

— Вот критики часто так, не знают меры... Сиротка, ребенок. Понятно, кому покажется Серебряное копытце.

Осенью 1947 года в издательстве началась подготовка нового издания «Малахитовой шкатулки». Надо было собрать в одну книгу все сказы, рассеянные по разным сборникам и журналам. Возник вопрос: в какой же последовательности располагать вещи?

Вначале Бажов склонялся к тому, чтобы сгруппировать их по тематическому принципу. Но когда мы прикинули, по каким разделам пойдут сказы, то увидели, что это поведет ко многим натяжкам. Тогда остановились на хронологической последовательности. Бажов принес мне двенадцать коротеньких, в клетку, листочков с указанием, когда какой сказ им написан. Сколько годов, столько и листочков (1936—1947). Бажов был аккуратен во всем. В соответствии с этой «разнарядкой» я и подготовила рукопись.

В эти дни в редакции много было разговоров о том, как иллюстрировать книгу — заказывать ли новые иллюстрации или собрать старые. Первоначально остановились на том, чтобы все сказы проиллюстрировать заново. Раздать их разным художникам, и пусть они превзойдут искусством иллюстрации прежних изданий. Это была заманчивая мысль. Как бы хороши ни были известные нам иллюстрации, они все же, за редким исключением, слабо выражали своеобразные природные и бытовые условия старого Урала.

Павел Петрович не возражал против новых иллюстраций. Но вскоре он предложил другое — проиллюстрировать «Малахитовую шкатулку» лучшими рисунками из книг разных изданий.

Мы все поддержали его мысль. Однажды он пришел в издательство с изрядным грузом. Под мышкой была толстая рукопись, а в руке портфель, набитый до отказа книгами, вышедшими в различных издательствах. Тут были и журналы.

Бажов вытащил из портфеля прежде всего персидский журнал. Павлу Петровичу нравились в этом журнале рисунки к «Хозяйке Медной горы». Больше всего —

тиара на голове Хозяйки — не тяжелый, аляповатый венец, а что-то подобное венку. Радовала сама ящерка, естественный переход ее в девушку.

Художников, работавших над сказами, к тому времени было уже немало. Произведения Бажова привлекали многих иллюстраторов богатством и своеобразием образного материала.

7

Бажов был человеком высокого гражданского долга. Когда грянула война, он в первые же дни пришел в издательство и сказал:

— Ну, я опять ваш, издательский работник. Теперь я освободился от личных творческих работ. Никаких.

Просто, без громких слов, взвалил он на себя нелегкий груз ответственности — сел за рабочий стол редактора художественной литературы. А немного погодя на его плечи легло все издательское хозяйство, которое он вел до марта 1942 года.

В те дни, особенно трудные и беспокойные, он как-то сразу осунулся. Но никто никогда не слышал от него жалоб на материальные затруднения или физическое недомогание.

Много хлопот, иногда очень огорчительных, доставляли ему писательские дела. Свыше десяти лет Бажов был бессменным руководителем свердловской писательской организации и до последних дней жизни был ответственным редактором альманаха «Уральский современник». Помимо того, свыше двух лет (до марта 1944 года) он был секретарем партийной организации Союза писателей.

И, хотя на всех этих участках у него были помощники, старавшиеся не затруднять его черновой и мелкой работой, все равно он неизбежно входил во все детали каждого вопроса и без него фактически не обходилось ни одно сколько-нибудь значительное мероприятие. Я не помню ни одного общего собрания, на котором не присутствовал бы Бажов. Он всегда был там, где обсуждалось новое произведение. За советом и помощью обращались

к нему все уральские литераторы, молодые и старые. Он знал творческие планы каждого, и пока был в силах, читал все наши произведения. По-моему, не найдется ни одного писателя в Свердловске тех лет, который бы не давал ему на прочтение своей вещи.

Шел 1945 год. Из Свердловска давно уехали эвакуированные писатели. Творческая и общественная жизнь в писательской организации заметно замерла. Остро чувствовалось отсутствие ведущих уральских литераторов: А. Бондина и погибших на фронтах Отечественной войны А. Савчука, В. Занадворова и И. Панова. Не было уже среди детских писателей В. Цехановича и Д. Казанцева.

Перед отделением ССП одной из первоочередных задач вставала задача расширения литературного актива. Указывая на опыт работы над тремя коллективными книгами, Бажов говорил, что многие ученые — геологи, медики и другие — пишут неплохо, в этом направлении и надо искать пополнение.

Заботило Бажова также и то, что писатели не поднимают в должной мере тематику тыла и бессистемно, от случая к случаю, пополняют свое образование. А творческая работа требует беспрестанного повышения идейно-теоретического уровня.

Так говорил Бажов на собрании 22 марта 1945 года в прениях, развернувшихся по отчетному докладу секретаря парторганизации. Выделив три очередные главные задачи, стоящие перед писательской организацией, он сказал:

— Мы должны внутренне понять, куда вести писательскую массу...

Кто-то из присутствующих сказал, что писатели утратили живинку. Бажов серьезно ответил:

— Нельзя говорить об утраченной живинке, ибо живинка еще никем не найдена. Никто из писателей не может похвалиться тем, что перекрыл высокие образцы прошлого...

Павел Петрович не любил тех, кто преувеличенно оценивал достигнутое. Неудовлетворенный малой творческой активностью писателей, он неустанно призывал их изучать жизнь.

— Вот возьмите эпоху Чехова,— говорил он,— жизнь была проста. Помещик, чиновник, учитель. Сели за карты — удовольствие. У нас же в каждом уголке идет своя жизнь, не похожая на жизнь рядом. Мы должны искать людей на производстве. Вот меня звали на АТС. Говорят: «Посмотрите нашу работу». Начальник телеграфа говорит: «У нас лучшее в Союзе оборудование». Вот! И вероятно, у них есть какие-то свои проблемы, что-то делают, мы не знаем. А у нас что? Мы говорим о форме: архитектоника, эпитет, канцоны и всякое другое. А не спрашиваем, что ты новое открываешь, какой материал знаешь, куда зовешь. А наши стихотворы — ведь эпидемия — только и знают, что рифмуют: «Мята — вата — мягковата». К чему это?

Павел Петрович давно и серьезно недомогал. Ему тяжело было ходить, особенно подниматься по лестнице, и, придя в издательство, он каждый раз некоторое время молча стоял, опершись на стол. Однако на старость и болезни он сетовал редко и косвенно. Жаловался лишь на бессонницу.

— За всю мою жизнь я видел всего шесть снов. Сюжетных. Раньше были сны летучие — кверху летишь, — а теперь падучие. Будто спускаешься по лестнице в какую-то бездну. И лестница стоит вот так, — показывает уклон, — и ты, значит, должен держаться ногами, чтобы не упасть. Пальцы на ногах, как крючки, загибаются. Ну, и висишь над бездной.

Он говорил эти слова с легкой усмешкой над собой и с грустным удивлением.

25 декабря 1948 года в Свердловске состоялась межобластная конференция уральских писателей. Впервые после разделения Уральской области писатели-уральцы съехались в Свердловск, чтобы поговорить о своих общих литературных делах. Пермь, Челябинск, Курган, Оренбург прислали в Свердловск своих представителей. Из Москвы прибыла делегация писателей и критиков во главе с Павлом Нилиным.

Старейшим среди нас был Бажов. К нему, как литературному наставнику и руководителю, тянулись все.

Он лично знаком был с каждым.

Зал Дома литературы и искусства был переполнен.

Из-за стола поднимается Бажов. Его голос, как всегда, негромок и проникновенен. Он говорит о том, что́ составляет предмет его давних размышлений: об Урале и показе современного человека.

Разобрав и откинув превратные представления об Урале, он вскрывает истинную характерность края. Он видит ее прежде всего в том, что здесь, на Урале, зародилось горное дело — событие большого государственного значения. Здесь же «организовалась по другому обработка металла, представляющая уже следующую ступень мануфактуры. Здесь же организовались заводы. Это нужно нам не как история, а как современность».

Бажов обозревает далее местную литературу и приходит к заключению, что настоящих, больших «полотен на уральском материале мы пока не имеем. Появляется кое-что, мелькают надписи, что это было там-то, на таком-то заводе, но эти надписи никого не устраивают, а скорее огорчают».

После этого вступления Бажов перешел уже прямо к изложению своей любимой темы — к Уралу, как сокровищнице большого трудового опыта, больших трудовых традиций. Он говорил о том, что, только связывая прошлое с настоящим, можно полнокровно изобразить современного человека.

— Главная наша задача — более внимательное, более упорное разглядывание деталей самого производства, знакомство с людьми, которые в этом производстве находятся.

С огромной внимательностью следил Бажов за ходом прений, начавшихся после обзорных докладов.

Конференция закончилась на пятый день. Бажов подводил итоги.

— Конференция показала, — сказал он, — вы уж извините меня, общую нашу слабость. Идейно-художественными вещами мы не блеснули. Надо расширять кадры, поднимать работу. Нас режет отсутствие критики. Это просто стыд! Нет драматургии. На все пять областей у нас нет ни одного человека, у кого хоть бы одна пьеса была на подмостках.

В заключение он снова повторил те же мысли, что высказал во вступительном слове:

— Я хотел бы, чтобы у нас было меньше географических надписей, но больше глубокого изучения человека в его производстве.

Это был последний наказ Павла Петровича Бажова уральским писателям, наказ мудрого наставника, большого мастера слова, ни на один день не порывавшего тесных связей с трудовым народом.

Свердловск



К. БОГОЛЮБОВ

БОЛЬШАЯ, КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ

1

Впервые встретился я с Павлом Петровичем зимой 1928 года.

Областное издательство помещалось тогда в маленьком одноэтажном домике на улице Гоголя. В трех комнатушках было по-домашнему уютно. Потрескивали дрова в печке, стрекотал «ундервуд», пахло табаком. Когда приходили авторы, становилось совсем тесно.

Однажды зашел я туда в морозный солнечный день. Зима вообще стояла студеная. Редактор, грузный мужчина с львиной гривой, старый журналист, заглянул в окно и пробасил:

— Вон наш дед идет.

Действительно, по улице шел дед. В шубе, в шапке. Русая окладистая борода с проседью.

Он вошел в комнату с клубами морозного пара и сразу внес какую-то особенную атмосферу простоты и добродушия. Я тогда не знал, что «дед» было чем-то вроде клички. Об этом Павел Петрович сам говорил:

— Сорока лет не было, а уж звали дедом... за бороду.

Конечно, дедом он тогда еще не был. Среднего роста пожилой мужчина с хорошим русским лицом. Удивительные были глаза его — светло-серые, почти прозрачные. В них светились ум и лукавая усмешка. Впоследствии мне пришлось увидеть в них и гнев и злую иронию.

Он протянул мне руку и глуховатым голосом сказал:

— Бажов.

Я подумал, что это селькор откуда-нибудь из наших сельскохозяйственных районов — из-под Ирбита, Камышлова или Красноуфимска. Фамилия Бажова ничего не говорила: в работе литературной организации Павел Петрович в то время участия не принимал, да и художественных произведений печатал мало.

Редактор предложил ему папиросу, но Бажов вынул из кармана кисет и ловко скрутил цигарку.

— Деревенский табачок лучше...

Я обратил внимание на его руки. Эпитет «одухотворенные» полностью можно было отнести к ним.

Редактор спросил:

— Опять из командировки, Павел Петрович?

— А как же! У меня в Туринске, Байкалове, Манчаже — везде почтовые станции, везде знакомцы. Любопытны эти наши уральские места...

И повел рассказ о том, как он путешествовал по деревням, с кем встречался. Рассказ пересыпался острыми шутками, а «любопытные места» вставали такими, как будто рассказчик прожил в них целую жизнь.

В конце двадцатых годов организовалась Уральская ассоциация пролетарских писателей (УралАПП). Павел Петрович был избран членом правления УралАПП. Не знаю почему, но он возглавлял секцию крестьянских писателей. Может быть потому, что являлся сотрудником «Крестьянской газеты», да и внешностью своей производил впечатление человека, близкого к деревенской жизни.

В литературных боях тех лет Бажов участвовал не раз. Рецензии за подписью «Чипонев» («читатель поневоле») были принципиальны, остры и отличались высоким уровнем литературного мастерства. Бажов беспощадно

разоблачал халтуру и приспособленчество, борясь за чистоту и идейность литературы, за правду в искусстве.

После Первого съезда советских писателей он был введен в редколлегию уральского журнала «Штурм». Это еще более укрепило его связь с литературным движением. С тех пор она уже не прерывалась до самой его смерти.

2

Бо́льшую часть своей жизни Павел Петрович провел в Екатеринбурге—Свердловске и с полным основанием называл себя его старожилом. Павел Петрович хорошо знал старый, дореволюционный Екатеринбург — город миллионеров Злоказовых, Макаровых, Агафуровых, город рабочей и ремесленной бедноты, ютившейся в подслеповатых избенках на бесконечных Опалихах Верх-Исетского завода, на Мельковке и Загородных улицах. В этом городе был не один фешенебельный ресторан, клуб благородного собрания, полдюжины церквей, монастырь, целые кварталы публичных домов на Водочной улице, но не было ни одного высшего учебного заведения, не было городской бани и мощеных улиц.

И все же Екатеринбург являлся одним из мощных центров рабочего революционного движения, — здесь работал Я. М. Свердлов, здесь организовались первые на Урале боевые рабочие дружины в 1905 году.

Павел Петрович любил свой город. В повести «Дальнее — близкое» он нарисовал яркую картину старого Екатеринбурга. Чего хотя бы стоит такая характеристика:

— На другие города наш не походит. Он вроде самого главного завода. На железе родился, железом опоясался и железом кормится.

Чуть не каждый дом вызывал у него воспоминания.

Как-то осенним вечером шли мы по улице Розы Люксембург. Павел Петрович рассказывал об Екатеринбурге:

— Была такая улица — Косой порядок. Недалеко от старого рынка, где сейчас улица Степана Разина... Конечно, улицы в нашем представлении как таковой не существовало, только «порядок», — значит, односторон-

ка... Вдоль берега Исети стояло, вероятно, несколько избушек. Вот и вся улица.

Около цирка, на перекрестке, сворачиваем направо. Впереди — громоздкое кубообразное здание бывшей единоверческой церкви, построенное купцом Рязановым.

— Здесь у рязановского попа вышла ссора с одним из екатеринбургских тузов — Толстиковым. Поп-то что делал? Во время обедни возглашал: «Мир всем, кроме Яшки Толстикова!» Тот терпел, терпел, да и выстроил свою церковь. Это на теперешней улице Степана Разина... Были и другие чудаки. Вот помню барыньку одну — Тиме (кажись, жена главного инженера). Так эта самая барынька завела двенадцать собачек и прогуливалась с ними по главной улице... Ну чем не маминский тип?

Павел Петрович рассмеялся и заключил утвердительно:

— Чертополох!

О «чертополохе» он всегда отзывался саркастически. Зато с увлечением и любовью рассказывал о «мужицких заводах» на Исети, о старинном мастерстве «искровщиц», о строителях Екатеринбургского завода, о монетном дворе, о памятниках старины.

Идя по плотине городского пруда, размышлял вслух:

— Прочное сооружение. Долгонько держится. Больше двухсот лет миновало... А кто строил? Простой человек, демидовский плотинный мастер Леонтий Злобин. Знаменитый был строитель плотин. Да и плотинное-то дело исконное русское. Геннин вон хвастает своим заграничным. По его словам выходит, что без немцев мы на Урале и заводов не построим. У него и терминология-то вся немецкая. А вот как он в своей истории заводского устройства дошел до плотинного дела, так и пошли русские наименования: вешняк, вешняшный прорез, водяной ларь, понурный мост, ряжи... Ни одного слова немецкого!

Прошло несколько лет. В Уральском государственном университете имени Горького открылась научная конференция, посвященная двухсотдвадцатипятилетию Екатеринбурга—Свердловска. Вступительное слово произнес Павел Петрович Бажов. Это было одно из его последних и, пожалуй, самых ярких выступлений.

— Историкам надо направить свои поиски в сторону тех творческих исполнителей, которые мало или вовсе не показаны в материалах генералов-строителей, — говорил он.

Сам человек труда, он жалел о том, что так мало осталось сведений о великих делах простых людей-умельцев. «Были знаменитые мастера, да только в запись не попали», — с горечью писал он в одном из сказов.

3

Коренной уралец, Павел Петрович любил свой край неизменной горячей любовью.

— То, что сказы мои уральские, вот в чем главное, — говорил он, делая ударение на слове «уральские». — У нас на Урале сколько профессий, да таких, каких нигде больше нет. Возьмите хотя бы горщиков. Ведь это коренная уральская профессия, и сколько в ней поэзии! У нас ведь и мастерство здесь коренное. Еще в давно прошедшие времена столько было настоящих самородков, крупнейших талантов. Заводы-то еще при феодализме строились... Любопытна, например, история с золотом. Найти-то его нашли, а вот что с ним дальше делать, — не знают. Стали плавить, выплавили в год восемьдесят пудов. И что же? Простой штейгер Брусницын предложил свой способ дробить и промывать руду. Сразу счет на сотни пошел. С той поры так и стали называть — брусницынское золото... Мировой известностью пользуется. Нигде в мире нет лучше каслинского литья. А в чем его секрет? То ли чугун особенный, то ли опоки, то ли руки такие у каслинских мастеров. Все дело в том, что литье-то художественное, — значит, и здесь уральское мастерство сказалось.

Впрочем, любя Урал, Павел Петрович всегда едко высмеивал тех, кто напирал на уральскую исключительность. Говорил:

— Урал, товарищи, не удельное княжество и никогда им не был. Вот один горе-исследователь насчитал семнадцать коренных уральских слов, а на поверку-то вышло, что все они у Даля имеются... За исключением

«молоканки», да и та под сомнением: есть у нас на ВИЗе местность такая — «Малый конный» называется.

У него была собрана богатая литература об Урале.

Интересовало его все, что имело отношение к Уралу. Помню, шли мы с ним и беседовали на излюбленную тему — о фольклоре, о языке, о значениях местных слов и речений. Павел Петрович, постукивая палкой, высказывал свою точку зрения.

— Надо бы этот вопрос осветить пошире. Тут ведь целая география. Истоки колонизации Урала... Тверитиновы, Олонцевы, Новгородцевы, Вологжаниновы, Устюговы... В Сысерти у нас попадаются соликамские фамилии — Пермяковы например. Пермяков ведь Турчанинов-то вывозил, вот и пошли Пермяковы. А то еще есть у нас Чепуштановы, их называют «береговики». Вот и суди: почему это так? Оказывается, у Даля есть объяснение: чепуштан — это береговой лес для сплава...

Бажов мечтал создать историческую трилогию. Первой ее частью должна была стать повесть о разбойнике Рыжанко — атамане Золотом. Личность этого молодого человека из конторских служащих, ставшего народным мстителем, очень увлекла Павла Петровича. Он даже сделал несколько набросков будущей книги.

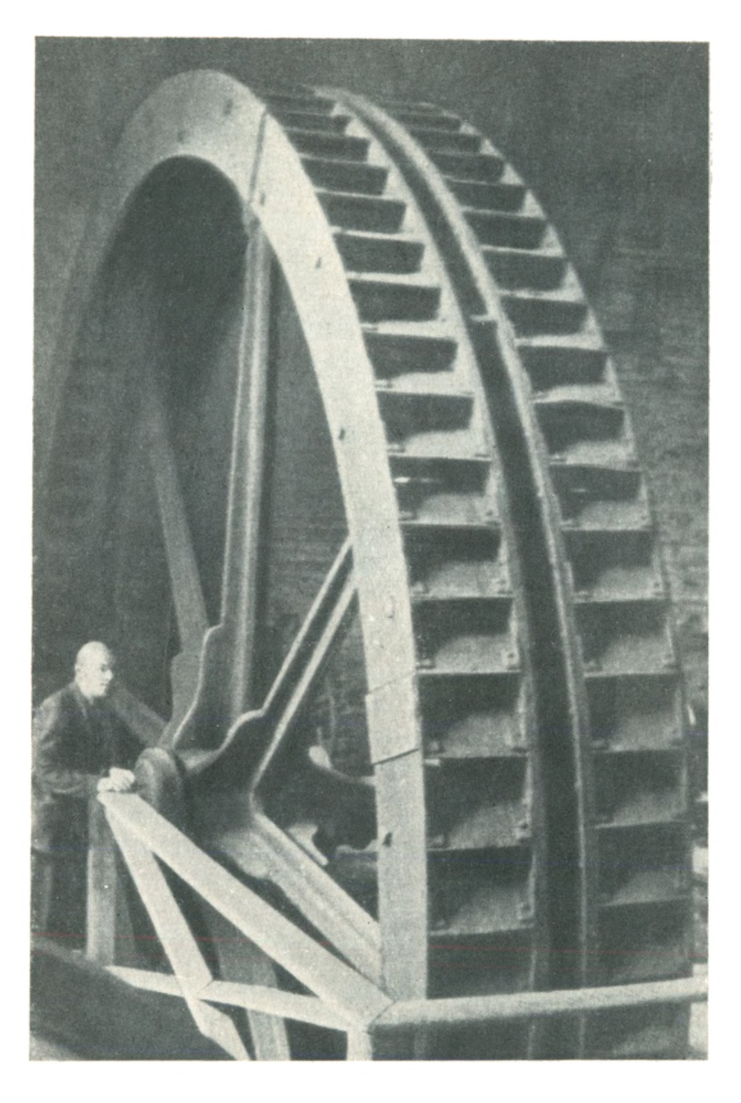
Привлекала его внимание и фигура Ивана Белобородова, одного из лучших полководцев Пугачева, действовавшего на заводах Среднего Урала. «Хромой капрал» — так хотел он назвать вторую часть своей трилогии.

Концепция трилогии в целом мыслилась им как история труда и борьбы работных людей и приписных к заводам крестьян. Неслучайно и предполагавшееся название для всех трех частей — «Предгрозье». Далеко видел!

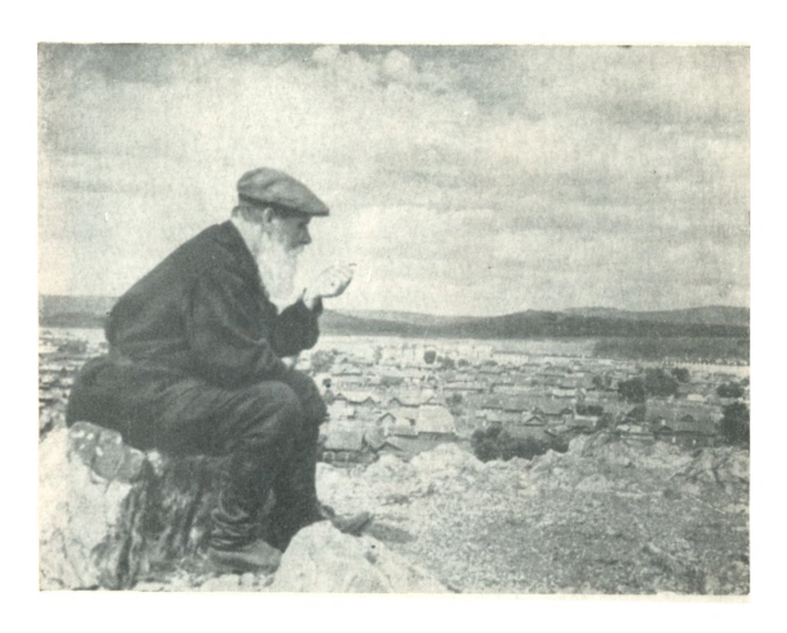
4

Органическая, кровная связь Бажова с его краем, с народом объясняет его любовь к фольклору, к народной поэзии. Не один раз полушутя, полусерьезно он называл себя «сказителем».

Горячо ратовал он за собирание фольклора, в особен-



По бажовским местам. «Вододействующее устройство» на старом Северском заводе — знаменитый швамкруг, установленный в XVIII веке.



П. П. Бажов на Думной. Вдали — Азов-гора.

ности заводского. Первый свой сказ — «Дорогое имячко» — Павел Петрович написал тотчас же после жаркого спора с одним из работников издательства, начисто отрицавшего существование рабочего фольклора.

Помню одно из типичных бажовских выступлений, посвященных этой теме.

— Вот вы слышали, что я написал сказы, — говорил он на слете учеников ремесленных училищ, — а ведь настоящий-то творец — народ. Да и настоящая-то поэзия — народная поэзия. Надо собирать ее золотые крупицы... Мне молодые фольклористы говорят: «Вам хорошо, Павел Петрович, вам старики все рассказывают, а нам — нет...» Эх, и мне старики не все рассказывают, а рассказы их собирать нужно. Ведь у нас на Урале население-то заводское — коренное. Заводы-то еще при первых Демидовых строились, а некоторые даже раньше — в семнадцатом веке. Поезжайте в Невьянск — там из одних Поляковых можно конференцию собрать, да Шмелевых столько же. Ведь это же целая история завода. Спроси о старине — и в любой семье ответят: «Это мне дедушка рассказывал, про это бабушка говорила...» У нас на Урале и фольклор-то особенный — не успел отстояться.

Когда я в 1949 году поехал в командировку в Чердынь, Павел Петрович мне наказывал:

— Ты там обязательно разыщи Лунегова. Музеем заведует... И поклон ему передай... Это энтузиаст. Мы с ним еще по «Крестьянской газете» знакомы. Тогда он был селькором и, кроме того, собирал всякую чердынскую старину. Это фольклорист нашей, советской формации.

5

Однажды — Павел Петрович работал в это время в издательстве — зашел разговор о том, кто что пишет. Павел Петрович уклонился от прямого ответа и заметил только:

— Моя работа — ювелирная.

Не раз приходилось убеждаться в меткости этого определения. Всякий читавший бажовские сказы попадал во власть этого волшебного слова, поддавался очарованию

языка, сверкающего юмором, меткими словечками и присловиями. Недаром некоторые из них, как, например, «Живинка в деле», вошли в широкий речевой обиход.

Бажов упорно работал над словом.

Речь Бажова была пересыпана поговорками, острыми народными выражениями. Не стеснялся он употреблять и словечки, непривычные для изощренного слуха. В то же время это была речь высокообразованного человека.

Про одного поэта он сказал: «Крылышки у него хоть маленькие, да свои». О другом товарище отозвался так: «Всем хорош парень, только с зайцем в голове». А свое положение охарактеризовал юмористической поговоркой: «Дали белке воз орехов, когда зубы съела».

Его доклады не были докладами в общепринятом смысле этого слова — это были импровизации, сверкавшие художественным талантом и остроумием. Например, свое выступление перед избирателями в феврале 1946 года он заключил такими словами:

— Недавно мне был задан вопрос: что такое советская демократия? Вместо ответа я привел один пример из практики уральских гранильщиков. При огранке изумруда самым лучшим образцом у старых гранильщиков считается камень, имеющий так называемую «теплую грань». Мастер должен добиться, чтобы каждая грань была на строго одинаковом расстоянии от так называемого «куста» — узла преломления света. Этот пример, мне кажется, глубоко символичен. Как в драгоценном изумруде, в нашей стране солнце Советской конституции находится на одинаковом расстоянии от каждого советского человека, одинаково тепло и ярко светит каждому из нас. Если тебе действительно дороги интересы родины, своего народа, — трудись честно, развивай свои способности, а родина, народ не забудут твоего труда...

6

Интересны высказывания Бажова о литературе и литераторах.

Характерно его отношение к Решетникову и Мамину-Сибиряку.

Решетникова он очень уважал за то, что тот первым в русской литературе поднял тему рабочего человека, уважал писателя за его суровый и трезвый реализм, за глубокое и точное знание действительности.

К Мамину-Сибиряку отношение у него было сложное. Он отмечал у него черты, наиболее родственные ему самому: «редкую изобразительность» и «богатейший лексикон народного языка, полный метких слов». Впоследствии он очень образно определил противоречия в творчестве Мамина-Сибиряка: «Такие писатели, как Дмитрий Наркисович Мамин, похожи на большую реку в половодье. Он тащит на себе все: и огромный пароход, и арбузную корку, и отбросы нефти».

Так он думал о писателе, которого очень высоко ценил. Любопытно, что лучшими из его произведений он считал «Бойцов», «Горное гнездо», «Три конца», «Охонины брови». Когда он стал редактором Гослестехиздата, именно эти произведения включил в серию книг для лесорубов. На маминской конференции в 1940 году он выступил с речью и статьей, посвященной памяти «певца Урала».

За что же он любил его? За то, что Мамин нарисовал правдивую картину пореформенного Урала, за его искренний демократизм, за его чуткость к общественным проблемам. Однако неизменно добавлял:

— А рабочего-то он знал плохо.

Однажды мы разговорились с ним о рассказах Мамина, предназначенных к печатанию в местном издательстве. Павел Петрович отобрал такие, как «Зимовье на Студеной», «Емеля-охотник», особенно похвалил рассказ «В каменном колодце», а о «Легендах» сказал:

— Не надо. Не та философия.

С большой любовью и уважением относился к своему другу и собрату по перу А. П. Бондину. Они являлись людьми одного поколения, одной социальной среды. В одно время начали литературную работу. Еще в 1923 году встречались на собраниях литературной группы «Мартен». Бажов был первым редактором романа Бондина «Лога». Теплое и содержательное предисловие написал он к книжке Бондина «Избранные рассказы», вышедшей в 1949 году в библиотеке «Огонька». Лучшим

его произведением он считал роман «Ольга Ермолаева». Он ценил Бондина за умение изобразить рабочий быт, передать язык рабочей среды.

Всякое отступление от жизненной правды, особенно у современных писателей, возмущало его до глубины души; он требовал точности и в художественном произведении и в газетном публицистическом материале.

Два автора, совместно написавшие пьесу, читали ее в присутствии Павла Петровича. Он сидел в своей обычной позе, опустив голову. Кончилось чтение, и Павел Петрович взял слово.

— Вот у вас герой пьесы падает в шурф и сразу же произносит монолог. А представляете вы глубину шурфа? Пишете о том, что за Полярным кругом создают оранжереи, целые «зеленые цехи», и выдаете это за новинку, а знаете ли вы, что еще сто лет назад русские ученые занимались проблемой озеленения Севера?

В произведении одного молодого писателя, талантливом и интересном, рассказывалось, как председатель колхоза разрешил юным туристам взять бревна для сооружения плота. Павел Петрович с возмущением говорил:

— Если был где-нибудь такой председатель, так он или дурак, или преступник, которого надо судить за расхищение колхозной собственности. Вот к чему приводит незнание действительности!

На одном из «четвергов» обсуждали рукопись очерков о городе Карпинске. Автор нагромоздил кучу сырого материала, очень небрежно обработал его и, естественно, сразу же вызвал резко отрицательную реакцию со стороны участников обсуждения. Но в горячих выступлениях критиков этой вещи трудно было отыскать главное, что помогло бы автору найти кратчайший путь к исправлению ошибок. Этот путь указал Павел Петрович.

— Надо ведь о читателе думать, — говорил он своим слегка глуховатым голосом. — Очерк-то ведь художественная литература... Вот я спрашивал об историческом прошлом. У другого города двести лет история, а сказать нечего. Карпинск — особь статья. Почему, например, когда в России было всего сто горных инженеров, один из них, Карпинский, попал в Богословск? Значит, чем-то отличался Богословск от других заводов. Неспроста это.

Вот это и надо раскрыть. А сборник что ж... сборник весь надо перелопатить.

О поэзии Павел Петрович говорил обычно в шутливом тоне. Об одном поэте из рабочих сказал:

— Какой хороший слесарь пропал!

А когда один такой поэт вернулся с фронта, Бажов буквально огорошил его:

— Все еще стихи пишешь? А сколько тебе лет-то? Пора бы и в ум войти...

О Маяковском говорил уважительно:

— Много ли у нас после Маяковского написали равного Маяковскому? Совсем мало...

Вышла в свет книга местного автора, фантастический роман. Встретил его Павел Петрович сдержанно.

— Трудно писать фантастические романы. В будущее-то ведь надо глядеть марксистским глазом. Вот раньше в толстых журналах печатали переводные романы, вроде послесловия, в конце книги. Один такой роман с продолжением в конце семидесятых годов был напечатан в «Русском вестнике». Какого-то француза... «Железная рабыня» называется... Так вот, француз этот писал о том, что через пятьдесят лет даст электричество. И не нашел ничего лучшего, как применить электричество для очистки Сены... До чего же убогая фантазия! Посмотрел бы этот француз, как у нас электричество работает! Надо бы разыскать этот роман да сопоставить с нашей электрификацией.

Постоянно напоминал он о писательской «вышке», о необходимости честно и упорно трудиться, о художественном мастерстве. Однажды в беседе со мной и Ладейщиковым он сурово отозвался о наших статьях, помещенных в предисловии к пятитомнику Мамина-Сибиряка.

— Вот вы все на социологию напираете. А где же эстетический анализ? Ведь Мамин-то был ху-дож-ник.

На одном из писательских собраний, где было много литературной молодежи, Павел Петрович сказал:

— Про старое пишу потому, что знаю, чего вы не знаете, а про новое вам надо писать.

Отвечая на вопрос о качестве наших произведений, он высказал горькую истину:

— Надо, чтобы на наши «четверги» ходили люди и не литературные. Из самой гущи жизни. Почему мы пишем слабо? От бедности впечатлений. Отсюда и неизбежное самоповторение.

7

Скромность — свойство людей большого ума и большого сердца. Павел Петрович в полной мере обладал этим свойством.

Припоминается один, почти анекдотический, случай. Дело было на избирательном участке. Происходили выборы в Советы. В то время Павел Петрович уже вышел на пенсию по инвалидности и среди прочего «неорганизованного» населения был приглашен на избирательный участок прослушать беседу агитатора. Как человек дисциплинированный, он явился одним из первых.

Большинство присутствующих составляли дети и женщины-домохозяйки. Тема беседы заключалась в противопоставлении старому нового, — разумеется, на уральском материале. Агитатор, молодой паренек, очень бойко рассказал о новом, о наших достижениях, о росте промышленности Урала, но как только дошел до прошлого, начал спотыкаться. Заметив седую, стариковскую бороду Павла Петровича, он «ухватился» за нее, как за спасительный якорь:

— Вот ты, дедушка, наверно, давно живешь на свете?

Павел Петрович улыбнулся.

— Подходяще.

— Ты, конечно, хорошо помнишь, как жилось рабочему человеку при царизме?

— Ну, как не помнить!

— Так вот, расскажи-ка нам, дедушка, как вам тогда жилось.

— Что ж, это можно.

И «дедушка» начал рассказывать о том, как скитался отец его по заводам, как обсчитывали рабочих сысертские «заправилы», как на спичечной фабрике у Белоносихи сгорали в несколько лет молодые, сильные люди, как погиб талантливый импровизатор по прозвищу Мякина. О многом страшном из прошлого Урала рассказывал

«дедушка». Лилась и лилась увлекательная беседа. И по мере того как Павел Петрович говорил, у агитатора вытягивалось лицо — уж больно складно и ярко текла речь незнакомого старика...

— Кто это? — в смятении прошептал он на ухо ближайшему из присутствующих.

— Бажов Павел Петрович, писатель.

Кончилась беседа. Агитатор сконфуженно благодарил Павла Петровича и извинялся:

— Простите, не знал, что вы Бажов...

— Пустяки, — отвечал Павел Петрович. — История — мой хлеб.

8

С нежностью и гордостью говорил он о советском человеке.

— Был у меня один знакомый — бывший комиссар финансов... В районном масштабе. Казалось бы, интеллигентный человек. Так он в тысяча девятьсот восемнадцатом году приехал в свое село, пошел в церковь, надел на себя ризу и сплясал в алтаре. Вот ведь какая психология. И люди-то ведь были неплохие. Чистые сердцем, преданные делу революции. Но культура была другая. Теперь не то. Если раньше поколение измерялось десятилетиями, так теперь оно измеряется пятилетками. Да что пятилетками! Каждый год приходят сотни тысяч высокообразованных молодых людей. А что будет через десять лет, мы даже представить не можем...

С глубоким уважением говорил он о советской женщине — работнице и матери.

— Читаю журнал «Советская женщина»... Ну, хорошо... Пишут о докторах химии, о лауреатах, о Героях Социалистического Труда. А вот вижу однажды фотографию — звено Макаровых. Восемь женщин — и все Макаровы, заметь. Стало быть, одна семья. Воспитала же эта самая Макарова-мать таких дочерей! А ведь это дело-то государственное. Приходил ко мне недавно бывший партизан. Сейчас ему пятьдесят четыре года. Так он успел побывать и на этой войне. Шестерых сыновей на войне потерял, получил там ранение. Теперь осталась одна дочь.

Она врач и тоже военная. С парашютом прыгала к партизанам. Геройская семья. Я вот думаю, что мало мы пишем о женщине-матери, о ее роли в жизни. А ведь она и почетная, и тяжелая, и, в конце концов, самая главная. Обидно иной раз бывает, когда видишь, что некоторые женщины забывают о своих материнских обязанностях, пренебрегают ими. Другая, смотришь, живет сама по себе, на холостом положении, семьи у нее нет. Неправильно это...

И вот последние встречи. Все так же сидит Павел Петрович за столом, среди книг и рукописей. Так же широкая седая борода ложится на грудь. Он красив той благородной старческой красотой, какую дает людям честно прожитая, большая жизнь.

Даже в последние месяцы жизни сохранил он интерес к окружающему — к событиям, к людям, к литературе.

Свердловск



В. БАЖОВА

О МУЖЕ

Вдали от центра, на тихой улице уездного города Екатеринбурга, стояло довольно мрачное кирпичное здание. В нем помещалось епархиальное женское училище. Здесь, в основном, учились те, чьи родители не имели возможности вносить высокую плату за обучение в гимназии. При школе было общежитие. Школа готовила учителей для города и сельских школ.

Вспоминается длинный школьный коридор в день 1 сентября 1907 года. Ученицы шумно делились впечатлениями о том, как провели каникулы. Но не только этой встречей были взволнованы ученицы — они ждали прихода нового учителя русского языка. Прозвенел звонок, с шумом вошли в класс, чинно расселись по местам. Послышалось покашливание, и в класс вошел человек среднего роста, с красивой, густой бородой и чуть волнистыми русыми волосами. Но особенно привлекли внимание его умные и какие-то лучистые глаза. Это был наш новый учитель русского языка Павел Петрович Бажов.

Не только мы присматривались к новому учителю, но и он, когда поднялся на кафедру, испытующе обвел взглядом притихший класс и чуть приметно улыбнулся.

Казалось, подумал: «Посмотрим, что вы за народ». Раньше он преподавал в мужском духовном училище. Павел Петрович любил своих учеников. Мальчики — живой, восприимчивый народ, работа с ними была интересней. Как я узнала впоследствии, он боялся, что девочки будут пассивными слушательницами. Но уже вскоре после начала занятий с нами молодого учителя мы почувствовали живой интерес к его предмету.

Первый урок его начался простой беседой. Павел Петрович говорил о значении глубокого знания русского языка.

Павел Петрович резко отличался от большинства преподавателей, державшихся чопорно и официально. Между учителем и нами установился постоянный тесный контакт. Хотелось лучше подготовить урок, лучше ответить. На его уроках не было равнодушного отношения к предмету, зубрежки.

Уроки русского языка строились на многочисленных примерах, взятых из русских былин, из басен Крылова, стихов Пушкина, Некрасова, Лермонтова, из произведений Тургенева, Толстого, Лескова, Чехова.

Любое, сухое и трудное на первый взгляд, грамматическое правило становилось доступным, понятным, живым в изложении Павла Петровича, прививавшего нам вкус и любовь к русскому слову.

На его уроках казалось, что учитель приходит в класс и свободно импровизирует. Между тем эта простота и доступность изложения достигались путем тщательной, длительной подготовки. Впоследствии Павел Петрович говорил:

— Мне приходилось работать с подростками, и, разумеется, здесь всегда могли возникнуть неожиданные вопросы, поэтому надо было готовиться серьезно и широко. Больше всего трудностей было в области правописания. Это была самая кропотливая, самая скучная часть работы, в связи с чем я много читал и рассказывал детям, учил их четко излагать мысли. Все это требовало подготовки и знания литературы, а также знакомства с различными предметами, особенно из области естественных наук. Надо было удачно подобрать материал,

чтобы он служил для развития умственных способностей учащихся, для сознательного изучения родного языка.

Очень внимательно подходил Павел Петрович к оценке ученических работ. Особенно не любил он «красивостей», которыми часто изобиловали наши сочинения.

«Погоня за искусственными построениями ничего, кроме вреда, не принесет». «Не забывайте, что красота слога прежде всего — в простоте». «Не забывайте правила: чем проще, тем лучше». «Избегайте всего искусственного». Подобные замечания можно было встретить на полях многих ученических тетрадей, правленных рукой Павла Петровича.

Он обладал большой выдержкой и умением владеть собой. Не бывало случая, чтобы он повысил голос или резко оборвал ученицу, плохо знавшую урок. Если его что-нибудь раздражало, он хмурил брови и несколько раз проводил рукой по волосам: всем становилось ясно, что Павел Петрович чем-то недоволен.

Павел Петрович не ограничивал своей деятельности преподаванием русского языка. Он выступал как педагог в самом широком смысле этого слова. В частности, он рекомендовал учащимся книги для внеклассного чтения. Очень резко и насмешливо отзывался он о книгах Чарской, заполнявших в ту пору все школьные библиотеки:

— Они не раскрывают перед читателем подлинной жизни, не говоря о труде, а учат скользить по поверхности жизни, маня легкими удовольствиями, уводят от действительности в царство мечтаний.

Подобной псевдодетской литературе он противопоставлял произведения русских классиков.

У Павла Петровича в эти годы была большая, хорошо подобранная библиотека. Имелись здесь собрания сочинений Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, Н. Г. Чернышевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков, а также книги по истории и экономике, естествознанию и другим отраслям знания. Павел Петрович очень много читал, делал выписки из книг. Уже тогда он вел картотеку, работал над языком. В основном на карточки выписывались народные пословицы, поговорки. Записывал он и жизненные эпизоды, подслушанные разговоры, присловья, шутки, целые сценки из жизни. Таким обра-

зом, рядом с общероссийской пословицей стояло уральское присловье, слово, факт.

Своей личной библиотекой он позволял пользоваться ученицам. Всегда беседовал о прочитанном, углубляя наше понимание не только художественного, но и идейного значения произведений русских классиков.

В 1910 году умер Лев Николаевич Толстой. Смерть его произвела на нас сильное впечатление. Павел Петрович на уроках и в личных беседах разъяснял все значение творчества этого великого писателя, значение его острой критики социальных порядков.

Впоследствии одна из бывших учениц Павла Петровича, А. Алексеева, ставшая педагогом Красноуфимской школы, говорила на собрании, посвященном выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР: «Хорошо помню Павла Петровича, его теплое, простое отношение к нам, ученицам. Павел Петрович всегда отличался тем, что старался отдавать людям все свои знания. Он привил мне, как и многим другим своим ученикам, любовь к нашему родному, великому языку, к литературе».

В 1911 году, когда я окончила училище, началась наша совместная жизнь с Павлом Петровичем. Она сложилась на основе глубокой любви, большой дружбы и доверия. Эти чувства прошли через всю нашу жизнь, не угаснув до последних дней.

В первые годы нашей совместной жизни Павел Петрович много уделял внимания работе над историей Урала и Пугачевского бунта. Он часто бывал в архиве. Несколько лет он занимался изучением французского и немецкого языков по самоучителю. Вместе мы читали много исторической и художественной литературы, ходили в театры, чаще в оперный.

Павел Петрович никогда не пел, не играл на музыкальных инструментах, но музыку любил. Он очень любил гитару. В молодости я немного пела, аккомпанируя себе на гитаре. И не было для него большего удовольствия, чем в вечерние, свободные часы послушать гитару. Он находил приятным и задушевным этот инструмент. Несколько позже мы часто бывали у краеведа и библиографа, страстно влюбленного в Урал, Андрея Андреевича Анфиногенова и его жены Надежды Пав-

ловны. Музыкальные дуэты Анфиногенова и врача Одинцова доставляли Павлу Петровичу истинное наслаждение. И в более поздние годы очень радовался Павел Петрович, когда слышал по радио или в концерте ставшую почему-то редкостью игру на гитаре. Он сердился на меня за то, что в повседневных заботах о детях, о семье я совсем забросила музыку. Гитара висела у нас в комнате до последних лет, хотя после смерти сына Алеши, очень музыкального мальчика, никто больше не прикасался к этому инструменту.

Павел Петрович был замечательным семьянином. Его отношения с детьми устанавливались на основе большой дружбы. В доме никогда не было ссор, недоразумений, тяжелых сцен.

К женщине-матери он вообще относился с огромным уважением. Помню, одна молодая женщина, инженер-химик, пожаловалась, что не может работать, так как вынуждена все время посвящать ребенку. Павел Петрович ответил ей: «Напрасно вы огорчаетесь. Я считаю, что быть хорошей матерью не менее трудно и не менее почетно, чем быть хорошим инженером».

В самые трудные и ответственные моменты жизни, когда Павел Петрович был на фронте и потом, находясь на нелегальном положении, работал в Западной Сибири, он всегда помнил о семье. Его письма того периода проникнуты заботой о жене и детях, о будущем всех детей. Вот одно из его писем, датированное осенью 1918 года:

«Валянушка! Родная моя, хорошая, дорогая! Ребята! Где вы все? Что с вами? Как тяжело не знать этого! Хоть и уверяю себя, что ничего с вами не сделали, но полной уверенности все-таки не имею, и мне представляются картины одна другой безотраднее. Трудно, оказывается, быть политическим работником, оставив в таких условиях семью. Тяжело. Одно время я был уже совсем близко, только несколько верст отделяло меня от вас, но пришлось отступить. Ты все-таки не унывай, крепись и заботься о ребятишках. Все в них. У них все впереди. И для своих и для чужих ребят не могу согласиться, чтобы опять допустить владычество этого проклятого денежного мешка. Его свалить — ничего не жаль. И все-таки свалим!

Из наших, которых ты знала, правда, многих нет, но на смену им приходят новые, и силы не слабеют, а крепнут, если не здесь, то в других местах. У меня все-таки уверенность, что к зиме будем в своем уезде, вернусь и я, если, конечно, уцелею. Наши меня, правда, берегут, но случайности всякие бывают. Работы у меня, как везде и всегда, полно. Ею только спасаюсь. Если выдается свободный час, то это всего хуже — все думаешь, что с тобой, с Алешкой, с девчонками. Ночи не сплю сплошь, а как-то это на меня мало действует, вошло в привычку. Но ты не бери с меня примера. Помни, что у тебя на руках трое малышей и у самой еще много осталось впереди. Не унывай, заботься о ребятах, жди меня. А если не случится возвратиться, не раскисай, не падай духом, у тебя дети. Помни мою последнюю просьбу — воспитай, как я говорил. Прощай, поцелуй ребят».

И позднее, постоянно находясь в командировках, будучи целиком поглощен работой, Павел Петрович всегда помнил о семье, заботился о ней.

В период коллективизации он долго жил в районе Ирбита. К десятилетию Великой Октябрьской социалистической революции «Крестьянская газета» подробно освещала путь советского крестьянства. Павел Петрович ездил по деревням Ирбитского района. Его корреспонденции часто печатались в газетах. Накопились впечатления и для книжки очерков «Пять ступеней коллективизации». Павел Петрович целиком был захвачен происходящими в деревне событиями.

«12/IV 1930 г.

Валянушка, ну, я опять пока в Зайкове. На днях будет в Скородуме собрание уполномоченных артели. Мне придется дождаться этого собрания. А потом поеду в Черноришк, как предполагал. Уже сговорился с председателем артели — примерно после 15—16 направлюсь на недельку, может быть и больше, в этот район. Там, кроме Чернорицка, придется, вероятней всего, поработать еще в Белослудском селе. Кстати, там говорят, на пригорках скорее сохнет. Есть предположение перебросить туда трактора и начать пахоту неделей раньше, чем ожидают по району. Очень бы хорошо получилось, если бы это удалось. Все-таки чуть не десятую часть пахоты

можно бы возложить на машину. Вчера была проверка тракторов — оказались в удовлетворительном состоянии.

Меня все больше и больше начинает захватывать деревенская весенняя суматоха, тревога о погоде — от нее ведь зависит быстрота и успешность дела. Приближаются те горячие дни, о которых сложилось присловье: «О вешну за вицей в куст некогда...» Для успешной работы мне нужно лишь, чтоб у вас там все было как надо. Ну, всего хорошего. На улице шумят тракторы, прибыли новые! Целую крепко ребятишек...»

Павел Петрович любил Урал особенной любовью. Любил уральскую природу, климат нашего края, «зиму с морозцем». Где бы нам ни приходилось бывать — в Крыму, на Кавказе, в Поволжье, в Сибири, на Алтае, — его неизменно тянуло на Урал, к его горам, лесам с высокими мачтовыми соснами, глубоким горным озерам, к людям Урала. Много раз в жизни ему предлагали переселиться в самые различные места, но он неизменно отвечал: «Нет лучше Урала! На Урале родился, на Урале и умирать стану».

Из времен года Павел Петрович любил раннюю осень, так называемое бабье лето. Едва ли молодая зелень весны сравнится с красотой окраски осеннего леса. «Одна рябина чего стоит!» — любил говорить он. Но в последние годы жизни осенние краски наводили на него грусть. С особой силой полюбил он весну.

«Какой-то неуловимый и в то же время всеми чувствуемый и понимаемый запах весны и есть та привязка к жизни, которая не ослабляется, а чуть ли не усиливается с годами», — говорил он. «Ну, теперь повеселее станет, дни будут прибывать, не заметишь, как и весна подойдет». «И человек радуется, что за зимой придут весна и лето. А об осени и зиме, которые тоже неизменно придут, никто почему-то не думает».

В свободные от работы часы Павел Петрович любил заняться физическим трудом: зимой — уборкой снега, осенью — пилкой и колкой дров, весной и летом — работой в саду. Самым большим удовольствием для него было «копаться в земле до пота». «Вот такой отдых — лучше всякого курорта», — говорил он. Весь наш небольшой сад он возделал собственными руками. Липу он

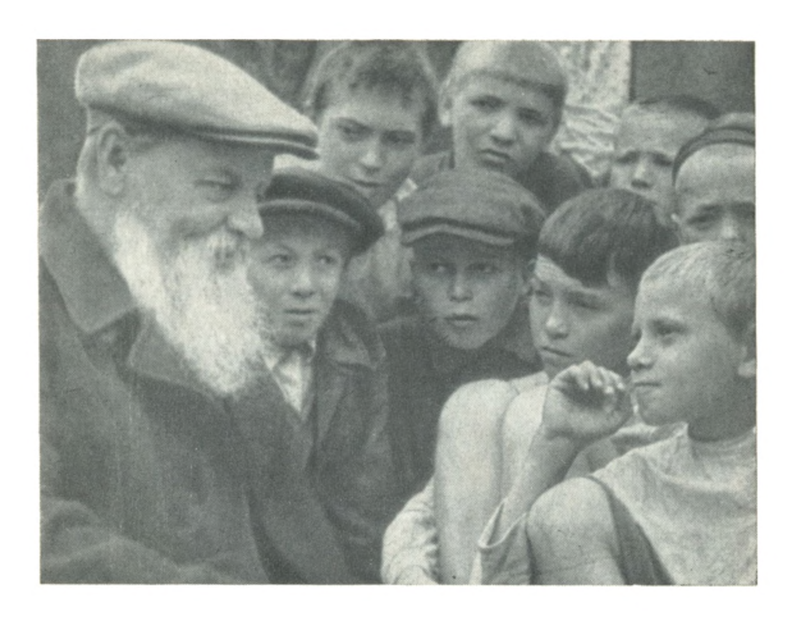
посадил крошечным деревцем тридцать лет тому назад, а позднее вместе с детьми принес из леса березку, кусты рябины. Последние годы жизни увлекался посадкой фруктовых деревьев.

В 1914 году семья была уже большая, жить было трудно, и мы переехали в уездный город Камышлов, где жили наши родственники. Павел Петрович с первых же дней жизни в Камышлове завел знакомство с рабочими паровозного депо В. Д. Жуковым, Д. И. Лещевым, с рабочими обувной фабрики Подпориным, Удниковым и другими. Дружба с рабочими-большевиками, которая началась еще в дореволюционные годы, оказала серьезнейшее влияние на него. Эти люди потом стали часто бывать у нас в доме, иногда засиживались до глубокой ночи. В оживленных беседах затрагивались наболевшие вопросы того времени — война, пути дальнейшего развития России. Когда разговор заходил об истории, литературе, искусстве, говорил больше Павел Петрович, а остальные жадно слушали его. Помню, как-то после такой беседы, в наступившей тишине, Василий Данилович Жуков воскликнул: «Эх, нам бы такую грамоту, если не нам, то хоть детям нашим!» — «Завоюем!» — откликнулся Павел Петрович. Сказал уверенно, твердо.

Павел Петрович с большой теплотой и уважением относился к своим друзьям — рабочим, радовался упорству, с каким они овладевали знаниями. Он говорил, что эти рабочие «ненавидели свою малограмотность, как классового врага, и во что бы то ни стало хотели ее победить».

Однажды, уже в годы гражданской войны, на фронте, увидев в руках В. Д. Жукова книгу Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма», Павел Петрович высказал сомнение по поводу того, готов ли недавний рабочий к восприятию этой книги. Ответ Жукова надолго запомнился Павлу Петровичу:

— Правильно говоришь, трудно! А я все-таки пойму! Десять раз прочитаю, а добьюсь, добьюсь! — Василий Данилович добавил, что читал различные брошюры, но многие из них разочаровали его: — Похоже, что тебя учат, как маленького, а обидно, и как-то после этого не совсем веришь тому, что читаешь. Вот я и решил читать Ленина.



П. П. Бажов среди пионеров Косого Брода.



П. П. Бажов в кругу семьи.

Павел Петрович рассказывал, что в последний раз встретился с В. Д. Жуковым накануне его гибели, во время боев под Пермью, и на груди смертельно раненного товарища видел эту же книгу Ленина.

Именно о рабочих типа Жукова с благодарностью вспоминал Павел Петрович, как о людях, которые, сами будучи неграмотными и малограмотными, открыли ему, «интеллигенту того времени, правильный путь в жизни».

К началу 1917 года встречи у нас на квартире участились, причем каждый раз приходило все больше рабочих. Это могло вызвать подозрение у полиции. Место собраний было перенесено в загородный сад, на Бамбуковку, в здание депо.

В феврале 1917 года у кружка наладилась связь с революционной группой расквартированного в городе запасного Сто тридцать седьмого полка. С первых дней Февральской революции Павел Петрович и все члены кружка работали по заданиям большевистской организации. Они принимали активнейшее участие в организации общегородских собраний, особенно после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Я нередко бывала с Павлом Петровичем на таких собраниях, устраивавшихся чаще всего в здании городского кино. Обычно помещение наполнялось до отказа. Многие рабочие приходили целыми семьями. Но теснота и духота не мешали людям по пять-шесть часов слушать речи ораторов, принимать участие в спорах. На собраниях выступал и Павел Петрович. Он говорил, как всегда, тихо и спокойно, но за этим спокойствием чувствовалась горячая убежденность в правоте революционного дела. Слушали его всегда внимательно, встречали и провожали горячими аплодисментами. Окружающие относились к Павлу Петровичу с уважением.

Начиналась подготовка к вооруженному восстанию. Под руководством большевиков шла организационная работа по выявлению и собиранию оружия, сплачивались боевые отряды. Помню, как-то ночью Павел Петрович уходил на очередное задание. Я молча провожала его. Ничего не говоря, не объясняя, он только крепко обнял меня и сказал:

— Ты всегда все понимаешь.

Началась трудная, ответственная полоса нашей жизни. Впоследствии, обращаясь мысленно к этим годам, Павел Петрович говорил:

— Вспоминаются трудные, но прекрасные дни гражданской войны, каждый день приносил новые неожиданности, новые события.

В апреле 1917 года он был председателем Камышловского исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в феврале 1918 года — комиссаром просвещения, в июле — ответственным редактором камышловской газеты «Известия», принимал участие в организации первых отрядов, создавшихся для борьбы с контрреволюцией.

В 1918 году Павел Петрович был принят в партию.

С началом гражданской войны события развивались стремительно. С востока на Урал двигалась армия Колчака. Над Камышловом нависла угроза захвата чехословаками. Советские органы в Камышлове предприняли изъятие ценностей из банков. Одним из членов комиссии по изъятию ценностей был и Павел Петрович Бажов. Он рассказывал так: «С одним из отрядов, организованных из крестьян Тамакульского села, в количестве 28 человек, по заданию уездисполкома, эвакуировали в Пермь ценности. По окончании эвакуации, в конце июля 1918 года, вместе со всем отрядом явились на фронт, который был тогда в Егоршине. Был зачислен, как тогда говорилось, в Особую советскую роту. Впоследствии эта группа была причислена к отряду Жукова, потом Окулова. Работу вел главным образом по отделу агитации и пропаганды. В октябре был секретарем ячейки штаба 29-й дивизии, заведовал подотделом политотдела дивизии, а еще раньше этого был назначен фактическим редактором дивизионной газеты «Окопная правда» (агитвагон). Вся работа эта протекала в условиях боевой обстановки».

Пять лет спустя о событиях гражданской войны на Урале Павел Петрович писал: «Общая обстановка тогда была жуткая. Черное кольцо, замыкавшее Республику Советов, становилось все теснее и теснее и, казалось, с каждым днем увеличивалось в своем объеме. Единствен-

ным утешением был Запад, где тогда загорались огни революции. Освобождение из тюрьмы К. Либкнехта, демонстрации в Берлине под лозунгами: «Да здравствует Ленин!», распад Австро-Венгрии, объявление Болгарской Народной Республики — все это давало надежду на близкую помощь пролетариата Запада».

В бою с колчаковцами под Пермью Павел Петрович был тяжело контужен, попал в руки врага и после зверского избиения заключен в тюрьму. Через некоторое время ему удалось бежать. Попытка пробраться к своим через линию фронта окончилась неудачей. Части Красной Армии и партизанские отряды отступили за Каму, и путь к ним преграждали многочисленные колчаковские заслоны. Павел Петрович решил направиться в Сибирь. Холодной уральской зимой, в легком пальто и сапогах, шел он ночами вдоль проселочных дорог, находя временный приют в деревнях и заводских поселках. Павел Петрович вспоминал, как однажды его, замерзшего, полуживого, подобрал в лесу крестьянин, уложил в дровни, укутал рогожей и, рискуя собственной жизнью, провез мимо колчаковского поста. Об этом пути из Перми в Екатеринбург, а потом через Камышлов в Томский урман Павел Петрович предполагал рассказать подробно в «Записках рядового крестьянского полка». Павел Петрович решил побывать в Камышлове, чтобы узнать, жива ли семья. В захваченном белогвардейцами городе его могли схватить. Пришлось изменить внешность, сбрить бороду и усы.

Мы в это время находились в очень тяжелом положении. В маленьком уездном городке, каким был тогда Камышлов, всем было известно, что я жена большевика и что муж ушел с частями Красной Армии. В квартире несколько раз производились обыски.

Я с детьми пыталась укрыться у сестры-учительницы в селе Спасском. Но и здесь свирепствовали белые. Сестру на второй день арестовали, увезли в Камышлов. Арестовали вторую сестру, тоже учительницу, зятя, тетку; племянника зарубили шашками.

Меня не трогали, видимо надеясь, что беспокойство о семье приведет сюда Павла Петровича и его удастся схватить. Школа, где я осталась с детьми и старушкой

матерью, непрерывно подвергалась обыскам. Мне пришлось в конце концов вернуться в Камышлов.

Ожидая ребенка, я попала в больницу и сразу же после родов была отправлена в заразный, скарлатинозный барак. Здесь и я и новорожденный тяжело заболели. И тогда меня, больную, с умирающим ребенком на руках, выписали из больницы. В эти дни и попал в Камышлов Павел Петрович. Позднее он говорил, что никогда из его памяти не изгладится картина той страшной ночи: темная, холодная комната, три фигурки скорчившихся от холода маленьких детей, жена в бреду и мертвый новорожденный сынишка.

Павлу Петровичу пришлось покинуть нас. И не только потому, что в городе свирепствовали белые и оставаться было опасно. Он ехал в Сибирь, где нужны были большевики, где тогда только начиналась партизанская война против колчаковцев. Через Тюмень, Омск, Каинск Павел Петрович пробирался в Томский урман, где принял деятельное участие в партизанском движении (в книжке «За советскую правду» отражена эта полоса его жизни).

Надо сказать, что Павел Петрович поехал в дорогу почти совсем больным, путь от Перми до Екатеринбурга в морозы, в плохой одежде, отозвался на его здоровье. Поэтому в Омске он попытался остановиться, поискать своих, но это ему не удалось — документ вызвал подозрения, подписи были сделаны плохо. Еле выбрался из Омска. Пришлось ехать дальше. А куда дальше? Ехать приходилось на площадке вагона в январе месяце. В дороге простудился. Совсем больным добрался до Барабинска.

В двенадцати километрах от Барабинска, в городе Каинске, Павлу Петровичу удалось получить документ учителя и выехать в дальний район уезда, где он связался с партизанским отрядом Михайлова и Мацука, оперировавшим в районе Томского урмана. После того как каратели уничтожили бо́льшую часть отряда, Павел Петрович с документом, сделанным барабинскими железнодорожниками на бланке страхового отдела, под фамилией Бахев, был направлен на Южный Алтай, на работу страховым агентом от Змеиногорского уезда,

Поселился в трех километрах от города Усть-Каменогорска, на Верхней пристани, в доме Рябовой Матрены Антоновны; двое сыновей ее, большевики, погибли от руки белогвардейцев. В это время Павел Петрович принимает участие в организации партизанского движения в районах Рудного Алтая. Разъезды, связанные с работой «страхового агента», давали возможность бывать в различных районах края, главным образом в Риддере на Бухтарме.

Едва я поднялась на ноги после болезни, как стала собираться вместе с детьми к Павлу Петровичу. От него к тому времени была получена весточка. Не остановили меня ни дальность расстояния, ни трудности и опасности пути. Была только одна мысль — жить и работать вместе. Уехала я из Камышлова тайно — иначе задержали бы колчаковцы. Много пришлось перенести за дальнюю дорогу во вражеском окружении, но всюду находились люди, которые нам помогали.

Одним из лучших моментов нашей жизни была встреча после долгой и страшной разлуки.

В конце 1919 года Павел Петрович с партизанскими частями вступил в город Усть-Каменогорск. На первом общегородском партийном собрании он был избран членом горкома, а позже — председателем уездно-городского комитета РКП(б).

В необычайно трудных условиях устанавливалась советская власть на Алтае. Сказывалась близость границы, за которой скрывались остатки разбитых белогвардейских войск. В районах действовали банды, опиравшиеся на кулачество. Павел Петрович часто уезжал в командировки и, возвращаясь, рассказывал, какими непроходимыми тропами приходилось ему пробираться, как встречали его казаки с Бухтармы.

Вся наша семья жила при упрофбюро, напротив помещался комитет партии. Часто к нам заходили ответственные работники, чтобы отдохнуть, наскоро перекусить и отправиться на ночные дежурства. Около Усть-Каменогорска то и дело проходили банды белых. Город усиленно приходилось охранять.

Распределялись посты, кому куда направляться; кому поручалась охрана моста, кому — дороги и разъезды,

кому — склады с продовольствием и т. д. Усталые, озабоченные, люди брали винтовки и уходили до утра. Уходил с ними и Павел Петрович. Часто бывало, что после дежурства кто-нибудь не возвращался... Эти тревожные, страшные ночи я проводила без сна, сидя на подоконнике, прислушиваясь к тревожной тишине, к беспокойному лаю собак, к разрывам снарядов где-то далеко, в горах. Сидела и ждала: вернется ли? Жив ли?

Днем тревога за мужа несколько ослабевала. Забывалась в работе. Была я членом женотдела. Принимала активное участие в создании детских домов, устройстве многочисленных сирот. Была активным членом первого в советском Усть-Каменогорске самодеятельного коллектива, возникшего при рабочем клубе «Красная звездочка». Там мне приходилось выполнять самые различные роли, от главной героини до суфлера. В клубе появились различные кружки, читальный зал. Создавалась библиотека Усть-Каменогорска. Помню, с каким чувством радости я поставила на полку первые десять библиотечных книг. Подбор библиотеки и выдача книг тоже отнимали много времени. Кроме того, на моих плечах лежала забота о детях.

Шел 1920 год. Как раз в это время группа партийных работников из Усть-Каменогорска была направлена в город Каркаралинск, расположенный западнее Семипалатинска. Старые боевые друзья настойчиво звали с собой на новую работу и Павла Петровича. Он очень хотел ехать, но пришлось задержаться — на губернской партийной конференции 1920 года Павел Петрович был избран в Семипалатинский губком партии. И мы перебрались туда.

По приезде в Семипалатинск мы вскоре услышали ужасную весть. Каркаралинск подвергся нападению банды белых, которая проходила от Петропавловска к границе Монголии.

Сорвав сторожевые посты, банда белых ночью ворвалась в город. Перерезали не только партийных работников и их семьи, но и всех служащих. На следующий день в учреждениях было пусто. А из партийцев остались живы только двое — они находились в командиров-

ке в Семипалатинске. Погибли все старые боевые друзья Павла Петровича и их семьи.

Работая в Семипалатинске, Павел Петрович заболел малярией. Болезнь совсем лишила его сил и свалила в постель. Врачи видели единственный выход в перемене климата.

В 1921 году по вызову из города Камышлова и с согласия Сиббюро ЦК РКП(б) Павел Петрович был откомандирован на Урал.

С тяжело больным мужем и с детьми я вновь отправилась в дальний путь. Транспорт работал с перебоями. Приходилось ехать в теплушках, в тамбурах, жить по неделе и больше на каком-нибудь полустанке. В дороге Павел Петрович заразился тифом. Ослабленный организм с трудом боролся с болезнью. После брюшного тифа начался паратиф, потом тифоид, в результате всего воспаление легких. Полгода жизнь Павла Петровича висела на волоске. Выздоровел он на Урале и уверял, что его спасла родная природа, по которой он так истосковался. Красота пейзажей Сибири и Алтая не могла вытеснить воспоминаний об Урале. Как только Павел Петрович начал вставать с постели, он просил, чтоб его уводили в лес. Там он сидел целыми часами и вдыхал целительный лесной воздух. К концу лета он так окреп, что врачи, которые не надеялись на его выздоровление, удивленно спрашивали: «Вы с какого курорта приехали?» — «С нашего, уральского», — отвечал Павел Петрович. Вскоре он смог вернуться к работе в камышловской газете «Красный путь».

В 1923 году мы всей семьей вернулись в Екатеринбург. Павел Петрович был назначен заведующим отделом крестьянских писем областной «Крестьянской газеты».

Впоследствии он говорил, что работа во фронтовой печати, особенно в «Крестьянской газете», дала ему столько жизненных наблюдений, так обогатила язык, что этого запаса он не мог исчерпать до конца жизни.

«Поток писем тогда измерялся тоннами, — вспоминал Павел Петрович, — а диапазон их был огромен: от мелких житейских вопросов до международных проблем в деревенском понимании. Какие ситуации, сколько ма-

териала для самых неожиданных поворотов, а язык! Это то самое, что только в молодости присниться может! Каким надо быть сухарем и чурбаном, чтобы не испытать на себе воздействия этой первозданной красоты».

Руководя работой своего отдела, Павел Петрович постепенно привлекал новых селькоров, направлял их внимание на наиболее важные стороны жизни. Селькоры любили Павла Петровича, доверяли ему, учились у него.

В годы коллективизации по заданию «Крестьянской газеты» и обкома партии Павел Петрович часто выезжал в деревню, подолгу жил там, активно участвовал в строительстве новой, колхозной жизни.

Стремление воплотить виденное и пережитое в художественных образах зрело у Павла Петровича давно. Еще до революции он много ездил по Уралу, изучал жизнь рабочих и крестьян. Сам он писал об этом:

«В дореволюционное время свыше десяти лет довольно пристально и не совсем бессистемно присматривался к жизни уральской деревни. Изучал историю своего края. Неплохо знал экономику и быт так называемой горнозаводской деревни, население которой жило не столько сельским хозяйством, сколько горными и подсобными заводскими работами. Видел жизнь и тех людей, которые являлись эксплуататорами, поработителями, хозяевами уральской промышленности».

Великая Октябрьская социалистическая революция по-новому поставила перед Павлом Петровичем вопрос о писательском труде. Впоследствии он часто говорил, что только советская власть дала ему возможность подняться до высот литературы.

На Первом съезде писателей, в 1934 году, М. Горький обратился к писателям с призывом: «Собирайте наш фольклор, учитесь на нем, обрабатывайте его. Он очень много даст материала и вам и нам, поэтам и прозаикам Союза». В 1936 году в Свердловске областное издательство задумало издать сборник «Уральский фольклор».

Беседа с составителями сборника очень взволновала Павла Петровича. Ему сообщили, что рабочий фольклор в сборнике совсем не представлен. Вернувшись домой,

он извлек свою картотеку, пересмотрел все свои записи более ранних годов. Очевидно, еще в 1925 году у него зародилась мысль о написании сказов. Именно в эти годы он вместе со старшими детьми обошел пешком все старые уральские заводы. Побывал в Полевском, Северском, Верхне-Сысертском. На протяжении десяти лет, с 1925 по 1935 год, он еще раз шесть бывал на уральских заводах.

Именно создание сборника «Уральского фольклора» натолкнуло Павла Петровича на мысль серьезно заняться воспроизведением того, что накопилось, что помнилось, о чем давно мечталось написать. Ведь его сказ «Водолазы» показывает, что путь к сказам Павел Петрович искал давно.

В 1936—1939 годах появились первые сказы «Малахитовой шкатулки». Помню, в день нашей серебряной свадьбы, в саду, под липой, Павел Петрович в кругу семьи прочел сказ «Медной горы Хозяйка». Мы были его первыми слушателями и ценителями. Каждый новый сказ прежде всего читался в кругу семьи.

Годы Великой Отечественной войны были для Павла Петровича годами яркого творческого горения. Его жизнь была до предела заполнена заботами о писательской организации Свердловска, об устройстве быта своих и приехавших из разных городов писателей, агитационной работой, поездками на заводы, в госпитали, в колхозы, выступлениями в рабочих клубах, школах и т. д. Он делал все для того, чтобы превратить свое творчество в средство активной помощи родному народу. Первое время у него еще были колебания: «Нужны ли сейчас мои сказы?» — неоднократно спрашивал он себя.

Сама жизнь ответила ему на этот вопрос. В трудном для нашей страны 1942 году в одной из московских типографий печаталась его книга «Малахитовая шкатулка», книга о прошлом русского народа, о его мудрости, мастерстве, о любви к родине.

И народ высоко оценил произведения Павла Петровича. Бойцы в письмах с фронта много раз подтверждали, что книга нужна, что она учит их любви к отчизне и ненависти к врагу.

«Ваша книга о народной мудрости и ненависти к врагу учит нас любить нашу родину, гордиться вековой славой уральцев, беречь нашу отчизну от посягательства врагов», — писали ему гвардейцы-танкисты.

«Мы пойдем с вашей книгой на Берлин», — писали бойцы-уральцы.

Из-под Сталинграда воины-герои писали Павлу Петровичу: «Идя в бой с врагом, мы не расстаемся с вашей замечательной книгой, с образами героев, борющихся за справедливость. Мы хотим, чтобы вы были нашим почетным гвардейцем, шагающим с нами вперед, к окончательному разгрому врага — гитлеровских бандитов».

Павел Петрович поддерживал тесную связь с фронтовиками. Не в одной фронтовой газете можно было прочесть строки, обращенные к советским воинам, за подписью: «Ваш старый уральский сказочник».

В годы войны творчество Павла Петровича стало острым и злободневным. Его сказы о прошлом уходили от волшебства и фантастики, смыкаясь с острым оружием современной публицистики.

Последние годы нашей с ним жизни были наполнены радостными, волнующими событиями. Писательский труд Павла Петровича был высоко оценен. Правительство наградило Павла Петровича орденом Ленина, присвоило ему звание лауреата Сталинской премии. Народ дважды избирал его депутатом Верховного Совета СССР. Но и окруженный всеобщим вниманием, почетом Павел Петрович оставался таким же простым и скромным человеком, каким он был всегда.

Свердловск



А. БОНДИНА

ПЕРВЫЕ НАЧИНАТЕЛИ

Много хорошего слышала я о Павле Петровиче Бажове от моего покойного мужа, Алексея Петровича Бондина.

Они познакомились еще в двадцатых годах, в пору становления советской литературы на Урале.

Жили мы в Тагиле, но муж часто бывал в Свердловске и встречался с Бажовым на литературных собраниях.

В Павле Петровиче он сразу почуял своего единомышленника — они одинаково понимали роль и задачи советской литературы.

Помню, в каком возбуждении приехал домой муж после обсуждения в свердловской литературной организации его повести «Связчики».

— Навалились, понимаешь ли, на меня, ругают за то, что мои персонажи, рабочие, говорят «областным» языком... И вдруг встает Бажов: «Алексей Петрович Бондин сам потомственный рабочий. Ему ли не знать, как говорят уральские рабочие? Что возражать против местных слов? Он не без разбору ими пользуется, отбирает наиболее красочные, емкие. Название повести — превосходно! «Связчики» — слово уральское, наше... оно

понятно всем — корень понятен. И это название сразу определяет взаимоотношения главных героев. Достоинство вещи в том, что автор осветил явления и факты революционным сознанием. Бондин на верном пути. Давайте не будем сбивать его с толку!»

Муж с волнением продолжал:

— Понимаешь, почему мне дороги эти слова? Уверенность дали мне, направление. Теперь меня уж не свернешь с него.

...Бажов не ограничился одним выступлением в защиту Бондина. Он взял на себя труд отредактировать первое издание романа «Лога». Надо сказать, что чрезвычайно тактично и бережно отнесся он к этому делу.

Павел Петрович Бажов, высоко ценя самобытность автора, любя народный язык, не зачеркнул без согласия Бондина ни одного слова. Целыми часами, целыми днями сидели два Петровича, склонившись над рукописью...

— Уж лучше пусть потом упрекают, что недостаточно правил рукопись, чем сознавать, что обесцветил ее, — не один раз говаривал он автору.

Чем дальше, тем теснее сближались Бажов и Бондин.

Был такой случай.

С юбилея, который состоялся в день шестидесятилетия Бажова, муж приехал разгоряченный, рассерженный.

— Юбилей-то прошел хорошо, народу собралось много... душевные речи, адреса и все такое... Артисты сказы читали... Все хорошо было. Я дважды чокнулся с юбиляром и даже сказал ему: «Все знают Урал железный да медный. Пусть теперь узнают Урал литературный!» Поцеловались... растрогались оба...

— Так чем же ты недоволен?

— Бе-зо-бра-зие! В президиум поступило предложение: обратиться с просьбой к правительству о награждении Бажова орденом Ленина. А председатель не огласил записку... хоть я и настаивал. Нет, этого дела оставить нельзя!

И Бондин тут же написал в Правление Союза советских писателей. Через полтора месяца пришел ответ. Письмо это хранится в архиве Бондина. Правление со-

общало, что, так как «Малахитовая шкатулка» еще не вышла из печати, вопрос о награждении ставить преждевременно.

— Это правда, — сказал муж, окончив чтение письма. — Как я не подумал об этом? Ведь в какое неудобное положение поставили бы мы Петровича, огласив записку... Но я уверен, что рано или поздно он эту высокую награду получит!

...И вот наконец вышла в свет долгожданная «Малахитовая шкатулка».

Показывая мне подаренную Бажовым книгу, муж, весь сияя, сказал:

— Видишь, и мы не лыком шиты, не по-банному крыты! Нас считают периферийными писателями. А попробуй-ка втисни Бажова в периферийные рамки!.. Не выйдет это!

Любуясь книгой, муж продолжал:

— Павел Петрович подарил мне ее, как говорится, горяченькую: при мне получил в издательстве авторские экземпляры. Погляди автограф: «Старому другу Алексею Петровичу Бондину без дальнейших слов!» И правда, какие еще нужны тут слова?

Павла Петровича я увидала впервые в самую тяжелую пору моей жизни — у гроба мужа.

Ошеломленная страшным, внезапным ударом, я плохо воспринимала окружающее. Не дошло до меня, что Бажов приехал на похороны, не услышала, когда он вошел в комнату... Вдруг рядом со мной чей-то тихий, полный печали голос произнес:

— Эх, Петрович, Петрович, а я думал — ты меня похоронишь...

Оглянувшись, я увидела невысокого, коренастого человека с пушистой седеющей бородой. Светлые глаза проникновенно, с каким-то глубоким сочувствием, с каким-то желанием пробудить во мне силу, глядели на меня.

— Вот при каких обстоятельствах, Александра Самойловна, пришлось нам познакомиться...

Пожимая руку, он продолжал глядеть своими гово-

рящими глазами. Я точно читала в них и скорбь по ушедшему другу, соратнику в литературных боях, и призыв: «Будь мужественна!»

Ровно через год состоялся вечер, посвященный памяти А. П. Бондина. В Тагил снова приехал Павел Петрович Бажов.

Вновь вижу возникшую в памяти картину.

Медленным, по-стариковски тяжелым шагом поднялся на трибуну Павел Петрович, обвел взглядом затихший зал.

Не было у него ни конспекта, никаких бумажек не было. Перед ним лежали книги Бондина — «Лога», «Моя школа», «В лесу», «Ольга Ермолаева».

Он брал то одну, то другую книгу, неспешно искал нужную ему страницу, продолжая свой доклад о жизни и творчестве покойного писателя... Впрочем, слово «доклад» здесь неуместно. Это был душевный, теплый рассказ о Бондине и созданных им книгах.

Я навеки запомнила этот вечер еще и потому, что Бажов решительно и твердо сказал то, что вдребезги разбивало ложное мнение, составившееся у критиков о Бондине:

— Алексей Петрович Бондин не подражатель и не продолжатель Мамина-Сибиряка, как это частенько утверждают наши критики. Бондин — писатель самобытный. С марксистских позиций он показывает жизнь уральских рабочих. В этом его заслуга... Бондина еще не оценили в полной мере, но его оценят со временем.

Шли годы. Изредка я встречалась с Павлом Петровичем. Меня трогало то, что среди кипучей его жизни, среди массы общественных дел он сохранил теплую, прочную память о моем муже.

В 1948 году я пришла к нему, чтобы вручить трехтомник произведений А. П. Бондина.

Бажов долго перелистывал книги. Казалось, он глубоко задумался. Потом, взвесив все три тома на ладони, проговорил:

— Веские книги... во всех смыслах веские. Добрую

память оставил по себе Петрович... Рано умер. Сколько бы он еще мог написать...

Задумавшись, взял трубку, выбил пепел, наполнил ее табаком, закурил. Я удивленно взглянула на него. Он лукаво улыбнулся.

— Врачи говорят: «Бросьте курить!» Я бросил папиросы, взялся за трубку. Поздно мне бросать курить...

Не зная, что сказать на это, я отвела взгляд, увидела груду распечатанных писем на столе. Рядом лежала рукопись.

Проследив за моим взглядом, Бажов сказал с горечью, которую не могла скрыть шутливая улыбка:

— Вот и глаза подводят, отказываются служить. Очки не помогают. Личного секретаря завел себе... Это моя жена.

Больно было мне слышать это. И Бажов, тонкий, деликатный человек, понял. Уже другим, бодрым, тоном он сказал:

— Вы помните, как у нас Петрович ночевал?

С юмором он стал рассказывать о встречах «Петровичей».

Вдруг глаза Павла Петровича засветились новой мыслью.

— Знаете что? Попробую-ка я добиться, чтобы включили в план приложений к «Огоньку» рассказы Петровича! Если выйдет, постараюсь в предисловии воздать ему должное.

И Бажов не забыл своего обещания. Вышел сборничек «Избранных рассказов» Бондина с предисловием Бажова.

Нижний Тагил



Н. ОЛЕСОВ

ДРУЖБА С ГАЗЕТОЙ

Впервые с Павлом Петровичем Бажовым я встретился, кажется, в 1927 году. Тогда я работал в селе Багаряк, ныне Челябинской области. Попав однажды в Свердловск, я зашел в редакцию «Крестьянской газеты», с которой был связан как селькор. В то время редакция помещалась на улице Вайнера, 12. Здесь меня расспросили, кто я, зачем явился, и повели в отдел писем.

В маленькой, тесной комнате за огромным столом, заваленном бумагами, сидел человек с большой сивой бородой. На нем была темная толстовка, какие тогда носили в городе и в деревне. Девушка представила меня:

— Председатель райкома Всеработземлеса Олесов.

Человек поднял голову, и на меня глянули ласковые голубые глаза.

— Помню, знаю. Садись!

Он отодвинул бумаги и снова внимательно стал смотреть на меня, чуть прищурив глаза. Я в свою очередь рассматривал его. В те годы широко практиковалось выдвижение рабочих и крестьян с производства в советский аппарат. Маленький человек с окладистой бо-

родой, одетый в толстовку, заставил меня подумать, что разговор предстоит с одним из таких выдвиженцев.

— Из Багаряка, значит? — прервал наше молчание хозяин комнаты и, к моему большому удивлению, стал называть заметки, какие я присылал в редакцию.

Он называл и те, что напечатаны, и те, что были забракованы. Память у него оказалась на редкость цепкой. Можно было подумать, что он специально готовился к нашему разговору. Похвалив за то, что я пишу о событиях свежих, он лукаво улыбнулся и стал закуривать. Крутил папиросу долго, не спеша и расспрашивая меня о деревенских делах.

— Больно мельчишь, — потом сказал мой собеседник. — Жизнь перед тобой развернулась вон как широко, а ты выхватываешь из нее какие-то фактики и даешь их нам.

Он говорил долго и очень хорошо о широком обобщении явлений жизни. Я слушал его внимательно.

— Факт вещь хорошая, — продолжал собеседник. — Но сам по себе он мало чего стоит. Каждый факт должен раскрывать какую-то идею. А возьмем твою корреспонденцию из Кабанья.

Тут он достал комплект газеты, полистал его, нашел заметку. «Выстрелом в окно, — читал он, — убит член ВКП(б) и член союза, старый партизан и общественный работник т. Сумин Федор Степанович. Это уже второй случай за нынешнее лето покушений на ответственных работников в Кабанье».

— Ничего не скажешь, факт интересный, а заметка ни о чем не говорит. Она не стреляет, хотя и начинается с выстрела. В летопись современного Пимена она, может быть, и годится. Но ты не Пимен, а селькор! Понимаешь?

Я промычал, что, мол, понял.

Собеседник полистал комплект и нашел вторую заметку. В ней говорилось о том, что в связи с землеустройством беднота Багарякского района организовала первые пять машинных товариществ и две сельскохозяйственные артели. Эту заметку тоже прочитал вслух. Но ничего не сказал. Потом нашел еще одну заметку. В ней говорилось о том, что кулаки нарушают трудовые

договоры, безжалостно эксплуатируют батраков, а тех, что обращаются в профсоюз за помощью, выгоняют с работы. Опять прочитал вслух. Потом отложил газету и вскинул на меня свои ласковые глаза. Но в это время раздался звонок телефона.

— Бажов слушает.

Бажов! Это имя обожгло меня. Вот тебе и выдвиженец! О Бажове я слышал много. Один из моих родственников, Василий Алексеевич Кузнецов, служил с ним вместе в рядах Красной Армии. Бажов работал в газете, а боец Кузнецов увлекался фотографией и потому часто бывал в редакции, встречался с Бажовым. После гражданской войны они вместе создавали фотоальбом по истории «Полка красных орлов». Кузнецов рассказывал о Бажове как человеке чутком и отзывчивом, очень грамотном, или, как он выражался, башковитом. Бажов прислал Кузнецову свою книжку о «Полке красных орлов», и я знал, что он писатель. Но человека, пишущего книги, я представлял иначе, чем тот, что сидел передо мной за простым столом и запросто беседовал с деревенским парнем.

Положив трубку, Павел Петрович заговорил о том, что знал и помнил из моих заметок, и так умело увязывал факты, сообщенные мною, что они открыли перед моим взором ту бурлящую деревню, которую я видел у себя дома, со всеми ее сложными переплетами. Картина была яркая, со множеством оттенков и красок, со своими характерными запахами. Я мысленно видел даже людей, слышал их голоса, понимал их действия.

Павел Петрович заключил наш разговор так:

— Ты селькор. А поэтому должен смотреть шире, чем другие. Изучать жизнь глубже чем кто-либо. Изучать ее в движении, в борьбе. Ты должен не только видеть поступки людей, но и уметь объяснять их, находить причину этих поступков. Ты видишь, что уничтожаются межи, но не замечаешь, что вместе с этим меняются судьбы людей, их настроения, их характеры...

От Бажова я вышел окрыленный. Перед моими глазами как на ленте кинематографа мелькали сцены деревенской жизни. Я словно присутствовал на собрании о внутриселенном землеустройстве, слышал, как спорили

люди около карты земельных угодий, которые предстояло делить. Коммунисты хотели посадить кулаков на дальние и худшие земли, а бедноте отвести ближние и плодородные участки. Им возражали. Одни — резко, другие — несмело. Я видел, как члены комиссии, нарезав спички по масштабу карты, меряли поля и снова спорили. Вспомнился мне и рассказ батрака Семена Дегтянникова о том, как кулаки уговаривали соседей не голосовать за передел земли, обещая им за это хлеб и деньги. А один из кулаков разделил свое хозяйство с пятнадцатилетним сыном и подал от его имени заявление о наделе нового середняцкого хозяйства землей...

Вернувшись домой я всю ночь писал об этом. Наутро порвал все, что удалось написать, и стал писать сначала. После многократных переделок я послал наконец свое творение в редакцию. А через несколько дней в газете появился мой очерк под заголовком «Отошла пора» — очерк о землеустройстве и разгоревшейся в связи с этим классовой борьбе в деревне.

Очерк многим понравился. Меня хвалили. И мне казалось, что я действительно сумел показать деревню 1928 года с ее бурлящей, бьющей через край жизнью.

Но вскоре в «Крестьянской газете» стали печататься очерки П. П. Бажова о колхозном строительстве. А потом они вышли отдельной книжкой. Читал я эти очерки, и краска стыда заливала мои щеки. Автор взял аналогичные моим факты, а раскрыл их по-иному. Читая очерки, я видел деревню заново, слышал знакомые выражения и понимал, почему одни «за», а другие «против», почему третьи колеблются. Автор показывал не только факты, а и душу крестьян, их думы и чаяния, то, чего не хватало в моем очерке. Было ясно, что Павел Петрович смотрел на жизнь внимательнее, чем я, видел ее шире, чем я, знал ее глубже, чем я.

Это был практический урок П. П. Бажова нам, молодым журналистам.

В 1932 году в Уральском областном издательстве вышла первая моя книжка под заголовком «За 50 миллионов». Редактировал брошюру Башуров. П. П. Бажов

в то время работал тоже редактором издательства и сидел в одной комнате с Башуровым. Только первый редактировал политическую литературу, Павел Петрович — художественную. Моя книжка была написана о задачах стенной печати на лесозаготовках. Появлению книжки предшествовала большая организаторская работа, проделанная массовым отделом редакции газеты «Уральский рабочий». Был проведен рейд бригад печати по лесозаготовительным предприятиям, организован выпуск стенных газет на многих, даже самых отдаленных, лесных участках, а кое-где и в бригадах. Стенгазету «Гайка» Чусовского леспромхоза впервые в практике газетной работы перевели на ежедневный выпуск. Книжка рассказала обо всем этом и ставила перед печатью задачи в борьбе за досрочное выполнение государственного плана лесозаготовок.

Один экземпляр брошюры я подарил П. П. Бажову, как своему учителю. Через несколько дней я пришел в издательство получать гонорар. Павел Петрович, встретив меня, позвал к себе. Башурова на месте не было.

— Ну как, рад? — начал он свой разговор.

Я был действительно рад и ответил ему откровенно:

— Еще бы! Газетчик я молодой...

Павел Петрович перебил меня:

— Молодым быть хорошо. А вот ранним — не советую...

И, раскрыв брошюру, показал мне. Брошюра была в сплошных пометках. Некоторые фразы подчеркнуты. На одну из них он указал мне. Я прочитал вслух: «Перечисленные формы и методы должны быть применены в борьбе за пятидесятимиллионный план лесозаготовок».

— Что это? — спросил Павел Петрович. — Циркуляр или книжка?

Я попытался защищаться:

— Башуров меня похвалил...

Павел Петрович улыбнулся:

— Ему иначе нельзя. На книжке стоит его подпись. — Помолчав, он сказал: — Да и я, может быть, тоже похвалил бы, если бы не знал, каким материалом располагает автор. — Павел Петрович скрутил папиросу, затянулся и закашлялся. — Ты рейд проводил? Еже-

дневную газету организовал? И все это без трудностей? Без людей? Так почему же в книжке ни одной детали, ни одной живой картинки? В твоей книжке, как в пустыне, ни одного человека!

Павел Петрович по характеру был человеком мягким и никогда не повышал голоса. Но на этот раз он изменил себе, — правда, только на мгновение. Затем опять начал говорить тихо и спокойно, как всегда:

— А мог бы написать с интересными деталями, показать людей колоритных. Мог. И не написал. А почему? Не готовился к этому. Не стремился. — Он опять помолчал. — Да, пожалуй, и не написал бы. У тебя, кажется, нет даже записной книжки? Ты, как тот герценовский журналист, хочешь писать и печатать с брызгу? Записная книжка — это думы, мысли. Если ты не записал того, что видел или узнал, — значит, и не продумал, не разбудил свою мысль по этому поводу. Значит, у тебя работали только глаз и ухо, а мозг спал.

Краска стыда залила мне лицо. Сколько раз слышал и читал я о записной книжке журналиста и не последовал доброму совету! В свой блокнот я записывал лишь голые факты да фамилии, которые потребуются в корреспонденцию. Блокноты эти представляли ценность только на несколько дней. Потом без всякой жалости их выбрасывал в корзину.

Перед моей поездкой с выездной редакцией на строительство вторых путей Челябинск—Петропавловск Павел Петрович напомнил о своем совете.

— Попробуй вести дневник, — сказал он.

Я последовал совету, и в итоге появился большой очерк «История одной победы». Он был опубликован в сборнике «Ударными рейдами». По поводу очерка Павел Петрович говорил мне:

— Это еще не литература, но добротный литературный документ. Через такие очерки познается жизнь. Здесь читатель узнает не только о важных партийных директивах, но и о том, как к ним отнеслись люди разных социальных прослоек. Он узнает, как побеждало новое, передовое. Очеркист должен не описывать, а мыслить.

Павел Петрович был страшным врагом очерков, ко-

торые написаны поучительно, как проповедь. Он считал, что очерк должен открывать людям нечто новое, неизвестное им. Поэтому очеркиста Павел Петрович сравнивал с геологом, называл его разведчиком жизни.

Шел к концу 1943 год, переломный год в Великой Отечественной войне. В воздухе запахло победой. В газетах наряду со сводками Совинформбюро стали появляться рассказы и стихи о любви и дружбе, о супружеской верности.

В «Уральском рабочем» тоже решили последовать примеру центральных газет. Обратились к местным писателям с просьбой дать газете свои рассказы и стихи. Первым откликнулся Ю. Хазанович. Потом — К. Мурзиди. За ними принес рассказ А. Бартен. Позднее были напечатаны рассказ О. Марковой и поэма Б. Дижур. В редакцию стали поступать письма читателей, требующие рассказов еще и еще. Хороших рассказов было мало. В один из таких трудных дней в редакции появился сказ Бажова «Живинка в деле»:

— Может, подойдет?

Почему возник такой вопрос, выяснилось потом. Оказывается, Бажов посылал свое произведение в один из московских молодежных журналов. Там его долго держали, а потом ответили, что напечатать не могут, сказ их не устраивает. Бажов был в то время писателем широко известным, знали его и в журнале. Но знали как мастера сказов фантастических, где героями являются Хозяйка Медной горы, Полоз и другие обладатели сверхъестественных сил. И вдруг сказ о каком-то Тимохе, научившемся выжигать древесный уголь! Ну что тут сверхъестественного? Сказочного?

Не заметила редакция, что Павел Петрович своим сказом хотел вмешаться в современную жизнь, поднять вопрос о творческом подходе рядового рабочего к своему труду. Дело в том, что во время войны на заводах Урала ведущей профессией стал операционник — человек, выполняющий лишь одну какую-то операцию. Молодежь, что пришла в те годы на предприятия, быстро осваивала свою профессию и считала, что от нее требует-

ся не больше, чем от простого механизма, — были бы только руки! Бажов своей «Живинкой» выступил против такого подхода к делу, он утверждал, что любая самая рядовая работа — творческая, что простор для творчества найдется всюду, если человек вложит в дело всю свою душу.

Редактор «Уральского рабочего» Л. С. Шаумян прочитал «Живинку» не одному десятку людей еще в рукописи, сказ получил единодушное одобрение. Многие видели в нем очередной взлет Бажова как певца рабочего класса, называли сказ коронным, говорили, что это новая чудесная грань в изумительном ювелирном труде писателя.

Действительно, «Живинка в деле» характеризовала начало нового этапа в творчестве писателя. Это был сказ на современную тему. Он был современен не только по своему идейному замыслу, но и по всему материалу. Героем сказа выступал уже не традиционный чудо-человек, а обыкновенный рядовой рабочий, наш современник.

После нашей газеты сказ перепечатали многие заводские и районные газеты. Свердловское радио передало его в эфир. Потом по заявкам радиослушателей пришлось передачу повторить еще не раз. Издательство «Уральский рабочий», набрав немного газетной обрези, издало сказ книжкой-малышкой. Она разошлась в несколько дней.

Вскоре сказ был перепечатан и центральными газетами.

Теперь на заводах про замечательных мастеров стали говорить, что они работают «с живинкой в деле».

Как-то в беседе со мной Павел Петрович сказал:

— После «Живинки» меня в газету опять страшно тянет. Видно, и впрямь писателю нельзя отрываться от нее.

С тех пор каждый свой новый сказ Павел Петрович нес в «Уральский рабочий». У нас стало правилом в праздничных номерах — октябрьском и первомайском — печатать новые сказы Бажова.

Павел Петрович черпал темы из жизни, черпал при-

горшнями. Он охотно раздавал их и другим. Я знаю, что Бажов подсказал тему для серии очерков К. Мурзиди, объединенных общим заголовком «Высота». Повесть Ю. Хазановича «Мне дальше» тоже написана по совету Бажова. А разве запомнишь все темы, что раздавал Павел Петрович нам, журналистам? Делал он это очень тонко, никогда не навязывая своей воли. То расскажет об интересной встрече, то сообщит факт, мимо которого не пройдешь.

Помню, шел 1944 год. Наши войска на всех фронтах Великой Отечественной войны вели успешные наступательные бои. На сердце у людей стало легче и светлей. Газета выходила тогда на двух полосах, своего материала помещала мало. Тем не менее о заводских коллективах кое-что печаталось, а вот о деревне газета молчала. Первым это заметил Павел Петрович и как-то в беседе рассказал о думах и чаяниях колхозников Камышловского района. С людьми этого района он был связан десятки лет.

— Маловато материала, а то бы написал очерк о встречах, думах и делах своих земляков. До чего там замечательный народ!

— А если послать писателя да и дать такой очерк?

Павел Петрович задумался, поворошил свою бороду и твердо отрезал:

— Нет! Если посылать, то журналиста. Писатель погонится за пейзажем, будет вгонять увиденное в прокрустово ложе сюжета. А надо написать все как есть, не гонясь за формой. Ну, вроде путевых заметок, что ли.

В Камышловский район поехали журналисты. Пробыли они в колхозах, примерно, неделю. В их задачу входило повстречаться с самыми различными людьми, узнать их думы и чаяния, познакомиться с их делами.

По возвращении товарищей из командировки в «Уральском рабочем» появились один за другим три очерка под общим заголовком: «По камышловским колхозам». Назывались они так, как советовал Павел Петрович, — «Встречи», «Думы», «Дела».

Павел Петрович остался доволен. Прочитав очерки, он сказал:

— Смотри-ка, как пошло против прошлого! Отрадно. — Достал чугунную табакерку каслинского литья и стал потчевать нас крепчайшим табаком-самосадом.

Бажов был изумительным мастером слова. Он, как ювелир, любовно гранил и шлифовал его, подбирал одно к другому, так, что они сверкали всеми цветами радуги.

Но не всякий может представить себе, какой огромный труд скрывается за каждой строчкой бажовских сказов.

Кажется, все слова найдены, записаны, сказ уже в редакции, а он не перестает искать, как бы сделать их еще звучнее.

За окном глубокая ночь. Город давно спит. В редакции остались только дежурные по выпуску. Номер вот-вот пойдет под пресс. В это время раздается телефонный звонок. Знакомый голос:

— Слушай-ко! Еще не поздно, если я слово одно заменю?

Записываешь это слово, идешь в типографию, вносишь поправку и видишь, чувствуешь, что новое слово засверкало яркой звездочкой, бросилось тебе в глаза, горячей искрой ударило в сердце. Это слово будет работать.

Книги Бажова теперь выходили часто. Но попрежнему он радовался каждому изданию. Многие из своих книжек он дарил мне, делая на них надписи. В 1943 году в Свердлгизе вышла книжка «Сказы о немцах». Иллюстрировал ее В. Таубер. Ему удалось верно схватить характерные черты многих типов, выведенных в сказах.

В один из морозных зимних дней Павел Петрович входит в кабинет секретаря редакции «Уральский рабочий» необычно бойкой походкой. Глаза его сияют, в них большая радость. И верно, с места в карьер Бажов достает из папки книжечку и, не говоря ни слова, пишет на ней:

«Самое дорогое автору издание с приветом на добрую память. П. Бажов».

Это была книжка «Сказов о немцах», изданная «Правдой». В книжке никаких рисунков, у нее нет даже обложки. Напечатана она на газетной бумаге. Но именно эта книжка особенно обрадовала Павла Петровича. Подав мне ее со своей надписью, Павел Петрович стал говорить о книжках-копейках, которые читал в детстве, на которых учился и к которым сохранил свою любовь. Потом показал на выпускные данные. «Правда» издала «Сказы о немцах» тиражом 200 тысяч экземпляров.

— Эта книжка для народа, — сказал Павел Петрович.

Всю жизнь Павел Петрович учил нас служить народу и сам служил ему честно, беззаветно.

Свердловск



П. СОЛОМЕИН

МУДРЫЙ УЧИТЕЛЬ

С трепетом переступил я впервые порог редакции «Крестьянской газеты». В углу за большим письменным столом сидел заведующий отделом крестьянских писем Павел Петрович Бажов. Меня поразил взгляд его больших, открытых глаз. От такого взгляда нельзя отвернуться, а смотря в эти глаза, нельзя солгать. Казалось, что он видит тебя насквозь.

Неласково встретил меня заведующий отделом крестьянских писем!

— Ах, вот ты какой? — сказал он, внимательно оглядев мою тощую, бледную физиономию, мою потрепанную шинель колониста. — Приехал, наверное, справиться, почему не напечатаны твои заметки? — сердито заговорил он. — А я вот письмо написал тебе. Хотел сегодня послать. Пишу тебе, что критиковать может только человек с чистой совестью, а хулиганов мы на страницы газеты не пускаем! Почему же ты не написал о том, как бил окна у Ивана Степановича? Как прошиб голову Митьке Ненилину? Как сломал гармошку у Володьки Хромого?

Я чувствовал, что у меня покраснели сначала уши,

а потом все лицо. Это была чистейшая правда. Я даже знал, что написала об этом моя подружка по селькоровскому кружку, секретарь нашей комсомольской ячейки Аннушка Соломеина. Ведь она говорила мне, что напишет, а я не поверил.

— Все это правда, Павел Петрович, — твердо сказал я и взглянул ему в глаза.

— Правда? А я думал — отрицать будешь. Тут, брат, есть письмецо о твоих похождениях, — сказал Бажов. — Из комсомола-то тебя не исключили?

— Нет.

— Надо было! Ну, а как ты оказался в деревне? Ведь последний год писал из Шадринска?

— Выпустили из детской трудовой коммуны, — ответил я. — Вот и решили мы с двумя дружками заехать в деревню, получить от моего опекуна все, что он сохранил, и податься на Кавказ.

— А что вы там делать собираетесь?

— Работу искать.

— Что же вы умеете делать, «работяги»?

Он встал и сказал более мягко:

— Вот что. Ты посиди, почитай газеты. А я схожу к редактору, посоветуюсь с ним.

Вернулся он через час. Хитренько улыбаясь в усы, сказал:

— Так вот, Аника-воин, решили мы простить тебе твои прегрешения. Сделать скидку на молодость. Никуда ты не поедешь. Так и скажи дружкам своим. Жить будешь в Доме работников просвещения за счет редакции. А работать в отделе крестьянских писем. Временно пока, потому что штаты у нас в редакции полные. Вот бумажка тебе. Иди в Домпрос, устраивайся, а завтра приходи на работу. Деньги-то есть?.. Есть — так хорошо. Да не вздумай выпить и проявить свои воинственные способности. Говорю это тебе как коммунист комсомольцу...

Работая в отделе крестьянских писем, я понял, что Павел Петрович чутко относится к каждому селькору. Он растил и воспитывал селькоров, отдавал много сил

и энергии для того, чтобы они получили среднее и даже высшее образование.

Отдел крестьянских писем бронировал для селькоров места в Пермском и Свердловском рабфаках. Каждый селькор к подаваемым документам прилагал вырезки из «Крестьянской газеты» своих заметок, очерков, фельетонов или стихов.

Только весной 1927 года я, по заданию П. П. Бажова, писал от имени редакции письма не одному десятку активных селькоров, в которых извещал их, что редакция «Крестьянской газеты» решила дать им путевки на рабфак и советует, не теряя времени, готовиться к вступительным экзаменам.

Однажды Павел Петрович спросил меня:

— Кому из вашего, сосновского, селькоровского кружка рекомендуешь дать путевку на рабфак?

— Аннушке Соломеиной, — не задумываясь ответил я. — Она активная селькорка и комсомолка.

— Пишет-то нам редко, — сказал Павел Петрович, — но хорошо пишет. Согласен. А не сердишься на нее? Она ведь про тебя...

— Я знаю, что она, — ответил я. — Ведь она сама говорила мне об этом.

— Ну? Значит, она вовсе молодец! Не побоялась тебя, Анику-воина, — рассмеялся Бажов.

В этом году и мне была вручена путевка областной «Крестьянской газеты» в Пермский рабфак.

Я на всю жизнь полюбил беспокойную профессию журналиста. Четверть века работал в редакциях. Видными журналистами стали селькоры Ефим Филистеев, Герасим Юрин, Михаил Букин, Иван Семенов и многие другие. Все они по праву считают своим учителем Павла Петровича Бажова.

В конце 1929 года я был мобилизован в счет двадцати пяти тысяч коммунистов на работу в колхозы. Получив путевку в белоносовскую коммуну «Красный день» Покровского района, я зашел проститься с Павлом Петровичем.

— Понимаешь ли ты, какое большое дело доверяет

тебе партия? — спросил Павел Петрович. — Понимаешь?.. Ну, то-то! Смотри не подкачай. А куда едешь?.. В Белоносово? Ну как же, знаю! Село это интересное, но крестьяне там не любят сельского хозяйства. Там живут горшечники, кошечники, скорняки. Это, кажется, единственное на Урале село, где даже бабы чулки вяжут на чулочных машинах. Нелегко будет сельское хозяйство налаживать. А ты, слушай-ко, дневничок заведи. Записывай все. Ведь придется там пни корчевать кулацкие. Записывай, пригодится, — посоветовал он на прощание. — Да в газеты-то не забывай писать о ходе коллективизации, о классовой борьбе в деревне.

Я часто писал в газеты заметки, зарисовки, критические корреспонденции. А к весне закончил повесть «Пути-дороги». В 1931 году отрывок из этой повести послал: один экземпляр — в журнал «Штурм», второй — на консультацию П. П. Бажову, третий — на консультацию московскому писателю П. И. Замойскому.

Как и следовало ожидать, Петр Замойский жестоко раскритиковал меня и вернул мне рукопись с ядовитыми пометками на полях.

Был я в те времена еще сравнительно молод и не в меру горяч. Прочитав письмо Замойского, я пошел в редакцию свердловского литературно-художественного журнала «Штурм» и со скандалом забрал свою рукопись, уже подготовленную к печати.

С этой же целью отправился я и к Павлу Петровичу, который в то время работал редактором в Уралгизе.

Выслушав меня, он сказал:

— На вкус и цвет товарищей нет. Твоя вещь, на мой взгляд, неплохая. Я послал ее в набор. Она будет напечатана в сборнике «Колхозные огни».

— Я прошу вас вернуть мне рукопись, — просил я. — Никогда в жизни не буду больше писать...

Павел Петрович смотрел, как я горячился, и от души смеялся. А потом серьезно сказал:

— Будешь писать! Тебя ругать будут, а ты будешь писать. Теперь ты, брат, обречен... Так что брось-ко зря горячиться... Ты думаешь, меня балуют? Нет! Тоже ругают, а я вот книжки пишу. Вот, на-ко, я подарю те-

бе... — Он сделал надпись и дал мне свою книгу «Пять ступеней коллективизации». — Почитай, это тоже о колхозной деревне, — сказал он в заключение. А мою рукопись так мне и не вернул.

В 1938—1939 годах Павел Петрович был частым гостем в редакции областной комсомольской газеты «На смену!» Он принимал активное участие в редакционных летучках, подсказывал молодым журналистам темы, советовал не забывать старые, но интересные формы руководства юнкорами, журил по-отечески нас за промахи, за горячность.

Каждый приход Павла Петровича в его неизменной суконной толстовке был для нас, молодых журналистов, немалым событием.

В эти годы мне частенько приходилось бывать и дома у Павла Петровича. В 1940 году, когда «Малахитовая шкатулка» и ее автор были уже известны во всех уголках страны, Павлу Петровичу стали посылать свои книги молодые писатели и поэты. Очень нравились ему стихи молодого, мало еще известного омского поэта Леонида Мартынова, дальневосточника Петра Комарова.

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы я работал редактором в Егоршинском и Таборинском районах, в городе Первоуральске. Бажов неизменно интересовался работой газет. Он требовал, чтобы каждая районная или городская газета имела свое ярко выраженное лицо, не была бы как две капли воды похожа на газету соседнего района.

Когда Павел Петрович был уже знаменитым писателем, лауреатом Сталинской премии, депутатом Верховного Совета СССР, он при встречах в Свердловске неизменно приглашал своих воспитанников-газетчиков к себе и учинял им допросы с пристрастием.

Это было 23 июля 1949 года. Солнце уже закатилось, стало несколько прохладнее, когда я подходил к знакомому домику.

Павел Петрович сидел в своем кабинете, в кресле,

придвинутом к письменному столу, и при помощи толстой лупы читал какой-то журнал. В настольной лампе была ввернута длинная сорокаваттная лампа, какие в то время были разве только в трамвайных вагонах.

— Ну-тко, ну-тко, какой ты стал? — спрашивал Павел Петрович и с грустью сказал: — Совсем плохо стал видеть. Читаю — середина слова пропадает. Слова-то по памяти схватываю, а попадет четырехзначная цифра — все пропало... Да и старик стал. Пришел вот из сада и задохся, еле отдышался... Да ты садись, рассказывай, что там нового у вас, в Первоуральске.

Павел Петрович уселся поудобнее, приготовился слушать. Он мог часами слушать, не стеснялся переспрашивать о том, с чем был мало знаком. Но не один раз мне казалось, что спрашивает он не потому, что не знает, а чтобы проверить, знаю ли я. Так получилось и на этот раз. Он интересовался технологией производства хромовых солей, динасового кирпича, нержавеющих труб. Спрашивал, куда идет продукция первоуральских заводов, как идет на предприятиях Первоуральска соревнование за досрочное выполнение послевоенной пятилетки, и о многом другом.

Он поинтересовался, как работает газета, которую я в то время редактировал, печатаю ли я на ее страницах очерки, фельетоны.

— Ведь вот какая штука, — говорил он. — Вы, журналисты, живете среди героев. Вам бы вроде и карты в руки — писать о рабочем классе, о его труде, жизни, о его думах и чаяниях. А ведь мало, можно сказать — совсем нет, в газетах таких очерков.

Долго разговаривали мы в этот вечер. Павел Петрович подробно меня расспросил о семье, послал моим дочерям новое издание своей «Зеленой кобылки».

В полночь я простился со своим учителем и наставником. Ночь была теплая, звездная, тихая. Хотелось пройтись пешком по городу, подумать обо всем, что сказал этот мудрый человек. Ведь каждая беседа с ним расширяла кругозор, как ни одна прочитанная книга.

Первоуральск



О. МАРКОВА

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Был конец 1932 года. Я работала в учебно-педагогическом секторе Уралгиза. Работа редактора-организатора требовала много выездов в Пермь. Чаще всего я адресовалась там к профессорам с просьбой принять участие в создании комплексных учебников для средних школ.

Павел Петрович Бажов заведовал отделом сельскохозяйственной литературы издательства.

Помню огромную комнату со следами снятых перегородок на Банковском переулке. В ней помещались отделы художественной литературы, детской художественной литературы, сельского хозяйства, педагогический.

Столы сельскохозяйственного отдела стояли у огромного сводчатого окна. Как только я появлялась в издательстве после командировки, Павел Петрович подманивал меня к себе и, пряча в бороде лукавую усмешку, спрашивал:

— Ну, заключила договоры?

— Заключила, Павел Петрович! — выдыхала я радостно.

— И подписали те, профессора-то?

— Подписали, Павел Петрович!

— Подписали... — с удивлением и с грустью повторял Бажов.

Мне отчего-то становилось стыдно, словно меня уличил этот человек с мудрыми глазами в какой-то большой неправде.

Я была молода, а молодость редко сомневается. Я верила в необходимость своей работы и гордилась тем, что участвую в важном деле — в просвещении народа. А вот он своим недоверием, которое угадывалось в его глазах, беспокоил, создавал тревогу. Однажды, не выдержав, я спросила:

— Вы что-то знаете о моей работе, Павел Петрович. Скажите, а то я волнуюсь...

— Кое-что знаю... Я ведь учитель. Первым советским комиссаром просвещения в Камышлове был... Ты учебники-то читала хоть... те, которые организуешь?

— Учебники я читала.

— Ну и что? Спишь после них? Разве ваши «Рабочие книги» — это учебники? В них вы всего понемногу насыплете, а полного изложения знаний по каждому предмету не даете... Но это пройдет, обязательно пройдет! Опять вернетесь к изданию стабильных учебников! А пока много неучей нафабрикуете своими «рабочими книгами» да «журналами-учебниками»!

— Но ведь комплексные учебники не у нас одних... — пробовала я возражать.

— То-то и оно, что не у нас одних. Из буржуазной педагогики взяли. А там не очень заботятся о глубоком изучении основ наук. Вот и мы... старое рушим, а нового, лучшего, создать не умеем! Подхватили буржуазную теорию и кричим: «Эврика!» А ребятам учиться неинтересно....

— Не я же придумала эти учебники... — беспомощно сопротивлялась я.

— Вот мы все так и живем...

Тогда я еще не понимала всей справедливости замечаний Бажова.

Как-то в разговоре с коллегами по работе я произнесла:

— Сохрани язык — сбережешь голову...

Павел Петрович тут же спросил:

—Ты, Оленька, не с Чусовой? Из Новой Утки? Близко... То-то, я смотрю, речь у тебя оттуда... Знаю я эту реку, плавал. Неожиданная вся. Народ там интересный. Богатая река! На Чусовой у пришлого Тимофея Аленина в вотчине Строговых сын родился, Ермак...

Только после, сопоставив факты, я поняла, что уже тогда Павел Петрович обдумывал свой сказ «Ермаковы лебеди».

— Много я оттуда записей вывез... да потерял, жаль...

— «Людям речистым — дороги чисты, бессловесным — проходы тесны», — говорю я. — Слыхали?

— Эта побасенка не с Чусовой. Она фиксирует. А с Чусовой убеждают, учат: «Для того узко горло дано, чтобы слово не скоро выходило», «Козла бойся спереди, коня — сзади, а злого человека — со всех сторон», — эти с Чусовой!

В углу, где работал отдел художественной литературы, которым заведовал тогда писатель И. Панов, всегда было шумно. Собирались писатели и критики, спорили о формах и жанрах художественного произведения, и каждое слово, доносившееся оттуда, было для меня откровением, а писатели казались людьми особенными, отмеченными перстом божьим. Однажды я спросила:

— Они, наверное, знают все? — и не поняла лукавого прищура глаз Павла Петровича.

С ним было просто. Я не стеснялась без конца спрашивать:

— Что нужно знать, чтобы писать?

— Жизнь, — отвечал он коротко.

Ему первому я поведала свою задумку повести «Варвара Потехина» и испугалась — таким озабоченным стало лицо Павла Петровича.

— Классовая борьба в деревне — это у нас совсем почти не показано в литературе, — говорил он. — Писать лучше и не начинать, если сил в себе не видишь... Работала бы ты учителем. С комплексными учебниками скоро ведь расправятся...

С комплексными учебниками действительно скоро

расправились — учебно-педагогический сектор был ликвидирован. Мы с Павлом Петровичем расстались надолго. Только в 1936 году, зайдя в издательство, я вновь увидела Бажова.

— Ну, читал твою «Варвару»! — закричал он навстречу.

К этому времени я уже прочитала первые его книги и знала, что пишет он так же страстно, как исполняет любую работу.

— И как, Павел Петрович?

— Ничего, будет жить «Варвара». Остроту классовой борьбы в деревне поярче бы... Не забывай — литература должна быть партийной. А то этак... захотела и запела, как воробышек... прочирикала — и все. А литература — это классовое орудие!

Каждый уходил от Бажова с чувством невольного обогащения. Вот так впервые я услышала от него простую истину о партийности искусства. И одно это перевернуло все мои представления о задачах литературы.

С началом войны моя связь с писательской средой оборвалась. Меня забыли. Так думала я. Какова же была радость, когда в июле сорок первого года я получаю вдруг приветливое письмо! Привожу его полностью:

«Оленька, что-то ты совсем замолчала? Бедствие-то большое, теряться не следует. Ты там, в народе, много узнаешь. Пиши, что видишь. Для «Уральского современника» пиши. Я опять в издательское дело пошел: выбирать стыдно. А ты все в школе? Сколько учеников на фронт проводила? Пишут ли?

П. Бажов»

Рассказ «В колхозе «Победа», только что написанный, я повезла в Свердловск сама. Тогда я работала уже в ремесленном училище замполитом. Со мною в город направили двух воспитанников с массой заданий.

В издательстве Бажова не было. Оставив для него рукопись, я вернулась в сквер, к условленной с воспитанниками скамейке. Мои парнишки пришли довольно потрепанные — какие-то хулиганы пытались сорвать с них знаки отличия. Лицо одного ученика было в крови, у другого так гневно сверкали на веснушчатом лице гла-

за, что я решила задержать ребят в сквере, боясь новой схватки. Начала снимать кровь с подпухшего носа паренька, как вдруг услышала удивленный возглас:

— Да ведь это Оленька!

К нам подходил Павел Петрович. Ребята знали о нем из моих рассказов, вскочили в радостной растерянности.

Павел Петрович сел на скамью, и завязалась чу́дная, незабываемая беседа. Он узнал о попытке сорвать знаки отличия у ремесленников и, выслушав уверения ребят, что эта попытка была непременно со стороны «диверсантов», сделал вид, что верит этому. Серьезно и долго думал. Затем сказал неожиданное:

— Они там совсем извратили понятие отечества! Что для них наши эмблемы труда и родины!

Долго, с истинным интересом, расспрашивал он ребят, кем они будут, по призванию ли выбрали профессии. Один из них пылко отозвался:

— Сейчас с призванием считаться не приходится!

Павел Петрович посветлел. Бросил взгляд на меня, очевидно, поняв, что я тоже изменила профессию не по призванию. Поднимаясь, сказал:

— Вот тебе, товарищ замполит, и карты в руки. От жизни не спасешься. Изучай да пиши!

Мой опус «В колхозе «Победа» Бажов назвал очерком. Вскоре я получила «Уральский современник» №5, где он был напечатан. Рукой Бажова написана сопроводительная записка:

«А ведь это, кажется, увидено! Только песня «Если ветер в поле свищет» не народная. А жаль».

Подписи не было.

В конце 1943 года Павел Петрович помог мне перевестись в Свердловск, поставив условием работу оргсекретарем в Союзе писателей. Работать с Павлом Петровичем, под его руководством, собирать день за днем его опыт, учиться ему было очень заманчиво.

Ежедневно мы встречались в Союзе, вели переписку с писателями, живущими в районах, хлопотали об улучшении писательских пайков, звонили о табаке для курящих, о бирках на получение обуви и одежды, разрешали какие-то конфликты с издательством, организовы-

вали бригады для выступлений в госпиталях, в колхозах, в цехах.

Вскоре меня избрали секретарем партийной организации. Когда я отчаивалась, что не справлюсь, Павел Петрович меня учил:

— Ты не забывай, что писатели народ тонкокожий. Каждый — носит себя как целое предприятие. Оно так и есть: сейчас каждый — именно то, о чем он пишет. Вот и сумей к каждому отдельно подойти... О секциях не забывай. Много людей писать пытаются. Порыться нужно: может, новых писателей найдем!

Самым трудным делом для нас были «литературные четверги», на которых обсуждались свежие, только из-под пера, произведения. Трудным потому, что писатель никогда не может сказать, готово ли его произведение, и всегда неохотно выносит его на суд коллектива. Охотнее обсуждались поэты.

Павел Петрович присутствовал почти на каждом обсуждении, внимательно слушал любое мнение, а когда обсуждение уходило в сторону, с большим тактом, одним-двумя наводящими вопросами, направлял его. Часто указывал на необходимость опять-таки партийного отношения к литературе, требовал глубокого анализа произведения. Первый, бывало, увидит и серьезные пробелы в творчестве того или иного товарища.

Помню, на «четверге» показали работу одного литературного кружка, которым руководил А. Ладейщиков. В массе серого, однотонного материала мелькнули яркие по форме и изобразительным средствам стихи одного начинающего. Мы ликовали — пришел новый поэт! Наши восторги разбил трезвый голос Павла Петровича:

— Форма-то хороша. А каково содержание?

Мы вновь бросились читать уже знакомые стихи литкружковца.

Да, поэт не понял, что делается в стране, не увидел великого подвига народа в дни войны.

Немногословно, но всегда веско и убедительно направлял наши мысли Павел Петрович.

Помню еще один «четверг». В тот день к нам приехал Алексей Александрович Сурков. Герой обсужде-

ния, узнав о приезде маститого поэта, отказался выносить свое произведение на коллектив.

Как мы и ожидали, Алексей Александрович вечером пришел в Союз. Члены правления, зная, что со мной находится рукопись повести «Разрешите войти!», начали упрашивать меня прочитать из нее хотя бы главку.

— Надо спасать положение!

— Сурков — один из руководителей Союза писателей!

— Что подумают в Москве, если «четверг» сорвется?! — шептали мне.

— Но ведь у меня еще заготовки, сырье!.. — сопротивлялась я, как могла.

— Ну и что? Ну, поругают! Кого из нас не ругают?

Я рискнула. Сурков не заметил подмены. Во время чтения главы в комнату вошел Павел Петрович. Зная его непримиримость ко всему показному, я испугалась. Видимо, он сразу понял, что произошло.

Ох, и досталось же мне на обсуждении! Кто-то из товарищей твердил, что я вывожу ремесленников излишне красивенькими, тогда как они-де хулиганят, бьют окна, крадут и пр.

Павел Петрович неожиданно взял повесть под защиту, упрекнул товарищей за то, что они не видят подвижнической жизни ремесленников, заменяющих отцов у станка и, значит, служащих делу победы и мира, долго и интересно говорил о необходимости обобщения явлений и опять-таки о партийном подходе к ним.

Когда расходились, он с улыбкой спросил:

— Обсудилась, Оленька? Вот так оно и бывает: нос вытащишь — хвост увязнет!

До сих пор не могу понять, почему с того вечера, потеряв в меня веру или, наоборот, уверовав в меня, Павел Петрович начал твердить:

— Не сочиняй! Писатель должен проблему ставить... Собирай фольклор, обрабатывай его!

О фольклоре Бажов говорил всегда с любовью, уверяя, что он несет в себе наибольшую художественную ценность, много сведений о народе и крае и веками не утрачивает своей актуальности.

— Но ведь в фольклоре меньше возможностей писателю развернуться, — как-то возразили ему.

— Эва, развернуться! Уж шире народа не развернешься! Я люблю фольклор за добро. Чаще всего там все кончается добром...

В 1947 году, будучи в Москве, я получила телеграмму от Павла Петровича о выезде на пленум Союза писателей с просьбой забронировать для него номер в гостинице. Телеграмма пришла поздно. Я успела позвонить в Союз писателей и сразу побежала на Казанский вокзал, к поезду.

На квартире сестры, где я жила, нас ожидало большое женское общество: Л. Н. Сейфуллина, М. И. Гляссер (секретарь В. И. Ленина), Е. К. Минина. Первые минуты знакомства, как всегда, сковали всех. Но принужденность скоро прошла.

Это была интересная встреча.

Зашел разговор о гражданской войне. М. И. Гляссер, узнав, что Павел Петрович был участником партизанского движения в Сибири и освобождал от колчаковцев Усть-Каменогорск, требовала подробностей. Ее интересовала Алтайская коммуна, первая коммуна, созданная в стране; колчаковцы разбили ее, зверски замучив руководителей.

— Владимир Ильич многого ждал от этой коммуны. Материал огромный. Писать о ней нужно, Павел Петрович!

— Материал большой. Знаю я его. В нем ценно то, что уже тогда, в восемнадцатом году, Владимир Ильич пытался стереть грани между городом и деревней. Большая проблема! — Неожиданно Павел Петрович обратился ко мне: — Берись-ка, Оленька!

— Что вы! Сумею ли я большую проблему поставить?

— Ну, учись пока... а материал не выпускай: интересная штука!

Удивительно многогранны были познания этого человека!

Через несколько дней он повел нас, уральцев, Татьяничеву и меня, в гости к Шагинян.

Мариэтта Сергеевна вывезла с Урала большую кол-

лекцию камней, образцов руд и минералов. Говорили о горнозаводском деле. Людмила Константиновна читала свои стихи.

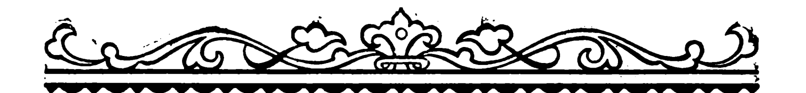
Павел Петрович неожиданно горячо воскликнул:

— Раньше умалчивали о простых людях в культурном творчестве! Вот «неопалимая куделька». Хорошо. Пишут, что прясть начали асбест во Франции, при Наполеоне. А Демидов из Невьянска за сто лет до Наполеона Петру Первому полотно из каменной кудельки послал. Так-то вот...

Не прошло и года, как мы читали новый чудесный сказ Павла Петровича «Шелковая горка», из чего можно заключить, что он глубоко изучал историографию вопросов, которые затрагивал.

...Любить свое искусство, воспитывать в себе живое чувство современности, глубже изучать и освещать жизнь и не переставая идти вперед — непременные условия писательского мастерства, как заветы, оставил нам незабываемый Павел Петрович!

Свердловск



ЕВГ. ПЕРМЯК

ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК

Перечитывая письма Павла Петровича Бажова или пересматривая его произведения, невольно ловишь себя на том, что будто ты не читаешь, а по меньшей мере слушаешь звуковую запись рассказываемого им.

Много лет я избегал печатных воспоминаний о Павле Петровиче. Когда говоришь дома, в кругу друзей или в семье Бажовых, — это одно. А когда знаешь, что тебя будут «набирать», «корректировать» и «печатать», а потом читать — это трудный разговор со многими неизвестными тебе людьми. Не знаешь, что выбрать и как лучше изложить... Но рано или поздно надо рассказать о том, чего, может быть, не знают другие и что может быть интересно для них.

НЕГЛАСНЫЙ СОТРУДНИК „ЖТГ“

В середине двадцатых годов в городе Перми зародилось издание журнала в помощь живым газетам. В нем печатались короткие сценки, театрализованные фельетоны, очерки, литературные монтажи, песни, частушки,

куплеты и все прочее, что разучивалось коллективами живых газет, а потом исполнялось на клубных сценах, в цехах заводов, на площадях городов и даже на грузовых автомобилях. Журнал назывался «ЖТГ», что значило — «живая театральная газета».

Получивший довольно широкую известность «ЖТГ» перевели из окружного (в те годы) города, Перми, в областной — Свердловск.

Сотрудниками и авторами журнала была молодежь. Активная. Запальчивая. Подкованная... но не во всех отношениях. И, в частности, недостаточно, даже плохо, подкованная в литературном отношении. И Уралобллит частенько задерживал номера наших журналов по причине недостаточной литературной грамотности.

Страдания редактора трудно описать.

Но однажды мне сказали в отделе печати:

— Не знаешь ты, к кому нужно обращаться в обллите. А между тем там у вас есть покровитель и болельщик живгазетчиков.

— Кто?

— Бажов Павел Петрович.

— А какой он?

— Слева который сидит. С каштановой бородой.

— А-а-а! — говорю я. — Приветливый такой... невысокого роста... — И галопом в обллит.

— Так и так, товарищ Бажов, — жалуюсь я. — Номера журнала опаздывают, а мы на хозрасчете. Можем подписчика потерять... К тому же в долгу как в шелку... Помогите, пожалуйста...

И мне было сказано:

— Заходите завтра после полудня. Попытаюсь помочь.

Прихожу. Мне вручается материал очередного номера «ЖТГ». Номер испещрен редакторской правкой.

— Старался, как мог, — сказал, улыбаясь, наш новоявленный друг. — Прочтите. Если не согласны с правкой, по-своему переделайте. Затем перепечатайте на машинке и приносите.

Перечитывая исправленный материал, я понял, что значит настоящее редактирование. Видимо, наш друг сидел всю ночь. Появились звонкие рифмы. Исправлены

ритмы. Словом, написанное правильно, стало написанным литературно.

Вскоре в издревле скупой на рецензии газете «Уральский рабочий» появились хорошие обзоры по «ЖТГ».

С этого дня Павел Петрович Бажов стал негласным шефом — редактором и сотрудником — «ЖТГ». До этого я не встречал более мягкого, деликатно-наставительного, советующего, но не навязывающего своего мнения человека, который воспитывал и внушал так, что думаешь, будто до этого ты дошел сам.

Это были первые встречи. И если б больше их не было, то и в этом случае облик мягкого, доброжелательного человека с голубыми большими глазами, человека с шелковистой каштановой бородой, удивительно молодящей его, никогда бы не ушел из моей памяти.

Знать бы, каким будет завтра у этого человека, я сохранил бы правленные им листы «ЖТГ» и теперь мог бы процитировать звонкие стихи, в «непонимании» которых наш живгазетный друг и покровитель потом всегда подчеркнуто признавался.

Человек не бывает талантлив односторонне. Павел Петрович отлично разбирался в искусстве стихосложения. Вот что он писал мне много лет спустя в одном из писем:

«...Нормально желать, чтобы среди молодых поэтов готовились те, которые смогли бы перешагнуть Брюсова, Блока, Маяковского при всей их внешней и внутренней разнице. Нельзя забывать, что индусский поэт Рабиндранат Тагор знал наизусть всего нашего Пушкина (если это даже выдумка, стоит ей поверить). Маяковский жаловался, что не может выкинуть из памяти всего Надсона, который ни на черта ему не нужен. Бальмонт владел стиховой культурой всех европейских народов, об эрудиции Брюсова рассказывают чудеса...

...Вот, когда все это вспомнишь, не очень доверчиво начинаешь относиться к нашей «четверговой» старательности и литературным разговорам, которые никогда не заменят большую и основательную учебу. Эн эн работящий парень, но в нем все-таки держится какая-то отрыжка ударничества в литературе, со ставкой на та-

лант, «внутреннюю теплоту», «глубокую взволнованность» и прочие туманности...

... свойственная каждому в известном возрасте склонность к созвучиям является чуть ли не основным фактором поэзии. Это, разумеется, мешает ему, толкает его на обычную дорогу «отбирания строчек», «счастливых находок», когда для растущего поэта нужно проникновение в эпоху и высшая форма стиховой культуры, которая достигается лишь путем длительной и систематической работы».

НОВЫЙ ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Появившись на Урале после большого перерыва, я спросил у одного из литераторов о росте свердловской писательской организации. И он мне сказал:

— Да, понимаешь, тихо растем. Не из кого расти. Литература, сам знаешь, не Уралмаш, не запланируешь. Но все-таки приняли одного... Не знаю — верно, не знаю — нет... Утвердят его прием в Москве или нет, не могу сказать.

— А кто он такой? — спросил я.

— Да тут один немолодой человек... Сказки пишет. Ничего так, на мой взгляд... здорово получается...

У немолодого человека, который писал сказки, и они, по утверждению моего собеседника, «здорово получались», тогда уже вышла в свет ныне всемирно известная книга «Малахитовая шкатулка». Его-то вскоре и рекомендовал Союз писателей СССР на пост председателя Свердловского отделения Союза писателей.

Павел Петрович тогда был избран единогласно.

Но удивительно, что сам-то Павел Петрович не понимал, почему именно ему оказана такая честь.

— Может быть, за бороду это все, — шепнул он мне тогда.

И позднее, много лет спустя, Павел Петрович говорил:

— Никак не могу поверить, что я писатель. Не могу.

Вспомнишь это и сравнишь кое с кем. Напечатает,

скажем, человек пяток газетных рассказов и величает себя... Впрочем, это не публицистическая статья, а лирические воспоминания.

ВСЕГДА С НАРОДОМ

Думая о языке Павла Петровича, о языке разговорном и литературном, спрашиваешь себя: «Откуда такое богатство словесных красок и обилие слов? Слов иногда много раз слышанных, но предстающих в новом их сочетании и поэтому сызнова сверкающих неслыханной до этого фразой».

Вычитать этого нельзя, хотя Павел Петрович и занимался чтением словаря В. И. Даля. Не справочным чтением, а выборочным. Так, как читают собрание сочинений. И мне это понятно. Даль в своем, казалось бы «прикладном», труде раскрывает словообразование, толкуя какое-то из слов. И в этом есть свой, еле уловимый, сюжет членения и размножения слова-понятия на сотни слов-братьев, слов-сестер, внуков, племянников, усыновленных пришельцев из другого языка и разлюбленных народом слов-уродцев.

Для словолюбца Бажова словарь Даля был книгой и поучительного и занимательного чтения. Но книжное знание языка — это все-таки как бы «омлет из яичного порошка».

Павел Петрович, рассказывая о себе, как-то заметил:

— Я ведь был пионером велосипедного движения и объехал на своем велосипеде не одну сотню верст. Это удобный транспорт.

Считая пешие путешествия с палочкой самым полезным для писателя способом знакомства с краем, он приравнивал к нему передвижение на велосипеде: «те же ноги, только под гору ими передвигать не надо».

«Пионер велосипедного движения», встречаясь с людьми на покосах, в лесу, где жгли уголь, на приисках, в штольнях, на старых демидовских заводах, обладал величайшим из человеческих умений — умением слушать и запоминать услышанное. Молодой Бажов, может быть не зная того, готовился стать писателем.

Мы знаем, что профессия не всегда проступает буйно и настойчиво. Она нередко тихо и долго просится наружу, чтобы заявить о себе как о самом главном призвании и о самых главных способностях данного человека.

Профессия писателя давно давала знать о себе Павлу Петровичу. Не случайно же «пионер велосипедного движения» записывал «были-небыли», сказки, речения, забавные и печальные случаи, просто слова...

Не случайно также, что Бажов оказывается в крестьянской газете, в отделе писем. Это он оправдывал так:

— Там было живое дело. Живой мужик. Главная пища газеты — письма-заметки, а то и целые драматические истории.

Это верно. Отдел писем газеты — главный канал связи газеты с читателем, то есть с народом. Но одно ли это влекло туда Бажова? Да нет же, нет... Слова, речения, думы народа, изложенные в письмах, волновали Павла Петровича. Ведь он же сам признавался:

— Эти крестьянские письма меня многому научили. Каждое десятое письмо — рассказ. Каждое сотое — повесть. И будь я посмелее, как, скажем, тот же (тут он называет имя нашего общего знакомого), я бы, может, и раньше занялся русской словесностью.

Время прошло. И я, разумеется, не помню в точности всех выражений по этому или другому поводу. Запомнилась только их суть и примерная вязь словосочетаний. Но грустинка о том, что Павел Петрович слишком поздно взялся за писательское перо, не оставляла его.

«Пионер велосипедного движения» оставался таковым до последних дней. Он всегда предпочитал медленное пешее передвижение быстрому.

«Быстро надо снабженцам ездить, а мы ведь с вами заготовители (заготовители слов — имел он в виду). Нам слушать надо».

В Тагиле ли, в Тавде ли, в Краснокамске, Перми, Первоуральске, Челябинске, Висиме, где мне довелось побывать с Павлом Петровичем, где всегда можно было

получить автомобильный или, на худой конец, гужевой транспорт, он говорил:

— Я-то бы лучше на своих на двоих, и вам бы советовал... Дольше не состаритесь. И опять же разговорчивого человека можем встретить.

И почти всегда мы встречали «разговорчивого человека». Бакенщика. Старика доменщика. Подростка из школы ФЗО. Словоохотливую бабушку. Всезнающего пустомелю. И кем бы ни был наш собеседник, Павел Петрович всегда находил в такой встрече пользу.

Про одного враля он сказал так:

— Врет он, конечно, без оглядки, без совести... Но врет-то как? Слова-то какие? Выдумка-то одна чего стоит! Подружитесь с таким, заведите знакомство — вот вам уральский барон Мюнхаузен. Веселое-то ведь тоже надо. Через глупость иногда и умное лучше видится. Контраст.

Павел Петрович оставался «пешеходом» и в вагоне железной дороги. Всегда, бывало, сядет там, где побольше народу. И если зайдет о чем-либо разговор, он всегда какой-то умелой репликой направит его в нужное ему русло.

У меня хранятся до десятка «вагонных» писем Павла Петровича. Это рассказы о встречах и пересказы слышанного. Когда-нибудь эти письма, появившись в печати, подтвердят, что «пионер велосипедного движения», собиратель словесного богатства оставался таковым до последнего часа. Великое умение слушать и сортировать услышанное «для памяти и для выброса» было профессиональной потребностью великолепного эксперта слова.

Может быть, об этих подробностях вечной и неустанной писательской учебы полезно знать каждому пишущему и становящемуся на этот путь.

ПАМЯТНАЯ КОПИЛКА

Про писательскую память кто-то сказал, что она является главной кладовой таланта. Павел Петрович обладал невероятной памятью. Начиная с имен и отчеств

сотен знакомых, кончая датами, местами действия сотен различных событий, хранилось в большой бажовской голове, как в хорошо организованной картотеке.

Но все же, будто не надеясь на свою память, будто боясь потерять дорогое для него, Павел Петрович пользовался вещичками-памятками.

Например, я как-то заметил у него окрашенную бабку-панок, или биток, как называют уральский панок игроки в бабки средней России.

— А это зачем у вас красуется на столе? — спросил я тогда.

— Для упрека. Тысячу лет собираюсь пересказать одну детскую историю и все откладываю. А панок каждый день упрекает меня в этом.

Примерно так ответил тогда Павел Петрович. И вскоре я узнал, что не один панок, а множество безделушек-памяток, вещиц-ассоциаций бережно хранились в рабочей комнате писателя. Они как бы составляли копилку замыслов, копилку подсказок о ненаписанном.

В этом сказалась какая-то древняя черта стариков помогать памяти хранением «всякой всячины», иногда самой неожиданной. Моя бабушка, Екатерина Семеновна Затылкова, тоже обращалась к подобного рода «памятным копилкам». Она в точеном деревянном грибке берегла безделушки, с которыми была связана какая-либо история или сказка. Перебирая эти безделушки, бабушка как бы «рылась» в словесных запасах своей памяти, перед тем как начать мне рассказывать сказку или случай из своей жизни.

И даже в этой, какой-то далекой, частности весь уклад и строй жизни бажовского дома мне были родными и близкими. Потому что все в нем напоминало мое детство. И тюменский коврик, постланный на сундуке, и самый сундук, и филейные скатерти, и форма стульев, и русская печь, и сервировка стола, и даже вкус блюд, которые готовила жена Павла Петровича, Валентина Александровна. Сидя даже в одиночку в бажовском доме, я возвращался в милую, навсегда утраченную обстановку моего заводского детства.

Павел Петрович не красил оконных рам до последнего времени. Они были только проолифлены.

— Как-то не хочется белилами красоту дерева закрашивать, — сказал он о рамах, уже почерневших от времени. — Смотрите, как прожилки играют! Не хуже другой яшмы узор.

Потолок в его доме тоже, наверно, по этой же причине оставался до середины сороковых лет неокрашенным. Может быть, и древесные узоры были тоже памятками, с которыми было связано задуманное, но еще не написанное.

В центре огорода Бажовых лежала груда серого камня плитняка. Она явно мешала там. И за эти двадцать—тридцать лет камень нетрудно было убрать. Но этого не делали. Павел Петрович любил посидеть на этом камне. И почему-то именно здесь он вспоминал своего отца и часто повторял отцовское выражение.

— Мой отец не раз говаривал мне: «Огород у нас бесхозяйственный, зато веселый». И мне как-то не хочется наш огород в чрезмерно хозяйственный вид приводить.

Сидя на этих камнях, мне неоднократно приходилось слышать из уст Павла Петровича ненаписанные сказы. Замыслами он делился редко и обычно не рассказывал о ненаписанном. А здесь, на этих камнях, у него почему-то всегда появлялась творческая потребность поделиться. В частности, я здесь впервые услышал отличнейший, на мой взгляд лучший среди «трудовых сказов», сказ «Живинка в деле».

Он появился в печати почти таким же, каким я его слышал изустно.

Говорил Павел Петрович легко, непринужденно. Он был находчивым полемистом, хорошим оратором и очаровательным беседчиком. О чем ни заговори — разговор состоится. А писал Павел Петрович медленно и трудно.

Мне кажется, он садился за бумагу только после того, как очередной сказ был до конца выношен и продуман.

Я как-то спросил:

— Над чем вы теперь, Павел Петрович, трудитесь?

— Да сразу, знаете, над двумя сказами работаю.

— И скоро закончите?

— Да один-то уж, пожалуй, закончил, только ещё на бумагу не перенес. Ну, да это последнее дело... Послушайте, если время есть.

И Павел Петрович принимался рассказывать сказ, как будто он его когда-то написал, а теперь заучил наизусть. На самом же деле он не написал даже и строчки этого сказа.

Поэтому, садясь к столу или становясь за конторку (он писал иногда стоя), Павел Петрович воспроизводил почти беловик. Поэтому, насколько мне известно, в его архиве не сохранилось многих вариантов одного и того же сказа.

Интересная подробность: писал Павел Петрович обычно ночью. Писал, не отрывая пера, — и вдруг спотычка. Потерял или не подобрал нужное слово... И кончено. Не тронется дальше.

Помню, он говорил:

— Все вчера хорошо шло, да одно слово куда-то делось. Нужное слово. Стержневое. Часов до четырех утра искал его. Светать уж стало. Плюнул и лег спать.

Я на это резонно возражаю:

— Взяли бы да и пропустили это слово. Поставили красным карандашом многоточие, а потом бы вставили.

— Это верно, если по строительному делу судить. Только я думаю, что слово не кирпич. Потом найдешь не то — и все полетит, переделывать придется.

Разумеется, я не оспаривал Павла Петровича, хотя и приводил примеры иной технологии письма, а он неизменно отвечал:

— Кто как и всякий по-своему.

Когда у Павла Петровича стало плохо с глазами, я посоветовал ему прибегнуть к стенографии, чтобы лишний раз не напрягать своих глаз. Он на это ответил в письме:

«Со стенографисткой ничего не выйдет. Поверьте, — это я уже испытал. Не было в моей жизни стенограммы, которую я сумел бы исправить, хотя стенографистки бывали и очень квалифицированные. Видимо, в моей устной речи нет той необходимой дозы литературной правильности, которая другим легко позволяет пользоваться стенографической записью. Получается сплош-

ная мука. Говоришь как будто бы и ладно, слушают тебя, понимают, а увидишь запись — ничего не поймешь, и исправить не можешь... Выход постараюсь найти другой. Думаю засесть с машинкой примерно на месяц куда-нибудь «под сень струй»...»

За последние годы жизни Павла Петровича пишущая машинка, подаренная ему Литфондом СССР, стала его «пером и чернильницей».

Это позволило Павлу Петровичу с меньшим напряжением зрения писать довольно много.

СТЕННАЯ ГАЗЕТА ПОД ПОТОЛКОМ

Дочери Павла Петровича — Леля, Лена и Ридочка — не могли вспомнить случая отцовских строгостей взыскания.

— Неужели он даже не шлепнул ни одну из вас?

— Что вы, что вы! — возражали они в один голос.

Но это вовсе не означало, что Павел Петрович попустительствовал детям, баловал их. Они росли в режиме трудовых обязанностей, и до последних лет, уже замужние, дочери не нуждались, чтобы отец повторял свою просьбу дважды. Это был уклад коренной рабочей уральской семьи. Вместе с тем я не замечал, чтобы отец чем-то стеснял своих детей. Всегда полон дом молодежи. И за стол садились что называется «отцы и дети» как равные среди равных. И за столом всегда оказывались слишком безусые, но имеющие право равного голоса.

Эта внутрисемейная демократия приносила много веселья, не отделяла молодых от не очень уже молодых, и как-то все было на виду. Вообще бажовский дом был домом открытых дверей.

В начале сороковых годов у Бажовых рос и воспитывался старший внук, Вова. Вовка рос капризным и озорным мальчиком. За ним, как говорят на Урале, нужны были «глаза да глазки».

Однажды Вова, видимо в экспериментальных целях, решил испробовать, как будет вести себя кошка в трубе горячего самовара. И он опустил туда ее. Кошка с

опаленными усами и обожженной мордой сиганула на шкаф и раздирающе душу мяукала, будто жалуясь Павлу Петровичу и окружающим.

На мой характер парню нужно было дать трепку... Но оного не произошло... Хотя этот поступок внука вывел Павла Петровича из всегдашнего равновесия настолько, что он прибегнул к самому страшному, что можно было ожидать от него, — к молчанию.

Тут надо сказать, что Павел Петрович нежно любил животных. Собака по имени Слива, лишившись слуха, зубов, лишаясь зрения, доживала свой век, окруженная заботой, положенной для животного, съедая свою долю из военного, и без того ограниченного, рациона семьи.

Я слышал много теплых слов о Сливе. Павел Петрович, романтик по складу, разумеется, преувеличивал заслуги Сливы. Это была самая обыкновенная дворняга. Но она будто отличалась особым чутьем на добрых и злых. Она будто бы даже совершала подвиги...

Смерть Сливы нашла строчку в письме ко мне.

Опаленная кошка, видимо, тоже была из приближенных двора Павла Петровича. И это усилило виновность Вовы... В доме Бажовых появилась «стенная газета», подвешенная у потолка. Это был лист бумаги, на котором кратко, крупными буквами излагался состав преступления и называлось имя виновника.

Сначала такой сверхгуманной мере воздействия не придали значения. И, в частности, Вова говорил:

— Подумаешь, дедушка газету вывесил... Кто ее читать будет?..

Но вскоре оказалось, что всякий пришедший читал эту газету. Читал и подчеркнуто громко сокрушался о содеянном: «Неужто такой хороший парень до этого дошел?» И начинались рассуждения минут на двадцать. А Вовка прятался за шкафом... Нос высунуть было стыдно...

Вова раскаялся. Мальчик так казнил себя, что я пообещал выступить его защитником.

При Вове я произнес перед Павлом Петровичем защитную речь, хитро упакованную в педагогическую назидательность. И Павел Петрович сказал:

— Хорошо! Я могу снять стенгазету, чтобы не позо-

рить далее честное имя моего внука, но при условии, если вы возьмете его на поруки.

И далее следовало написание и прочтение поручительского документа, который был заперт в главный ящик письменного стола, и Павел Петрович строго сказал:

— Смотрите!.. Вы ручались. Вы брали его на поруки. С вас и спрос будет...

Газета была снята и торжественно сожжена в том же самоваре.

А кошка с опаленной мордой долго еще ходила страшным упреком Вове, который с тех пор стал неузнаваемо лучше.

Он с этого дня стал разговаривать со мною «на вы».

Вова теперь женат. Из него получился дельный человек. И как знать, может быть, в этом становлении дедушкины «дрожжи» сыграли не последнюю роль...

„ЕЛКА МИТРИЧА“

Зима 1941—1942 годов была холодная, даже для Урала. Холодная и не очень сытная. Трудное было время. А елку справить хотелось. У Павла Петровича внук, а у меня две дочери. Одна еще была тогда дошкольницей, а другая тоже елочного возраста. И последняя дочка Бажовых Ариадна не прочь была зажечь елку.

Елку решили соорудить в бажовском доме, там же и встречать Новый год. Елочных украшений оказалось не густо, но разных типографских бумажных обрезков, картинок можно было набрать достаточно.

Трудно было достать самую елку. Главными «деньгами» тогда были три вида валюты — хлебная буханка, водочная «чекушка» и табачная пачка. Жалко с ними расставаться. Павел Петрович уже заметно поисхудал. Мы побаивались всяких «сюрпризов». Он ел крайне ограниченно.

Решили елку добывать самым прямым способом. В лесу.

Лелечка, старшая дочь Павла Петровича, и я отправились в лес по Уктусской дороге. Холодно было так,

что дышалось трудно. Срубили елку. Доволокли ее. Втащили!

Дома у Бажовых и «ура», и рукоплескания, и визг, и поцелуи...

Фурор!

Бажовский дом в те годы был холодным. Воробьи поработали достаточно, для того чтобы освободить пазы бревен дома от пакли. Да и время сказалось. Кое-где просели углы.

Павел Петрович ради Нового года истопил печи собственноручно на «тысячу двести пятнадцать процентов», как он рапортовал нам, вернувшимся с елкой.

Как сейчас помню, стоял он в передней, приложив к несуществующему козырьку руку, и докладывал:

— Истопник Бажов спалил недельную норму березовых дров и трехдневный запас до единого соснового полена. Как жить будем, неизвестно, а теперь снимайте валенки...

В комнатах пахло жареным. Значит, достали мяса. Валентина Александровна, счастливая, сияющая, в светлом платье (темные платья Бажов запрещал носить своей жене: «Находишься еще в черном, надоест»), Валентина Александровна, разрумянившаяся возле русской печки, шепнула мне:

— Добавочную сегодня выдали. Запечатанную сургучом. Не разливную.

Пока елка оттаивала, ребят выгнали в детскую. А потом началось украшение. Украшали все. Кто чем мог. Даже, кажется, старые открытки повесили. Все-таки красочное пятно. А Павел Петрович, стилист и литературолюб, повесил на ниточках несколько кружочков копченой колбасы, подаренной Мариэттой Сергеевной Шагинян, и «чекушку» водки.

—Теперь в полном смысле «Елка Митрича», — сказал он.

Я не знаю, помнит ли читатель этих строк старинный хрестоматийный рассказ о старике Митриче, устроившем своему внуку елку. Митрич повесил тогда на ее ветки шкалик водки и кусочки колбасы.

Всем хотелось веселого вечера. А когда хочется веселиться, веселье приходит даже по незначительному

поводу. Главным режиссером веселья в этот вечер была Валентина Александровна и при ней два артиста — Вова и моя младшая дочурка Ксения.

Их в течение вечера, под «идейным» руководством Павла Петровича, переодели раз пятнадцать. Эти два глупыша выходили танцующей парой, то под испанцев, то под украинцев, то под... неизвестно кого, в прабабушкиных кружевных панталонах и в дедушкиных рубахах.

Павел Петрович хохотал до кашля, до слез, требуя бисировать танцевальные номера. Дети, воодушевленные успехом, теперь уже не только танцевали, но и пели невообразимое:

Мы Кармены... Мы вдвоем
И танцуем и поем.

Потом «двух Карменов» трудно было уложить спать. Они требовали зрелища и оваций...

Павел Петрович плясал в этот вечер «Барыню». Будто иронически, будто для детей, будто снисходя, плясал он все же отлично. Чувство меры, чувство тональности, иронического ключа делало танец очаровательным, не снижавшим ореола отца, деда, старейшего и почтеннейшего среди остальных.

Может быть, воспоминания об этой елке и ни к чему, но ведь писатель Бажов был весельчаком, затейником, любящим отцом и ласковым дедом, нежным мужем и великолепным товарищем.

Не за одну же «Малахитовую шкатулку» любили мы его все. Он сам был шкатулкой, неиссякаемым волшебным ларцом, наполненным всем тем, что не чуждо живому, жизнелюбивому человеку.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

В военные годы в Свердловске картофель сажали все, кто мог. Бажовы тоже сажали его у себя в огороде и на загородном участке. Там им отводили несколько соток.

Когда бажовская семья собиралась на посадку кар-

тофеля, вооружившись лопатами и нагрузившись мешками, я сказал Павлу Петровичу:

— Неужели вам со своего огорода не хватает картофеля?

— Хватает. Даже гостей кормить остается.

— Так зачем же вы берете еще загородный участок?

— Жадность одолевает...

— Да ну вас, право!.. Только силы тратите. Опять ведь выкопают ваш урожай, как в прошлом году, и оставят вам одну ботву.

— Непременно выкопают. Все до последней картошечки унесут.

— Так зачем вам это все надо?

— По несознательности. Умный человек правильно рассудит, а я могу рассуждать только по-своему.

— То есть? — спрашиваю я.

— Я так думаю, что мою картошку и этой осенью не оккупанты выроют, свои люди ее съедят... И она, так сказать, с картофельного баланса Советского Союза никуда не денется... Значит, я при всех обстоятельствах и в этом году буду участвовать в улучшении нашего картофельного баланса... И вам советую сотку-другую посадить. Не для воров, а для картофельного баланса.

ПОСТАВЩИК ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА...

По одной и той же дороге Павел Петрович не ходил дважды. Каждый раз по-новому. От Дома печати на улице Ленина до улицы Чапаева, 11 мы проходили никак не менее двухсот раз. И каждый раз это была новая дорога, новый рассказ.

— Вот тут швейка жила. Прообраз небезызвестной, может быть, и для вас героини Мамина-Сибиряка...

И далее рассказ.

В другой раз по той же самой дороге:

— А в этом доме преинтереснейший корабельный священнослужитель жил. Весь мир объездил, все мирские радости при своем вдовьем положении перевидел. Уникальную коллекцию порнографических открыток собрал...

И снова рассказ:

— А это, обратите ваше внимание, — говорил он, указывая на два дома, — роман. А может быть, по теперешней скорописи и трилогия. Эти дома живой свидетель, как приказчик хозяина обворовал...

Начинается длинный рассказ. От Дома печати до Чапаева, 11 иногда не хватало расстояния, приходилось возвращаться или посидеть на скамеечке.

Если бы я знал, что это не заготовки будущих произведений, то я бы, конечно, записывал сказанное Павлом Петровичем, хотя бы для того, чтобы опубликовать потом книгу устных рассказов П. Бажова в пересказе по памяти.

Кое-что помнится.

Шли мы как-то высоченным конопляником. Роста в полтора конопля. Я почему-то вспомнил детство, ловлю чечеток и выращивание для них конопли у старой бани.

— А у меня лучше воспоминания есть, — сказал Павел Петрович. — Тоже конопляные, только с другого боку. С английского.

И Павел Петрович рассказал, как на Урале, где именно — не помню, жил купец. Фамилии тоже не помню. И этот купец имел обыкновение ездить на двух пароконных линейках.

Едет по городу пустая линейка. Один кучер на козлах. Рукава пунцовые. Жилетка касторовая. Головной убор ярче лака блестит. А на линейке конверт. А в конверте визитная карточка. А на визитной карточке имя, отчество, фамилия купца. А снизу помельче: «Поставщик двора его величества...» и т. д.

Привезет кучер визитную карточку куда надо и кому надо вручит. Это значит — через час или там еще меньше ожидайте господина поставщика его величества. Особой линейкой пожалует.

Что же, спрашивается, поставлял этот купец из далекого уральского уезда соединенному королевству? И не подумаете...

Конопляное волокно поставлял. Пеньку четырехпятиаршинную. Для канатов флота его величества. Англичане знали, где, что на белом свете высшего качества. И они не куда-то, а именно сюда за лучшей коноплей

бросились и прасола в поставщики его величества произвели...

— Рассказ? Само собой, рассказ. А писать когда? Это ведь не тяп-ляп, сел — и готово. Выверить надо. Ну, и опять же слова нужные найти да так их расставить, чтобы англичан не обидеть и себя не осрамить.

ЧЕРЕМУХА В СНЕГУ

Если вы обратили внимание, в сочинениях Бажова почти нигде нет описания природы — пейзажа, закатов и прочего.

Как-то, сидя на берегу свердловского пруда, мы любовались закатом. А закат был такой, будто уральская земля отразила на небо все краски спрятанных в ней самоцветов. Я тогда сказал Павлу Петровичу об этом. И спросил, почему он так мало уделяет внимания пейзажу, в частности «небесному».

— Поэтому и уделяю мало внимания, — сказал Павел Петрович, — что для вас закат — одно, а для меня — другое, а для третьего человека — третье.

Затем последовало пространное суждение о восприятии природы каждым по-своему. И Павел Петрович заключил примерно такими словами:

— Я не хочу и, мне кажется, не имею права навязывать своего в это широкое, свое в каждом отдельном случае, эстетическое наслаждение окружающей природой. Пусть каждый любуется природой так, как ему позволила эта природа.

Вскоре после этого мы (Павел Петрович, Виктор Васильевич Данилевский, ныне академик, и я) отправились в Висим, на родину Мамина-Сибиряка, которого нежно любил Павел Петрович и заботился о его памяти.

В Висим мы поехали через Нижний Тагил. Тагил с Висимом связаны узкоколейкой. Дорога идет мимо старых демидовских, ныне заброшенных уже, заводов. По этой дороге следует съездить в Висим всякому маломальски любознательному уральцу. Это край непуганых птиц, начинающийся тут же, за Тагилом. Это зеленый

разлив лесов. Это чудесные, в рост человека, лесные травы.

Стояло нарядное бабье лето. Погода выдалась на редкость теплой. Было на что посмотреть из окна вагона в эти сентябрьские дни...

Березы, пожелтев до ослепительности, не теряли листвы. Они красовались там и сям золотыми букетами в смешанном лесу. Фиолетово-красные осины, коралловые плоды рябины. Деревья, будто вырядившись в самое лучшее, пришли сюда на праздник осени, на праздник «пышного природы увяданья».

Карнавал древесных нарядов и запахов!

Где-то на полпути к Висиму Павел Петрович насторожился и высунулся в окно.

— У вас помоложе глаза. Гляньте. Не черемуха ли зацвела?

— Точно! — отозвался главный и единственный кондуктор. — Во всю головушку цветет. Диву даешься, какая нынче осень. — И старик принялся вспоминать, как в дни его юности так же однажды осенью цвела черемуха.

— Вот, — сказал Павел Петрович, продолжая свои суждения. — Сколько человек ни подойдет к этому кусту, у всякого возникает особенное — свое. Для одних это репортерская заметка, для других — сенсационная статья в уголке натуралиста, а для третьих, может быть, и повесть о поздней любви...

Глядя на белый цвет черемухи, на белые волосы и белую бороду удивительного уральского сказочника, я думал о том, что и чудесное дарование автора «Малахитовой шкатулки» тоже зацвело поздней осенью, если так можно назвать его возраст.

Поезд пошел дальше, и чем ближе к Висиму, тем чаще попадались кусты цветущей черемухи.

На второй или на третий день мы направились из Висима на рудник «Красный Урал» на лошадях. Теплые ночи и жаркие дни добавили черемухе цвета, особенно в логах, куда не залетал ветерок. Местами черемуха цвела буйно, как весной.

— Холод не даст ей поцвести во всю силу, — вздохнув, сказал мне Павел Петрович.

— Может быть, еще постоят хорошие дни, — ответил тогда я и, посмотрев на седину Павла Петровича, подтвердил: — Определенно еще будет много теплых дней.

В полдень посерело небо. Заморосило. Дождь неожиданно перешел в снег. Такое случается на континентальном Урале.

Пушистые белые хлопья падали на цветущую черемуху. Лес и кусты белели на глазах. И вскоре нельзя уже было различить, где снег, где цветы черемухи. И казалось — чем обильнее шел снег, тем сильнее цвела черемуха. Цвела снегом, умертвившим ее цветение.

„БАЖОДОМКА“

У нас в стране, да и в других странах принято праздновать юбилеи в пятьдесят, шестьдесят, семьдесят и следующие десятилетия.

Павлу Петровичу Бажову исполнялось шестьдесят пять лет. Это явно не «круглая» дата. Но желание окружающих и друзей Бажова отметить этот день было так велико, что празднование этого шестидесятипятилетия Павла Петровича возникло почти стихийно. К тому же еще были некоторые привходящие обстоятельства. Павел Петрович прихварывал. Врачи говорили разное... А до круглой даты оставалась целая пятилетка.

К счастью, наши опасения оказались напрасными, но мы не раскаиваемся в организации и этого, так сказать, «промежуточного юбилея». Не раскаиваемся тем более, что на его примере было виднс, какую широкую популярность стяжал Павел Петрович и каким вниманием окружали его читатели.

Подготовка к юбилею началась «тайно», сюрпризно. Хотелось больше неожиданностей.

Тайно от Павла Петровича печаталась большая, в дверь величиной, афиша о вечере, посвященном его творчеству, устраиваемом в зале Свердловской филармонии. Тайно художник Геннадий Ляхин рисовал «малахитовый» пригласительный билет. Его, я помню, тогда чуть ли не в ночные часы, сверхурочно и безвозмездно, печатали в свердловской хромолитографии.

Мне с Константином Мурзиди был поручен выпуск второго номера стенной домашней газеты «Бажодомка». И мы всю ночь накануне дня рождения Павла Петровича провели в 153-м номере гостиницы Большой Урал, где я тогда жил. Поэт Константин Мурзиди привел туда с собой уралмашевского инженера, умеющего рисовать. Газета была закончена примерно к утру. В ней уже красовались веселые заметки. Например — «От соседского информбюро», где в манере военных сводок сообщалось о самом юбилее и «чрезвычайных» происшествиях, связанных с ним. Газету «Уральский рабочий» в те военные годы редактировал Лев Степанович Шаумян, наш общий друг. В связи с этим мы лихо озаглавили одно из приветствий так: «От католикоса всех армян, Шаумян и Шагинян».

В такой газете было дозволено все. Костя Мурзиди написал стихи:

Хорошо вам, ублаженным
По рукам и по ногам.
Хорошо вам, Пе Бажовым,
Каково нам, Пермякам!

Далее следовали статья-очерк «Утро юбиляра» и многое другое, чего, может быть, сейчас, много лет спустя, мы бы и не написали.

Наскоро соснув, мы встали в шесть утра. На нашей обязанности было доставить коробец яблок, которые мы достали путем героических усилий в Госторге. Там же было добыто из каких-то сверхбронированных запасов двенадцать бутылок шампанского. Шампанское было роздано товарищам по писательской организации, которые должны были появляться в квартире Бажова по расписанию, маленькими группами, через каждые пять минут, начиная с семи утра.

Морозище в это утро был порядочный. Мурзиди вырядился чуть ли не в парадные ботиночки. Бежали бегом. Когда пришли на улицу Чапаева, в знакомом домике было уже светло. Все проснулись. Нервный стук. На пороге юбиляр, с хорошо расчесанной бородой, смеющийся, как солнышко после зимнего солнцеворота в ясный день.

Поцелуи. Объятия. Восклицания. Само собой деся-

ток капель взаимных слёз умиления. И в столовую... Есть хочется — волка бы съел.

Стол накрыт для семьи. Один прибор лишний. Мой. Сбочку, подле Павла Петровича. Костя Мурзиди оказался внеплановым гостем. А хлеба в обрез. Валентина Александровна быстренько «перефуражировала» стол. Всем все нашлось. И похлебки хватило.

Костя Мурзиди сиял. Он знал всю программу этого дня. И ему весело было от предстоящих сюрпризов, от неполных, экономно розлитых тарелок с похлебкой.

«Бажодомка» красуется на стене. И от похлебки оторваться не хочется, и читать надо. Стенгазета тоже «блюдо» не из простых. Юмористическая «пища». А смеяться хотелось.

«Бажодомка», по общей оценке семьи, была признана отличной. Правда, читающий ее сейчас, может быть, и найдет перлы «остроумия» средненькими. Но мы были молоды тогда...

«МЫ БЫЛИ МОЛОДЫ ТОГДА... МЫ БЫЛИ МОЛОДЫ ТОГДА...»

Утро в этот день начиналось стремительно, как хороший фильм.

Бьет семь. Точно, как на корабле, звонок. Первыми, кажется, пришли Леночка Хоринская и Нина Попова (мы были молоды тогда или, может быть, старались молодиться, и я буду называть здесь уважаемых писателей так, как они назывались, да, впрочем, и сейчас, пожалуй, называются в своем кругу).

Дверь открыта. Женские голоса. Шум. Приносится первая бутылка шампанского.

Пока степенная, неторопливая Нина Попова произносит сердечные и певучие периоды пожеланий и приветствий с паузами на запятых и точках, раздается новый звонок.

Появляется мой дружок Юра Хазанович. И кто-то еще. И вторая бутылка.

Хазанович, прописанный в сердце Бажова как человек рассудительный, обязательный (не то что я), чи-

тает Павлу Петровичу приветственный, хорошо отредактированный и того лучше прорепетированный монолог... Опять звонок. Новую группу и новую бутылку возглавляет Андрей Ладейщиков...

Звонки пошли чаще. Появилась Ольга Маркова. В те дни она вернулась из деревни в Свердловск и вернулась к профессиональной писательской деятельности. Румяная, жизнерадостная, окающая даже там, где можно окнуть только при большом изощрении и любви к родному диалекту.

В передней у порога постепенно накапливалась «дюжина». Потом что-то случилось. То ли из расписания гости выбились, то ли они боялись опоздать — пошли гуще. Появился Ефим Ружанский, повеселевший еще вчера от одних перспектив этого дня. Вошел громадный Илья Садофьев, ленинградский поэт первого призыва, о котором в первые годы революции, давным-давно, Павел Петрович написал хорошую рецензию. Этого Садофьев не знает и до сего дня. Про Садофьева в «Бажодомке» было написано так:

Гроза уральских соловьев
Илья Иваныч Садофьёв, —

чему он был страшно рад и сразу же в честь юбиляра выдал рифменную трель строк на сорок.

И вот собрались все. Все писатели, входившие тогда в свердловскую организацию. Одни отвлекают Бажова, другие орудуют в его рабочей комнате.

Раздвинут большой стол. На стол вместо скатерти постлана афиша о вечере в филармонии, которая на улицах города появилась ночью, когда все спали. На афишу ставится новое оцинкованное стиральное корыто. В корыте белый пушистый снег. В снегу — дюжина шампанского. Рядом — коробец яблок.

«Мы были молоды тогда... Мы были молоды тогда...»

Писатели-дамы вводят Павла Петровича под руки. Писатели-кавалеры усаживают его за торцовую часть стола. Валентина Александровна притихла. Немножечко оробела. В первый раз в жизни оказалось, что в ее доме власть захватила шумная компания гостей.

Знак подан. Первые пробки полетели в потолок. Выстрелы. Визг. Пена. Афиша залита. Из снега делают снежки.

Павел Петрович смеется. Радуется... Подливает масла в огонь. Будто ему не шестьдесят пять, а хотя бы... сорок. Здравицы в стихах. Здравицы в прозе. Здравицы хоровой песней... Садофьев по-протодьяконски провозглашает «многая лета». Внук Павла Петровича Вовка забился в дальний угол. И находиться ему здесь страшновато, и уйти, пропустив такое зрелище, тоже боязно.

А веселье нарастает. Великолепная песельница, Ольга Маркова завела протяжную с переливом. Мужские голоса подостлали басами и баритонами...

Ах!.. «Мы были молоды тогда... Мы были молоды тогда...»

ТОРТ НЕВЕРОЯТНЫХ РАЗМЕРОВ

На улице еще еле светает, а тут уже пир горой... «Гора», положим, оказалась не так «крута», на такую компанию «дюжина» — как табуну коней горсть овса.

Хозяева забеспокоились. Угощать ведь надо, а... время было трудное. Но опасения оказались напрасными. Все шло по расписанию.

Зазвенел один длинный, два коротких. Это звонил начальник Уралмашстроя Федор Иванович Исаев. Открывал двери я. Настежь обе половинки. Одну было нельзя, потому что два знатных рабочих-строителя несли носилки. На носилках стояла внушительных размеров модель жилого дома.

Модель дома с носилок переставили на стол. За столом молчание. Зрелище же!! Что будет дальше?? Дальше строители поздравляют Павла Петровича. Вручают адрес. Благодарят его за книги и за выступления перед рабочими и открывают, как крышку, крышу домика... А в домике «елисеевский» гастрономический магазин в сокращенном виде... Теперь можно уже было убрать корыто, афишу и начать сервировку стола, как полагается в таких случаях.

И вот появилась белая хрустящая скатерть. Девять

часов. Начался чинный прием поздравителей. Почтальон, приносивший телеграммы, был уже трижды. Сейчас он пришел в четвертый раз. Телеграммы зачитывались вслух. Они прибывали из самых далеких и подчас малознакомых мест. Это страшно волновало Павла Петровича. Множество телеграмм пришло с фронтов Великой Отечественной войны.

Веселье приняло деловой характер. При людях «братьям писателям» пришлось держать себя посолиднее. Как-никак, встреча с читателями.

Но чопорность не долго сопутствовала нам. Виной этому был торт. Его внесли тоже на носилках. Торт представлял из себя две большие книги, положенные одна на другую. Первая книга была с шоколадным заголовком — «Ключ-камень», вторая — «Малахитовая шкатулка».

Нужно отдать справедливость, торт этот был уникальным по величине и по вкусу. Его ели более пяти дней, так он был велик. Павел Петрович сказал по этому поводу:

— Такую махину могли выпечь только на Урале. Бродит, видно, в нашем городе тень Харитоновых, тень Приваловых...

Утро, начавшись весело, нарастающе весело переходило в день, как прекрасный спектакль, в котором каждое последующее действие лучше предыдущего.

Одни группы гостей сменялись другими. Приходили делегации от воинских частей, от заводов, рудников, районных городов. Стол не умещал подарков. И в каждом из этих подарков было свое. Это не просто вещицы-сувениры. Над ними думали. Их делали рабочие своими руками.

Например, один из заводов или цехов, где вырабатываются огнеупоры, подарил серию кружечек из белой глины, и на каждой из них было написано название бажовского сказа: «Серебряное копытце», «Таюткино зеркальце», «Далевое глядельце», «Ермаковы лебеди», «Каменный цветок». И гости пили уже теперь кто из «копытца», кто из «цветка»...

Тогда не было любительских узкопленочных киноаппаратов. Не было и любительских магнитофонов.

И это все такое милое, задушевное кануло куда-то и растворилось. Много ли можно удержать в памяти... Но все же хочется кое-что вспомнить и сохранить, хотя бы для своих друзей и товарищей, для которых, наверно, дороги эти часы, проведенные в доме Бажова.

ТАГИЛКА

Павел Петрович жил в этот день, как дитя на елке. Сюрприз за сюрпризом. Появляется то, о чем даже и подумать нельзя.

Вдруг в передней шум. Крики. Истошный визг поросенка.

— Дорогой Павел Петрович, — говорит вошедший, — отдел рабочего снабжения Уралмаша глядит в корень вопроса. С мясом теперь не очень гладко. Так мы решили подарить вам подсвинка. Вот...

И перед нами подсвинок пуда на три...

Павел Петрович бледен. Он не знает, что делать. То ли благодарить, то ли отказаться? Подсвинок верещит. Гости лежмя лежат со смеху. Валентина Александровна тоже в растерянности: «Куда свинью деть...»

Аналогичную заботу проявили и притагильские колхозники... Но не будем забегать вперед.

Кто-то из сидящих за столом, кажется Юрий Хазанович, заметил:

— Подсвинок-то еще ничего, можно пережить... Оборудуем ему закуток — и все... А вот если корову приведут в подарок, тогда, Павел Петрович, серьезные заботы начнутся...

И только эти слова были сказаны, как появляются Бела Дижур, Анатолий Суворов (тогдашний редактор газеты «Тагильский рабочий») и, поздравив наскоро Павла Петровича, сообщают:

— Колхозники вас там, на улице, поздравить хотят...

Павел Петрович на это резонно говорит:

— Просите, пожалуйста, их сюда...

А те на это:

— Подарок у них велик... не повернется в передней, да и по ступенькам не приучен ходить...

Тут была отдернута занавеска, и за окном мы увидели группу нарядно одетых колхозников и огромную черно-пеструю корову.

Бажов был уже не бледный, а белый...

ВЕСЕЛЫЙ КОНЦЕРТ

День закончился большим концертом, чествованием. Он тоже был необычен.

На сцене в филармонии не было никаких столов президиума. Сцена представляла собою нечто в роде гостиной, куда собрались друзья и знакомые Павла Петровича поздравить его в кругу семьи. И всякий появившийся «гость», поздравляя Павла Петровича, как бы являлся «концертным номером программы».

Программа не была заранее объявлена. Она также состояла из сюрпризов. Это были любимые проголосные песни уральских женщин, исполнение любимых романсов Бажова, любимой музыки.

На концерте не обошлось и без «скоморошьих дел». Вдруг на сцене появились два Бажова. И когда один Бажов поздравлял другого Бажова, закружил его в объятиях, не сразу можно было разобраться, который из Бажовых настоящий Бажов.

Зрители тепло приветствовали артиста Охлупина (ныне заслуженного артиста РСФСР), нарядившегося и загримировавшегося Павлом Петровичем. Это был коронный номер концерта, особенно когда Бажов-артист поздравлял Бажова-писателя в бажовских речениях и монтаже цитат из его сказов.

Может быть, не стоило так длинно писать об этом юбилейном дне, который, по сути дела, был лишь одним мигом в большой жизни Павла Петровича. Но мне хочется все же оправдать пространность этого описания тем, что в день юбилея мы как в оптическом фокусе увидели, какой большой бывает читательская любовь к писателю. Едва ли вышла в Свердловской области в этот день какая-нибудь газета, где бы не упоминались заслуги Павла Петровича как литератора и как общественного деятеля.

ОРДЕН ЛЕНИНА

Мы знали, что Павел Петрович представлен к ордену. Мы тайно надеялись, что Павел Петрович получит орден Ленина. Нам всем хотелось видеть именно этот орден на груди нашего друга и старшего товарища.

Между тем юбилейные дни минули, а указа не было. Прошло уже достаточно времени, и нами овладело беспокойство. Нашлись местные досужие «стратеги» и «комментаторы». Зазвонили междугородные телефоны. В Союз писателей, возглавляемый тогда Николаем Семеновичем Тихоновым, посыпались телеграммы. Волновались: не затерялось ли представление? И даже думали: не действует ли уж какая-нибудь злая сила?

Павел Петрович приумолк. Ему, видимо, кто-то доверительно сказал (может быть, я) об единодушном представлении его к ордену сразу несколькими организациями. Если не изменяет память, на представление к ордену делали заявления даже частные лица, рабочие, просто читатели.

Мотивировка была простая: «Во всех странах его печатают, похвальные слова пишут, в рапортах уральцев его имя в первых строках, а орденом не наградили».

Желание видеть Бажова награжденным уже становилось делом чести чуть ли не всей Свердловской области.

А ларчик открывался просто: не было случая, чтобы кого-нибудь награждали в связи с шестидесятипятилетием.

Весть о награждении пришла ночью. Павел Петрович позвонил мне в гостиницу. Его голос дрожал. Мне показалось, что он даже плакал от радости. Как сейчас слышу его слова:

— Наградили ведь... Орденом Ленина наградили. По радио сам слышал. Давайте сейчас же ко мне выходите. Валянушка (так он называл жену) капустные пельмени стряпает.

Радости не было конца.

Далеко за полночь я направился к Бажову.

В доме зажгли все огни. Валентина Александровна делала сверхневероятные пельмени. В капустный фарш

была подмешана консервированная осетрина. Необыкновенно вкусно. Впрочем, тогда все было вкусно.

Павел Петрович извлек подарок Мариэтты Сергеевны Шагинян с «авторской надписью». Это была бутылка редчайшего в те годы юбилейного армянского коньяка. На ее наклейке значилось: «Распить в день награждения орденом Ленина...» — и далее следовало, с кем именно распить.

— Не ошиблась ведь Мариэтта-то Сергеевна, — заметил тогда Павел Петрович.

И бутылка была распита точно, как предписывала подарившая ее.

К утру торжественно доставили совсем сырым, с размазывающейся, еще не высохшей краской, номер газеты «Уральский рабочий» с указом Верховного Совета Союза ССР о награждении Павла Петровича.

Внук Вовка спросил тогда Валентину Александровну:

— Бабушка, а ты тоже теперь считаешься орденоноска или только один дедушка?

Павел Петрович на это твердо сказал внуку:

— Тоже!

А потом, как бы аргументируя свои слова, он коротко, но вразумительно рассказал нам, какую роль в его творчестве и жизни играла жена — верный и любящий друг, перенесший с ним тяжкие дни испытаний. А таких дней было немало у Павла Петровича. Не следует ворошить в этих веселых воспоминаниях трудные годы... Но ведь никто из писателей не проходит легким путем свою жизнь. Таковы уж особенности этой редкой профессии, которую почему-то многие, и я в том числе, показывают чаще всего только с одной, солнечной стороны.

Литература — это подвиг. И Бажов был подвижником и героем этой разновидности умственного труда.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТАБОРЫ

Таборы, пожалуй, один из самых северных городов Свердловской области. Туда мы собирались давно и наконец собрались.

Железнодорожного пути в Таборы нет. «Летом — веслом, а зимой — гужом». Мы отправились летом. До станции, города и реки одного и того же названия — Тавда — мы прибыли на поезде. Здесь заканчивалась и, кажется, по сей день заканчивается железная дорога, которая должна была пройти на Тобольск.

Тавда — это река-труженица, сплавная лесная река. По ней чуть не все лето идут плоты. В прежние годы по ней лес сплавляли молем, то есть одиночными бревнами.

На Тавде нам нужно было найти попутное суденышко в Таборы, а до этого перейти по сотне сплоченных цепями и скобами бревен, образующих запань, или ограждение для сплавленного из верховьев леса.

Павел Петрович хотя и был тверд ногами, но слаб глазами. Оступиться, шагнуть мимо бревна и очутиться в воде было делом неминуемым. Поэтому мы распределили обязанности так: он взял на спину весь наш багаж, а я, освобожденный от заплечного груза, шел «передом». Павел Петрович шел за мною шаг в шаг, по-солдатски подпуская ногу, положив обе руки на плечи.

Шли медленно. Очень медленно. И дошли до желаемой цели...

Нас взяли на буксирный катерок-«газоход», работавший на газе сгораемых в его бункере древесных чурочек. И было бы все хорошо, если б он вел баржу полегче и чурки были березовыми, а не сосновыми. Сначала ход катера не превышал одного-полутора километров в час. Даже терпеливый Павел Петрович и тот сказал:

— Гужом-то в три-четыре раза скорее.

Делать нечего, нужно терпеть. Команда нам уступила два места в носовом кубрике. Вахта была одна. Поэтому мы вечером становились к берегу. На вторые сутки мне предложили вахту у штурвала. У меня были права вождения катеров с командой до пяти человек.

Это устроило командира. И мы с Павлом Петровичем оказались у «руля правления»: я вел суденышко, а Павел Петрович стоял на отмашке. И смех и грех...

Команды Павел Петрович исполнял неукоснительно.

Давал сирену и добросовестно отмахивался при встрече с судами белым флагом с борта, ему указанного.

Управлять суденышком, идущим с такой жалкой скоростью, не составило бы труда для любого. Никак в берег не воткнешься. К тому прошли дожди, и о каких-то мелях думать даже нечего. Как пруд. Смотришь и не видишь выхода из этого пруда. Река будто кончилась. А потом оказывается опять мысок и снова поворот.

Тавду следует считать сибирской рекой. Она чем-то напоминает Иртыш, Тобол, даже Обь. Наверное, берегами. Но Павел Петрович толковал Урал расширительно. Уральская «крыша» просевших гор, по его убеждению, по ту сторону хребта уходила под Омск, а по эту — под Казань.

И в этом есть какая-то правда. Даже географическая. Если взять Каму в верхнем течении, ее берега то и дело волнуются далеко убежавшими сюда Уральскими горами. И здесь, на Тавде, встречались крутояры, горные берега, поросшие уральским, именно уральским, синим лесом.

Так мы ехали трое суток. Раздобыв на одной из стоянок березовую чурку, пошли быстрее. Как говорят на море, «выжали из машины два узла». Но колбасу в жестяных банках приели. Хлеба осталось по куску. Павел Петрович к тому же решил подголадывать в мою пользу.

— Вы же штурвал кру́тите — рабочий класс. А я человек служащий — на легкой, отмашной работе.

Такая любезность уже ста́ла невыносима. А до Таборов еще шестьдесят пять километров. А это, на худой конец, сутки.

— Вот что, — предложил Павел Петрович. — Сейчас Кузнецовка будет. От нее берегом пятнадцать верст. Махнем на своих на двоих, это лучше, чем сутки по реке петлять. А может быть, и лошадь достанем...

Так и сделали.

В Кузнецовке у нас тщательно проверили документы. Мало ли... Война ведь. Вдруг военную тайну выведают о том, что в Кузнецовке столько-то коров, а овец и того больше...

Поверили наконец и даже дали лошадь.

Тут я позволю себе немножко пейзажа.

Павел Петрович был очарован этой тихой ночью, когда дневная тварь убралась на покой, а ночная выходила на охоту.

Лес. Темный, безмолвный. Густой. Богатый и немножечко страшный.

— Вам жутковато? — спросил Павел Петрович. — Мне тоже жутковато. По-мальчишески, знаете, так...

Везла нас крупная молчаливая женщина. Она разговорилась только на полдороге. А разговорившись, уже не умолкала.

Луна еще оставалась летней, высокой. Справа от дороги чувствовалась близость реки. Тянуло влагой и теплом. В ночи можно было послушать и филина, и писк птицы, кем-то пойманной в гнезде.

Каким вы смельчаком ни будьте, а лес ночью страшен. Да особенно такой, населенный звуками, хрустами...

Когда луна осветила дорогу, Павел Петрович толкнул меня:

— Гляньте, кто-то перебегает дорогу.

И я увидел длинное, приземистое тело животного, показавшегося мне темно-коричневым.

Лошадь остановилась. Животное пригнулось к земле. Замерло.

— Выдра! — сказал Павел Петрович. — Иначе и быть не может.

Я выскочил из коробка. Выдры бояться нечего. И побежал. Животное сделало бросок, и вскоре я услышал всплеск за деревьями.

— Определенно выдра...

Ну конечно, тут начались разговоры... Вот бы ружье... Или бы, на худой конец, пистолет... Два воротника вышло бы. Или две шапки.

— Или бы пять-шесть шуб да три муфты, — продолжил Павел Петрович...

Так мы подъехали к Таборам. Темень. Нас встретили. Встретил Бобров, секретарь райкома...

— Павел Петрович, прошу по тротуарам вашего имени...

Оказывается, таборинцы обязались построить за три дня тротуары вдоль главной улицы в честь приезда до-

рогого гостя. Оказывается, нас ждали еще вчера и опасались уже, не наскочил ли наш катер на топляк (топляк — это наполовину затонувшее бревно, коварно протаранивающее идущие вверх по реке суда).

Уже светало. Нас провели в столовую. Нам было выдано по три порции вторых. По шесть огромных котлет. Из них можно было одолеть одну. Ну и, само собой, с устатку тоже было выдано по две пятых... Этого мы на столе не оставили. А потом нас, не заводя в отведенную квартиру, отправили в баню.

Павел Петрович, сидя на банном полкé, восторгался:

— В разных банях приходилось мыться, а в такой — никогда. Театр, а не баня! Воздух чистый. Просторно. Окно большое, а за окном пароходы ходят. Плоты плывут. Опишите, пожалуйста, в каких-нибудь своих записках эту северную просторную русскую баню.

Баня в самом деле была прекрасна. Из банного окна открывался чудесный вид на реку. И мы просидели у окна часа полтора, так и не помывшись, потому что я утопил ковшик в котле с кипятком.

Довольные, отдохнувшие, мы отправились в отведенный нам дом. Спать в этом доме не пришлось. По причине самой невероятной.

Школьники, еще накануне ожидавшие с букетами Павла Петровича, не дождавшись, буквально забили всю комнату охапками лесных и полевых цветов. Они, увядая, пахли так резко и так дурманно, что не помогли открытые окна. У Павла Петровича заболела голова. И мы вышли вздремнуть в сенцы.

Вздремнуть не удалось. Часов в семь послышался шепот:

— Где он?..

— Походит на карточку?..

— Может, проснулся уж...

Короче говоря, Павел Петрович поступил в распоряжение детей. Они висли на нем. Поочередно обнимали его. Поочередно угощали ягодами.

— Это, Павел Петрович, самая крупная-раскрупная... Скушайте мою!

Дети водили Павла Петровича по новым тротуарам, водили по новосаженному парку... И, наконец, парад.

Школьный парад. Пионеры в белых рубашках и блузках. Галстуки отутюжены, как, наверное, никогда. Строй ровный. Вожатая — как командарм на параде. Команда. Песня приветствия. Рапорты. Оглашение обязательств в предстоящем году, которые берут на себя школьники по случаю приезда знакомого писателя.

Павел Петрович стоял-стоял, моргал глазами, моргал, а потом вдруг не удержался, и по его щекам потекли крупные слезы. И я, глядя на него, всхлипнул...

Ведь ради и этих ребят большевик Бажов с 1918 года прошагал в рядах Коммунистической партии. Ради них он бегал из белого плена, скрывался в Сибири, нес все тяготы коммуниста-подпольщика, коммуниста-комиссара, коммуниста — журналиста и писателя.

А они, эти дети, не зная ничего этого, но веря ему, бесконечно любя его, теперь здесь, в далеких Таборах, устраивают для него пионерский парад, засыпают его комнату цветами, строят тротуары и не сводят с него, впервые видимого ими живого писателя, своих жарких ребячьих глаз.

— Напишите книгу «Хрустальный дворец»! — предлагает одна школьница.

— Хорошо, милая моя, — отвечает Бажов, — постараюсь, обязательно напишу. Только за название не ручаюсь...

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

Литературные вечера в больших городах не всегда проходят, как говорят театральные администраторы, с аншлагом. А здесь — заняты даже подоконники. Даже открыты окна, а за окнами на принесенных из дому скамьях и столах стоят люди.

Здесь Павел Петрович дома. Он даже не притрагивается к рукописи. Он читает по памяти. Ему нечего бояться ошибиться, пропустить строку. Он «сказывает сказы», а не читает их.

Таким я его видел дважды — в Таборах и на платиновом руднике «Красный Урал».

Каждое слово — всхожее семя. Язык «Малахитовой шкатулки» — их родной язык, полученный с молоком

матери, язык их дедов, язык их обихода. Буря аплодисментов! Вопль и стон радости, когда победа оказывается за героем сказа, когда добро торжествует над злом.

Выступающий воспламеняет аудиторию. Аудитория взаимно воспламеняет выступающего. Когда этот контакт в Таборах достиг накала, свечения, я увидел Бажова страстным, темпераментным мастером чтения (точнее — «сказывания»). У старика блестят глаза. В голосе гневные, трагические или, наоборот, мягкие, певучие нотки.

— Отвел душеньку, — сказал Павел Петрович, когда кончился нескончаемый, многочасовой литературный вечер.

Таборы были серьезной проверкой популярности в народе сказов Павла Петровича и неподдельной любви к нему читателей.

ЛЮДИ НЕУВЯДАЕМОЙ ЮНОСТИ

Мне как-то трудно было представить возраст Павла Петровича Бажова, Ольги Дмитриевны Форш, Мариэтты Сергеевны Шагинян... Год рождения в этом кругу знакомых никогда не принимался во внимание.

Помнится мне тихий летний вечер в бажовском садике. Под яблонями тесовый стол и скамьи. Заливистый смех Мариэтты Сергеевны. Он остался таким и теперь спустя много лет. Тем же твердым и отчетливым голосом, как тогда, Ольга Дмитриевна Форш спустя долгие годы открывала заседание Второго съезда писателей в Кремле.

В одном из воспоминаний кто-то из «воспоминателей» назвал голос Бажова не то глухим, не то хриплым... Не помню я такого голоса. Может быть, в моих ушах была особая вата, фильтрующая посторонние звуки, — только я помню голос Павла Петровича чистым, певучим.

...Летний вечер. На Урале выдаются удивительные вечера. За садовым столом компания. Ольга Дмитриевна Форш, не улыбаясь, рассказывает умопомрачительно смешную историю. Кажется, что даже заглохший са-

мовар вдруг начнет «закипать смехом»... И так дотемна. До звезд.

Нет, эти люди неувядаемой юности, не смотрелись в зеркало времени. И мне бы хотелось заключить этот крохотный рассказик словами, кем-то сказанными в тот вечер... кажется Павлом Петровичем:

«Юность — понятие не столько биологическое, сколько мировоззренческое...»

ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

Нам, в Москве, уже было известно, что Павел Петрович болен куда серьезнее, чем все иные предполагали. Перед его приездом в Москву для лечения меня вызвали в Союз писателей и сообщили о печальных подробностях диагноза. Я должен был осторожно подготовить семью Бажовых к неотвратимому. До этого мне не приходилось выполнять более трудного поручения.

Было решено, что Бажовы остановятся у нас. Им приготовили комнаты.

Близился день приезда. И он настал. Поезд приходил утром. Я помню, с какой заботой готовила моя жена завтрак для Павла Петровича. Готовилось только то, что он любит.

На Казанский вокзал мы отправились вместе с Павлом Филипповичем Нилиным. Он тогда возглавлял комиссию по русской литературе областей и республик. На вокзал приехал оказавшийся в Москве писатель Рябинин Борис Степанович.

Поезд пришел вовремя. Стоял мягкий, московский зимний день.

Вбежав первым в вагон, я увидел Павла Петровича в хорошем расположении. Обменялись приветствиями и шутками. Я подумал тогда: «Все врут календари. И медики тоже».

Павел Петрович надел свою шубу, пыжиковый треух и направился из вагона. Я, забегая вперед, рассказывал, какие «вкусные вкусности» ждут его за столом. И он был по-настоящему, как всегда, обрадован перспективой веселого застолья. Но мы оказались наивны...

На перрон, к вагону, в котором прибыл Павел Петрович, был подан автомобиль Кремлевской больницы. Люди в белых халатах взяли Павла Петровича под руки, затем на руки и, уложив в автомобиль, увезли.

Уезжая, он сказал:

— Ничего не поделаешь... Порядок есть порядок, и мы должны подчиняться и не устраивать скандала, — эти последние четыре слова были обращены ко мне.

Таким было начало конца.

Со дня приезда и до последнего дня жизни Павла Петровича наш телефон не умолкал. Во много раз увеличилась почта. Ежедневно появлялись незнакомые люди. Всем хотелось знать о течении болезни Павла Петровича.

Наша квартира находилась в двух-трех кварталах от улицы Грановского, куда выходят окна того корпуса Кремлевской больницы, в котором находился Павел Петрович. Поэтому можно было часто бегать в назначенные часы и ждать на панели, когда Павел Петрович появится у окна. Была даже выработана сигнализация переговоров о самочувствии, температуре и т. д.

Павел Петрович в окне всегда появлялся веселым, смеющимся. И снова казалось, что «диагнозы преувеличены».

Бывал я в больнице редко. Не более семи-восьми раз. Потому что туда пускали ограниченное число лиц и нельзя было ради себя лишать посещения других, главным образом членов его семьи.

Во время этих немногих встреч разговоры были главным образом литературными.

Павел Петрович, надеясь в скором времени поправиться, несколько раз возвращался к мысли о переписке всего цикла сказов «Малахитовая шкатулка» (первых ранних сказов).

Ему казалось, а может быть, он соглашался с доводами других, что при всех языковых особенностях уральского говора не следует или не всегда следует фонетическое звучание слова увековечивать в аналогичной транскрипции. Это мешало, в частности, вводить сказы в учебники, так как надо было либо «закавычи-

вать» многие слова, либо объяснять их множеством сносок.

Это Павел Петрович понял давно. И если взять все или большинство его поздних сказов, они уже были написаны в иной транскрипции. В них особенность диалекта края дается в сочетании слов, в тональности, ритме фразы, а не в фонетической натуралистичности.

Павел Петрович получил отдельную палату, и она была очень похожа на комнату гостиницы. Лечебное учреждение напоминали только наши белые халаты.

Болезнь Павла Петровича длилась, насколько я помню, свыше сорока дней. Бо́льшую часть из них он вставал, ходил, читал, вел ежедневную переписку с Валентиной Александровной. Писал и нам. Прислал даже последнее, ленинградское издание «Малахитовой шкатулки» с веселой дарственной надписью. И все говорило о том, что болезнь пойдет на спад. Но стало хуже. Валентина Александровна перебралась в палату к Павлу Петровичу.

Последняя наша встреча состоялась накануне смерти, когда Павел Петрович был уже в полузабытьи. Мы пришли туда с Павлом Нилиным. Павел Петрович уже не разговаривал. Но, когда я подошел к нему, чтобы поцеловать его, может быть в последний раз, он что-то сказал и обнял меня...

На другой день утром его не стало...

На этом я было и хотел закончить цикл коротких рассказов о Павле Петровиче, да как-то случилось так, что захотелось найти иной конец для воспоминаний о выдающемся уральском сказочнике.

Предлагаю вашему вниманию сказку. Ею пусть и заканчиваются воспоминания о человеке, который, уйдя от нас, продолжает жить с нами своими творениями.

ПРО ДОЛГОВЕКОГО МАСТЕРА

Дедушка Хитрован Петрович в «Петры и Павлы», в веселый сенокосный праздник, по старому распорядку именинником считался, потому как по метрикам-то он

Петром значился, Петрованом звался. А Хитрованом-то уж потом его прозвали.

Огня в Хитроване Петровиче было достаточно. Многим хватало. Не одно сердце согрел. Особенно ребячье. А ребятьё, надо сказать, вокруг Хитрована Петровича, как воробьи возле ржаного колоса. Есть что клевать — были-небыли, басенки-побасенки, сказы-пересказы... Откуда что берется! Про все знал. Обо всем судить мог.

А больше всего речь шла о руках. Потому как руки у головы — самые главные и самые надежные приказчики. Голова без рук — как отец без детей: есть что приказать, а приказать некому.

Мальчишечьи руки, известное дело, самые хваткие. Особенно по нашим местам мальчата рукастыми растут. Другой еще толком ходить не научился, а уж с топором, с молотком дружбу сводит. Отсюда и пошли в уральских местах отчаянной славы мастера. Поглядишь на юнца — ему до женихов еще лет пять расти надо, а он редкой формовкой стариков удивляет или поковкой слепит. Уклад жизни такой. По рукам голову ценят. Иной кузнец чернее сажи, страшнее пугала, а его ненаглядным зовут, красавцем кличут.

А все оттого, что коренные уральские женщины красоту не в одежке ищут, не в кудрях на пустой голове, не в холеной руке, не в скрипучем сапоге на дряблой ноге, а в сути всех сутей — в деле.

Эту-то суть ребятишки и выпытывают у Хитрована Петровича: какое им лучше дело взять, чтобы оно из рук не вываливалось да еще счастье принесло, в люди вывело?

Хитрован Петрович сидит, бывало, на своей караульной горушке, подбрасывает дровишек в костер и поучает ребят.

— Без головы, — говорит он, — как и без рук, никакое дело не делается. Но и при умной голове и при сильных руках из ничего чего тоже сделать нельзя. Материал нужен. Дерево, к примеру, или камень. Или, на худой конец, даже вода. К слову, как ты без воды тот же мыльный пузырь выдуешь? Квас без нее тоже не заквасишь и кашу не сваришь.

Заведет так Хитрован ребятишек в словесный лес

и ну их там по малым тропкам натаскивать. А к концу разговора обязательно на торную, широкую дорогу выведет — и опять поучение:

— Хороший материал много значит. А хорошие руки — больше. Одни руки живые цветы веником соберут, скукотой смертвят, другие — мертвую солому веселой шляпкой заставят жить. Словом, когда не к рукам куделя, черен день и долга неделя.

Слушают так ребята, сопят, помалкивают да запоминают. Особенно самый меньшой. А Хитрован подбросит дровец да дальше тропинки показывает. Пускай каждый свою ищет, на трудовую дорогу выходит.

Не одну, не две ночи на караульной горушке такие разговоры шли. Подросли ребята. По своим дорогам разбрелись. Каждый по своим рукам кудельку выбрал — свою работу полюбил.

Кто к железной руде пристрастился. Доменщиком стал. Или там рудобоем. Другой мрамор оживлять начал. Третий стал песок в живую стеклянную посуду переплавлять. Четвертый душу в железо вдохнул — машиной его сделал. Пятый — еще что-то... Шестой — и пуще того...

Все поразошлись. Один только при старике остался. Меньшой. Дорожки он своей не увидел. А был он из себя лобастенький, зоркий. Росточку хоть и небольшого, а коренастый. Руки тоже маленькие — не для кузнечного дела. И ноги не для пахаря. Зато ушаст был сверх меры. Памятливые ушки. Что услышат — не выпустят. Даже птичий разговор запоминали. А уж то, что Хитрован Петрович рассказывал, слово в слово береглось и со своим добавлением перерассказывалось.

Бывало, мальчонка так Хитровану его же быль-небыль повторит, что старик, открывши рот, парня слушает.

— Скажи на милость, какая ты дельная пашня! Бросил я в тебя горсть зерна, а ты мне пудов сто урожая намолотил. Да не худородного, а зерно к зерну. Всхожее золото. Придется, видно, тебе, дружок, про материал всех материалов рассказать.

— А что же это за материал всех материалов, дедушка Петрован? — спрашивает паренек.

— А такой материал, — отвечает Хитрован Петрович, — что из него все сотворить можно. И небо, и землю, и царства, и государства... Невиданные цветы, неслыханную красу, несказанное счастье. Хоть каменные палаты из него клади, хоть хрустальный дворец строй. Реку новую задумаешь — потечет река. Захочешь лес вырастить — лес подымется. Решишь человека из предбудущих лет в нашем дне поселить — поселишь. Мертвого порешишь обессмертить — сбудется.

— Что же это за материал, дедушка? — еще раз спросил мальчик.

И Хитрован ответил:

— Материал это простой. Расхожий. У каждого он на языке. Всякий его знает. Пруд из него прудить можно. Горы наворотить. Всю землю покрыть. А в дело произвести его ой как нелегко!

— А почему так? — спросил малец.

— Отбор большой надобен. Трудная промывка требуется. На какой ни попади бутаре из него бесценных крупиц не вымоешь. Да если и вымоешь, поделку из них составить загвоздисто.

Парень не знает верить, не знает нет. То ли это сказовая морока, то ли притча какая мудреная?

— Что же это за крупицы такие, Хитрован Петрович? Они как бы золотые или самоцветные?

— Да нет, парень. Бери выше. Случается, что за одну такую крупиночку двух лукошек самоцветов мало. А случаются и такие, что порознь каждая из них ломаного гроша не стоит. А составь их вместе — они вдруг такой ожерелкой засияют, что сто пудов золота не цена. Тайная сила в этих крупицах. Сила сил! И нет ничего сильней против этой силы, большеглазик ты мой, — говорит Хитрован да поглаживает каштановый ленок на голове мальчика, в глаза ему смотрит, будто спрашивает: «Понял ли, о чем речь идет?»

А откуда малолетке понять? До этого понятия и большие не всегда дорастают.

— Да что же это такое? — не вытерпел тихий паренек и начал закипать крутым кипятком: — Зачем ты дразнишь меня, дедушка Хитрован? Зачем манишь ку-

да-то, а куда не сказываешь?.. Как зовется эта сила сил? Как имя этому материалу, дедушка Хитрован?

— Оба они зовутся одним словом — слово! Человеческое слово. И нет ничего дороже его. Нет ничего сильнее его. Город возьмет. Врага остановит. Сердце полонит. Мертвого воскресит. Живого умертвит. На путь наставит, с пути собьет. Ненавидеть научит. За собой позовет. Народы из темноты выведет. Солнцем им засветит. Крылья вырастит. Все подвластно ему... Ежели, конечно, это большое, настоящее слово, а не пустой звон балабольного ботала... Вот и все...

Сказал так Хитрован Петрович и смолк. Пускай сам парень решает, по уму ли ему да по рукам ли эта сила.

...Много воды утекло с тех пор. Погас веселый костерок на караульной горе. Давно покинул старую караулку лобастенький да ушастенький паренек. Свою чудесную золотую кудель в нитки прядет, простой, расхожий, каждому знаемый материал перемывает. Силу сил из него выбирает. Дорогие крупицы выискивает.

Много «Петров и Павлов» отгуляли косари на уральских покосах. Бородатым стал добытчик бесценных слов. Круглый год на словесном руднике. А рудник — народ.

Вечен тот рудник. Неистощим. Неисчерпаем. Приходи да бери. Добывай речевое золото. Трудись на алмазных россыпях самоцветных присловий. Старайся на приисках самородных сказаний. Бей шахту к забытым легендам. Оживляй живой явью сны прадедов. Окрыляй светлые помыслы старины самоцветными сказками для детей и внуков.

Так он и делал. Бывало, совсем замшелую небыль найдет — очистит, отскоблит наросты лет. До сути дойдет. До главного зерна. А потом оправит его в дорогой ее оклад, и глядишь не наглядишься.

Даже в старом колодце, куда досужие старики синюю старуху ведьму поселили, он сказку добыл. Мимо лебедя даром не проходил. Про эту птицу немало бытует всякого. Сумей только, отбери. И горный козел не по одним хребтам бегал. Народ его в своих побывальщинах редким серебряным копытцем подковал. Опять сказка.

А про тайную силу, что нутро гор сторожит, людей

привораживает, тоже много всякого-разного в народе живет. В темноте ведь светлые камушки добывались. В штольнях. А там мало ли страхов? И свою тень за горное чудище примешь. А красот сколько? Сколько каменной росписи? Не сказовая ли все это руда? Дроби ее да переплавляй в волшебное литье.

Вот так и ходит словесный старатель по людям. С народом живет. На рудниках ночует. В цехах днюет. С бывалыми людьми водится. Со стариками дружбу ведет. Мальцов не обходит. Про жизнь слушает. Радостям радуется. Печалям печалится. Сил набирается. Во все вникает. Мусором даже не брезгует. Случается, что вместе с ним из другой избы и редкое словечко выметут. Золотник весит, а пудом тянет.

Ну, а про казарму и говорить нечего. Там со всех губерний слова в одном речевом строю стоят. Вымывай знай нужные.

Ну, а время все шло да шло. Пятьдесят лет за плечами у сказочника. Пятьдесят зим в бороде. Подморозили они каштановую. Посеребрили.

Пришел срок последнего белового промыва богатой руды. Настала пора пустить в дело крупицы бесценных россыпей.

Засветил старик Ильичев свет (к тому времени он уже в полную силу горел), и ночь не в ночь, день не в день... Крупица к крупице, искра к жемчужине, самоцвет к бисеру, алмаз к серебру, золото к росяной капельке, слово к словцу, — строка за строкой, лист за листом оживало пройденное, слышанное, пережитое.

Хорош был сказитель Хитрован Петрович. Много знал. Только рядом с народом он как родник и море. Народ — небо, а он в нем малая звездочка.

Обязан старый сказочник Хитровану Петровичу первой искрой, а народу — всем. Большим дыханием. Светлой душой. Трудовым подвигом. Каждой строкой.

И восстали на белых листах из праха мертвые. Заново стали жить. Распустились неувядаемые каменные цветы. Ожили злые и добрые чудища. Золотые полозы. Голубые змейки. Юркие ящерки. Веселые козлики. Верные лебеди.

Заговорил сказочный край. Горы проснулись. Камни

заиграли. Старые мастера загубленную барами славу вернули. Прабабки засветились жаркой девической красотой.

Пятьдесят шесть тонких поделок вычеканил словесных дел мастер — и добрая половина из них о руках. О труде. Ну, так ведь рабочего отца сын. В доменном дыму жил. По заводскому гудку время мерил. От плоти здешний. От материнского молока свой.

Бережно старый сказочник охранял долговекое. И, сам того не заметив, увековечил себя. Великий волшебник труд одарил его силой сил, против которой бессильно даже само время.

И жить теперь да жить долговекому мастеру. В белых листах. В каменных цветах. Зеленеть причудливой малахитовой весной. Красоваться бронзой и мрамором. Светлой памятью на все времена, родными народу сказками.

Москва



Г. ШУМИЛОВ

ИЗ БЕСЕД С ПИСАТЕЛЕМ

В сороковых годах мне приходилось много встречаться с Павлом Петровичем в официальной и неофициальной обстановке. Особенно частыми наши встречи были во время Отечественной войны, когда я, работая в Свердловском обкоме партии, занимался вопросами печати, а Павел Петрович возглавлял свердловскую писательскую организацию.

С продуктами тогда дело обстояло плоховато, и Павел Петрович нередко обедал в обкомовской столовой. И как-то само собой установилось, что после обеда он поднимался к нам, в сектор печати, независимо от того, есть у него к нам дело или нет.

Если в комнате никого из незнакомых не было, то Павел Петрович, опершись на чей-нибудь стол локтями, стоял полусогнувшись, держа в руке трубку или покручивая прядь бороды.

В этой своей излюбленной позе Бажов мог находиться часами, выпрямляясь иногда лишь затем, чтобы набить и разжечь потухшую трубку.

На стене у нас висела крупномасштабная карта, на которой отмечались по сводкам Совинформбюро изме-

нения линии фронта. И разговор обычно начинался с оценки хода военных действий, а потом беседовали о всякой всячине.

К великому моему сожалению, очень многое из разговоров не удержалось в памяти. Но кое-что все-таки запечатлелось, и эти крупицы я сообщаю читателю.

По натуре своей Павел Петрович был человеком мягким, спокойным и уравновешенным. Всегда спокойное, несколько задумчивое выражение лица, старчески мутноватые глаза, обычно полуприкрытые верхними веками, седая борода патриарха, небольшие, изящные руки — все это, в сочетании со слабым, глуховатым голосом, придавало его облику какую-то особую человечность и мудрую простоту, так притягивавшую к нему людей.

Конечно, Павел Петрович, случалось, и волновался и сердился, — поводов для этого находилось тогда немало. Но я не помню, чтобы он когда-нибудь был резок или на кого-нибудь накричал.

Руководя свердловской писательской организацией, Бажов не цеплялся за мелкие ошибки и недостатки своих товарищей, отметая в сторону все несущественное, наносное, случайное. Тут его считали даже либералом. Но в крупных вопросах Павел Петрович был непримирим.

Дважды мне пришлось наблюдать Бажова в состоянии сильного волнения.

Первый раз — в середине ноября 1942 года, на юбилейной сессии Академии наук СССР, посвященной двадцатипятилетию Советского государства. Во время перерыва между заседаниями в прекрасном фойе свердловского Дома офицеров прогуливались и негромко разговаривали наши академики, и среди них особенно запомнилась колоритная фигура О. Ю. Шмидта.

Сторонкой пробирался куда-то Павел Петрович, в своей неизменной темной куртке, с голубым блокнотом в руке, изготовленным специально для участников юбилейной сессии. Лицо писателя светилось торжественностью и гордой радостью, вся его небольшая фигура как-то выпрямилась, стала выше.

— Знаешь, в такие редкие в жизни дни, — сказал он мне, — всегда как-то глубже проникаешь в нашу отечественную историю и еще больше веришь в силу и непокоримость нашего народа, родившего и выпестовавшего всех этих мудрых своих сынов.

Несколько дней спустя, такой же возбужденный и радостный, потирая руки, стоял Павел Петрович у нашей карты, прослеживая стремительное продвижение мощных фланговых группировок советских войск, окружающих армию фельдмаршала Паулюса под Сталинградом.

— Теперь дело должно пойти похлеще. Подучились кое-чему, — заметил Бажов, отходя от карты.

В 1941 году в Свердловск эвакуировали президиум Академии наук СССР и некоторые ее институты, большую группу московских писателей, а также художников и скульпторов, возглавляемых руководителем Художественного фонда СССР скульптором С. Д. Меркуловым. Все, что можно было приспособить и использовать для размещения заводов и под жилье, — использовали. Свердловчане, как в коммунальных квартирах, так и в собственных домах, были уплотнены до предела.

Павлу Петровичу не только пришлось принять самое деятельное участие в размещении, устройстве с питанием своих собратьев по перу, но заботиться также и о художниках.

В тех чрезвычайно напряженных условиях дело это было очень хлопотное и тяжелое, все приходилось, как говорится, брать с бою, и Павел Петрович на некоторое время забросил творческую работу.

Примерно в конце ноября Павел Петрович зашел к нам и поделился очередной заботой:

— Был сейчас у П. насчет помещения для художников и скульпторов. Пока ничего не выходит.

А дело состояло в следующем.

Какой-то «мудрец» эвакуировал из Московского зоопарка в Свердловск слона и носорога. Не в Ташкент или, скажем, Алма-Ату, а именно в Свердловск, где в это время уже установилась настоящая зима.

Что делать? Куда девать таких огромных животных? Для них обязательно нужно теплое помещение, причем такое, чтобы удобно было ввести туда животных. Дело это совершенно не терпело никаких отлагательств — жители тропиков замерзали на станционных путях в холодных вагонах.

И вот решили занять бо́льшую часть помещения, отведенного художникам и скульпторам под творческую мастерскую. С. Д. Меркулов, человек прямой и экспансивный, не стеснявшийся выражать свои чувства весьма крепкими словесами, протестовал, ругался, но безрезультатно — иного выхода пока не было.

Вот Павел Петрович и пошел к одному из власть имущих товарищей поговорить о предоставлении скульпторам какого-нибудь, хоть небольшого, помещения.

— Понимаешь, в чем тут штука-то, — говорил мне Павел Петрович. — Нельзя человека надолго лишать любимого дела: он либо захиреет, либо какие-нибудь номера начнет выкидывать. — Помолчал, пыхнул несколько раз трубкой и продолжал: — Ну, скажем, художник еще так-сяк, где-нибудь приткнется со своим мольбертом, а куда деваться скульптору с его глиной и иными пачкающими материалами или глыбой камня? Надо им все-таки помочь как-то.

Потом, помолчав, с досадой заметил в адрес московского «покровителя животных», заславшего их на Урал:

— Дураков-то у нас еще порядочно водится.

Через некоторое время кризис разрешился неожиданно. Носорог, а за ним и слон не вынесли уральского климата и погибли, о чем и не преминул немедленно уведомить нас ликующий С. Д. Меркулов. Художники и скульпторы получили обратно свое помещение.

Вспоминается и другой случай.

Шел 1942 год, трудный год, полный горя, тягот и лишений. Многие свердловчане недоедали, а то и просто голодали. Местные власти старались изыскать дополнительные продовольственные ресурсы, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить питание тружеников Урала. Но и тут находились бессовестные ловкачи, стремившиеся использовать трудности народа для личной выгоды.

Как-то в очередной заход к нам Павел Петрович рассказал об одном таком типе, явившемся к нему за содействием в издании брошюры о высоких пищевых качествах... лопухов. Да, да, лопухов!

— Я поинтересовался рукописью. Ничего, пухленькая, денежная, пожалуй, с фунт весу будет, и лопухи в ней разделаны, как говорится, под орех. Даже составлены рецепты, как из лопуха можно приготовлять супы, каши, солянки, запеканки и другие блюда. Словом, научная и практическая часть труда разработана безукоризненно. Выходило, что за лопухи надо ухватиться обеими руками.

— Ну, меня все-таки сомнение взяло, — продолжал, усмехнувшись, Бажов. — Вспомнил: в голодные годы во время гражданской войны ели лебеду, кору некоторых деревьев, а лопухи все-таки никто не ел, с детства знаю их как злостный огородный сорняк. Помню, как-то из баловства пожевал лист лопуха — горький, словно хина. Даже козы от него отворачивались. Как, думаю, так? Спрашиваю этого мордастенького «первооткрывателя»: «Ну, а сами-то вы лопухи употребляете? И в каком больше виде?» Тот, не моргнув глазом, отвечает: «Запеканку, говорит, стряпаем». — «И не горькая?» — «Да, нет, есть вполне можно».

Шире, дале — разговорились. Оказывается, живет в пригороде, коровку имеет, кур полтора десятка, огородик соток так на семь. Стало понятно, какую он запеканку стряпает. Эх, думаю, дрянной ты человечишко, хоть раз бы тебя досыта накормить «чистой культурой» этого самого лопуха!

«А коровка-то ваша тоже на лопухах живет?» — опять спрашиваю. «Нет, что вы, сеном кормлю».

Отказал я ему в содействии. На том и расстались.

Помолчал Павел Петрович, пососал пустую трубку и, доставая кисет, заключил:

— Это тоже в своем роде хитник, только более омерзительный. Подождите, он и до вас еще доберется.

И действительно, спустя несколько дней «лопушник» явился к нам, но успеха не имел.

В разгар войны, когда происходило спешное формирование Уральского добровольческого танкового корпуса, зашла речь об уральском типе, об уральском характере.

— О каком-то особом уральском типе, человеке с какими-то резко выраженными особенностями во внешнем облике и своеобразными, присущими только ему, чертами характера, по-моему, говорить не приходится, — заметил Павел Петрович.

Он много и с воодушевлением говорил об уральцах.

Коренной житель Урала, считал Бажов, существенно не отличается от жителя, скажем, средней полосы России. Значит, уралец — это русский тип, русский характер. Но все же одни черты, свойственные русскому человеку, у нашего уральца более ярко выражены, чем, скажем, у ярославца или же владимирца, а другие — менее. И даже есть кое-какая внешняя отличка. Взять тот же внешний облик. У нас на Урале довольно часто можно встретить людей, мало похожих по их виду на русских. Даже на Северном Урале, в районе Ивделя, где уже живут манси, не раз приходилось Павлу Петровичу встречать типичных южан, совершенно смуглых людей, как говорят, жгучих брюнетов. А в одном старом уральском заводском поселке видел он целый «выводок» ребят с «классическим профилем». И это обычно коренные жители, потомственные уральцы.

Объяснение тут простое — заключается оно, по мнению Павла Петровича, в особенностях колонизации Урала.

Сюда испокон веков, и добровольно и по принуждению, прибывали люди со всех концов страны и даже из-за ее пределов. Тут и «еретики» — староверы из центральных губерний, и мастеровщина, вывезенная отовсюду заводчиками-крепостниками, и бежавшие от своих помещиков-живодеров крестьяне, и всякие искатели счастья, устремлявшиеся сюда во время золотых и платиновых «лихорадок», и ссыльные, и даже военнопленные. Словом, «разноплеменный» народ. Да взять тот же Висим! Так красочно описанные Маминым-Сибиряком три конца — «кержацкий», «тульский» и «хохлацкий», составляющие население этого наиболее типичного гор-

нозаводского поселка Урала, и сейчас еще можно разглядеть опытным, внимательным глазом.

Весь этот пришлый элемент, продолжал свои размышления Павел Петрович, роднился и между собой и в некоторых случаях с исконными жителями Урала; происходило, как говорят биологи, непрерывное обновление кровей, вырабатывался под влиянием природных и социальных условий наиболее жизнеспособный, физически сильный, выносливый, хорошо приспособленный к местным суровым условиям тип русского человека — уральца.

Что касается характера уральца, говорил Павел Петрович, то его наиболее яркие черты, такие, как настойчивость и упорство в достижении цели, высокое чувство товарищества и взаимной выручки, вырабатывались тоже под влиянием местных условий. Некоторые же — замкнутость, молчаливость, переходящая иногда в угрюмость, — проистекают не от влияния уральской природы — она замечательно красива, а скорее от тех тяжелых социальных условий, в которые был поставлен уральский трудовой человек в дореволюционное время. Не последнее влияние тут оказывал характер работы наших земляков: рудокопы и шахтеры, лесорубы и сплавщики, углежоги, доменщики, листопрокатчики, кричные мастера и другие весьма трудные и опасные профессии не очень-то располагали к веселым разговорам.

— Сейчас эти черты постепенно смягчаются, работать-то куда легче стало, — заключил свои размышления Бажов.

Павел Петрович был человеком больших знаний и высокой культуры. Но он никогда не позволял даже полунамеками подчеркивать свое превосходство перед любым собеседником. Эта скромность, стремление не выказывать себя, оставаться в тени, где-то на втором плане, была одной из его характерных черт.

По выработавшейся привычке профессионального журналиста, он больше слушал других, чем говорил сам, иногда при этом поддакивал, иногда вставлял реплику. Но и от вопросов, обращенных к нему во время беседы, не уклонялся, отвечал обстоятельно и по возможности определенно.

Правда, случалось иногда Павел Петрович изменял своим привычкам.

Как-то в конце войны, во время очередной послеобеденной передышки, зашла речь о мифах. И тут Павел Петрович, увлекшись, рассказал нам несколько мифов, обнаружив превосходное знание и греческой и нашей, древнерусской мифологии.

— Поэтичность и увлекательность многих древних мифов просто удивительна, — говорил он.

Бажов обратил наше внимание на то, что в большинстве мифов фигурируют или боги, или же герои отнюдь не из народа. И однако, какое огромное воздействие они оказывали на народ! Особенно, считал Павел Петрович, показателен миф о Христе, на основе которого создана мировая религия, увлекшая и увлекающая еще и посейчас многие миллионы простых людей, но выгодная только имущим.

— А нам пора бы уже создавать свои мифы, свои сказания о трудовом человеке, о народе — творце всего сущего, о героях — борцах за народное счастье. Ведь подвиги древних, деяния богов бледнеют перед героизмом и самопожертвованием советских людей, проявленным в этой войне. Тут для нашего брата писателя богатейшие залежи, даже не руды, а чистых драгоценностей.

О своей же роли в разработке этих драгоценностей Павел Петрович молчал. Надо сказать, что он всегда недооценивал, даже как-то несколько принижал свое яркое, самобытное творчество.

Павла Петровича очень беспокоил упадок на Урале искусства художественного литья и обработки камня. Кадры мастеров художественного литья, по преимуществу каслинцев, как и «каменных» умельцев, постепенно вымирали, а замена им не готовилась. Руководство этим делом попало в руки организаций, которые считали его третьестепенным и держали в загоне. Особенно из рук вон плохо было с художественным литьем.

Свои тревожные мысли Павел Петрович не раз высказывал товарищам, имеющим силу и власть, чтобы

изменить создавшееся положение. Став депутатом Верховного Совета СССР, Бажов оказал большое влияние на создание в Свердловске и Нижнем Тагиле художественно-ремесленных училищ, которые сейчас являются основными базами подготовки этих кадров.

Если вы перелистаете комплект газеты «Уральский рабочий» за сороковые годы, то увидите, что некоторые сказы Павла Петровича впервые опубликованы в праздничных номерах газеты. Сказы эти написаны были, как говорят, «по заказу». Дело происходило так.

Обычно за месяц-полтора до Октябрьской годовщины, праздника Первого мая или другой знаменательной даты календаря нашей великой революции во время одной из послеобеденных передышек кто-нибудь из присутствовавших закидывал удочку: «А ты, Павел Петрович, к празднику-то чем-нибудь порадуешь читателей?» Павел Петрович сделает сперва несколько затяжек и оградится довольно плотной дымовой завесой, а потом уже ответит, что, мол, ничего определенного обещать не могу. Ни разу за все годы мы не услышали от него: «Да, будет». Эту манеру мы скоро раскусили и при удобном случае еще и еще раз напоминали ему, что надо бы все-таки поднажать и дать в газету к празднику очередной сказ.

Мы превосходно понимали, почему Павел Петрович всегда уклонялся от положительного ответа: литературное творчество — процесс весьма сложный, и мало ли какие могут быть «закавыки». Но знали мы хорошо и другое: у старика несомненно есть уже заготовки, и журналист-большевик в нем свое возьмет. И действительно, за несколько дней до праздника Павел Петрович приносил в редакцию свой новый сказ. Так появились «Богатыревы рукавицы», «Широкое плечо» и ряд других сказов.

Павла Петровича трудно было вытащить куда-нибудь на юг, прельстить красотами крымских или кавказских курортов. Он любил свой Урал, своеобразную

красоту его природы и стремился летние месяцы проводить в родных местах.

Вспоминается такой случай.

Однажды летом пили чай в бажовском саду. Один из присутствовавших посоветовал Павлу Петровичу «облагородить» сад — вырубить рябину, черемуху, березы, ели и посадить вместо них привитые яблони, вишни, груши.

— Ведь чепуховину городишь, — ответил беззлобно Бажов. — Как же я буду их вырубать, если мы с Валюшей своими руками их посадили! Да и зачем мне это «благородное»? Родное-то всегда дороже «благородного».

— Извини, я ведь не знал... — сконфуженно произнес советчик.

Особенно болезненно относился Павел Петрович к фактам небрежного, варварского отношения к природе. Не раз он возмущался тем, что в Чусовую, красивейшую уральскую реку, спускаются отработанные заводские воды и река в большей своей части обезрыблена и обездичена.

— Какую красоту губим и сколько убытку терпим! — говорил он.

В Нижних Сергах он, против своего обыкновения, прочитал целую нотацию руководителям металлургического завода, корил их за то, что во время войны они спустили в Сергу какую-то отраву и погубили рыбу не только в самой реке, но и в Михайловском пруду, куда река впадает.

В разговоре про екатеринбургских золотопромышленников кто-то сказал, что некоторые из них имели свои теплицы и землянику зимой выращивали.

— Не только землянику, а один даже ананасы выводил, — заметил Павел Петрович. — Но это же было причудой, дикой по цене причудой барина. А мы не ананасы, конечно, а зимние овощи должны производить в массовом масштабе, для народа. И возможности у нас огромные. Возьмите к примеру, какую уйму горячей во-

ды спускают в Верх-Исетский пруд и в Исетское озеро Свердловская электростанция и СУГРЭС. И водоемы портим, и толку никакого.

Как депутат Верховного Совета СССР, Павел Петрович еженедельно в одной из комнат облисполкома принимал избирателей, проявляя в этом деле исключительную пунктуальность. Иногда после приема заходил к нам усталый, с набрякшими веками и чаще всего сумрачный.

— Я тут у вас маленько отдышусь.

Однажды глухим своим голосом высказал наболевшее:

— Особенно донимают жилищные дела. Строить-то стали много, а все же потребуются годы, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить квартирные нужды людей. И тем возмутительнее, когда некоторые наши чинуши, вместо того чтобы все как следует, терпеливо объяснить человеку, душевно поговорить с ним, отмахиваются от него бумажками. А разве бумажка может заменить живое, идейное слово!

Известный художник Бершадский писал портрет Павла Петровича.

Однажды, зайдя к нам после очередного сеанса, писатель жаловался:

— Опять был у Бершадского. Больно уж муторно. Сидишь как истукан, и начинает казаться, что у тебя преглупейшее выражение лица. Даже хочется иной раз к зеркалу подойти и поправить свое обличье. Устаешь хуже работы.

В 1946 году Павел Петрович Бажов был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Красноуфимскому избирательному округу, Свердловской области. В первой половине февраля мне было поручено сопровождать Павла Петровича в его поездке для встречи с избирателями. Мы побывали тогда в Полевском, Ревде, Нижних Сергах, Бисерти. Несколько раньше Бажов съездил в ряд других населенных пунктов своего избирательного округа.

Время в этой поездке обычно распределялось так, что вечерами, а часто и днем Павел Петрович выступал на собраниях избирателей, а в остальное время ездил на предприятия, в культурно-просветительные учреждения и в обычной, рабочей, будничной обстановке беседовал с трудящимися.

В городе Полевском, на своей родине, Павел Петрович пробыл несколько дней.

На общегородском собрании избирателей Бажов был встречен земляками особенно тепло. Многие его лично знали, все выступавшие одобряли и поддерживали его кандидатуру.

Особенно врезалось в память короткое, но трогательное выступление одного из бажовских сверстников, который назвал Павла Петровича попросту Пашей и расцеловал его.

В Полевском Бажов побывал на Криолитовом и Северском заводах.

Северский завод в это время осваивал производство белой жести. Павел Петрович заинтересовался технологией изготовления жести, долго наблюдал за процессом производства. Он обратил внимание на то, что при окончательной обработке жести употребляется значительное количество отрубей.

— А нельзя ли заменить отруби чем-нибудь другим? — заметил он. — Знаете, сколько бы мы смогли сэкономить ценнейшего корма для скота...

После возвращения с Северского завода в город Полевское Павел Петрович пригласил к себе в гости группу стариков, с которыми он, по его словам, «в детстве в бабки играл».

Павел Петрович с большим вниманием угощал своих друзей детства, ухаживал за ними.

Старики остались очень довольны приемом.

— Сразу видно, своя кость, — заключил один из них.

Город Ревда, куда мы направились из Полевского, — один из значительных на Урале центров цветной металлургии. Здесь, на городском собрании избирателей, Павел Петрович произнес очень интересную речь.

На другой день в клубе горняков состоялась встре-

ча Бажова с рабочими крупнейшего на Урале Дегтярского медного рудника. После собрания силами художественной самодеятельности клуба была поставлена инсценировка известного бажовского сказа «Каменный цветок». Надо заметить, что инсценировка была целиком создана художественным руководителем этого клуба.

Павел Петрович с большим вниманием смотрел инсценировку и даже прослезился, когда после спектакля все участники постановки со сцены приветствовали его.

От Нижних Серег до Бисерти километров тридцать решили проехать на лошадях. Погода стояла не холодная, но шел снег, а под конец пути началась пурга.

На Павла Петровича поверх его собственной шубы надели еще большой тулуп, «поповский», по его выражению.

Ехали в трех санках: в первых — Павел Петрович, а в двух других — районное начальство и я. Лошади бежали довольно быстро.

Однообразие зимнего пути прервалось неожиданным происшествием. Наш кандидат на одном большом раскате вылетел из санок и очутился в огромном сугробе. Он барахтался в своих тяжелых шубах, безуспешно пытаясь выбраться из снежного плена. Все остановились и со смехом и шутками достали Павла Петровича из снега, как следует отряхнули и усадили в санки.

— Ну вот, окрестили в снежной купели, теперь обязательно выберут, — добродушно посмеиваясь, заметил шутливо он, очищая бороду от застрявших в ней комков снега.

Свердловск



А. МАКАРОВ

УРАЛЬСКИЙ САМОЦВЕТ

Бушевал хлесткий и студеный дождь. С десяток свердловчан и свердловчанок, прикрываясь зонтиками и кутаясь в воротники, толклись на трамвайной остановке. Наконец со стороны оперного театра показался трамвай. Погромыхивая под уклон и сигналя перед людным уличным перекрестком, он скатился вдоль чугунной ограды бульвара на просторную магистраль и, нетерпеливо заскрежетав тормозами, остановился. Свертывая зонтики и стряхивая с платья сырость, пассажиры хлынули в вагоны. Мне, человеку с войсковыми петлицами на шинели, полагалось войти последним; трамвай двинулся. Вскочив на ступеньку, я оглянулся назад и тотчас же рванул сигнальную веревку, — подпираясь толстой, суковатой палкой, за трамваем трусил приземистый старик, широченную седую бороду которого трепал встречный ветер. Вожатый по сигналу сбавил ход, я протянул старику руку и помог ему подняться на площадку вагона.

Обтерев лицо платком и отдышавшись, мой пассажир, с виноватинкой в глуховатом голосе и по-уральски приокивая, поблагодарил:

— Спасибо, товарищ... Шибко тороплюсь.

Потом его мокрая черная кепчонка замелькала между теснившейся в вагоне публикой, а через две-три остановки он сошел и мимоходом кивнул мне сквозь рябое от дождя стекло.

Спустя несколько дней в актовом зале Дома печати собиралась уральская межобластная писательская конференция. Для меня, только что приехавшего на постоянное жительство в Свердловск, все здесь было ново, и единственным знакомым, к моему удовольствию, оказался тот самый старик из трамвая.

— Ну вот хорошо! — сказал он, здороваясь со мною. — Гора с горой не сходятся, а человек с человеком — частенько... Выступать собираетесь, так запишу...

Это был председатель конференции Павел Петрович Бажов.

После выборов правления Свердловского отделения Союза советских писателей П. Бажов снова подошел ко мне, рассмеялся, приоткрыв верхний рядок зубов, и с тем же оканием, которое шло к его речи куда больше, чем к разговору любого уральца, проговорил полусерьезно, полушутливо:

— Вот каково с нами получилось, вместе заседать придется... Опять хорошо!

Помнится, сердце пело соловьем: шутка ли — работать рядом с Бажовым! Но в подсознании колотилась тревога — старик представлялся довольно ершистым. Однако после первого же заседания правления мы разговорились, оказались партийными ровесниками и соратниками по армии в гражданской войне, бо́льшую половину которой нам довелось прошагать одним и тем же путем. А боевых друзей-товарищей у нас оказалось что-то около роты. В те дни я мучительно бился над поиском собственной тематики, и П. П. Бажов был, пожалуй, единственным, кто здесь же подсказал мне необходимость писать о гражданской войне на Урале, а через некоторое время прочитал и одобрил наброски моего первого романа о ликвидации кулацко-эсеровских банд в Верхнем Прикамье.

Такими запомнились первые встречи.

Сначала как заместителю секретаря, а после смерти Т. В. Круглова — секретарю партийной организации при

Свердловском отделении Союза советских писателей, мне довелось общаться с П. П. Бажовым довольно тесно и узнать его во многих отношениях — по партийной, служебной и общественной работе. То там, то тут нам частенько приходилось бывать вместе, о чем он шутливо говаривал: «Мы с Тамарой ходим парой».

Итак, сперва о Бажове-коммунисте.

П. П. Бажов вступил в ряды Коммунистической партии в самые пламенные дни тысяча девятьсот восемнадцатого года, прошел сложный путь бойца-пулеметчика, воина-агитатора, подпольщика-партизана, пролетарского журналиста. Преданность партии без рисовки, принципиальная прямолинейность, исключительная выдержка, умение предвидеть в решении больших и малых вопросов, подкупающая простота в обращении, бытовая чистоплотность — вот что отличало коммуниста Бажова.

Главнейшей особенностью коммуниста Бажова было пристрастие к любым партийным поручениям. Он бывал искренне доволен, когда получал то или иное задание, видя в нем доверие товарищей к себе самому, чем откровенно гордился. Вторая его особенность — лютая нетерпимость к пустословию и недомолвкам на партийных собраниях и заседаниях; сам он умел кратко и ясно ставить точки над любыми «и». Наконец, третья особенность коммуниста Бажова — это беспощадность к нарушителям партийной дисциплины, партийной этики.

Как-то накануне праздника Великой Октябрьской социалистической революции нас вызвали в районный комитет партии. Павел Петрович чувствовал недомогание, шагал, поминутно останавливаясь, и круто дымил папиросой, — боялся, что вызван на длинное заседание. Я посоветовал ему поехать домой и отлежаться или вернуться в помещение Союза и там подождать меня с новостями. Он взглянул на меня так, словно я нанес ему страшнейшее оскорбление, промолчал, но, будто от внутренней вспышки, выдохнул облако дыма, который метельно закрутился в его бороде. Возвращаясь из райкома, где нам дали поручение выступить с юбилейными докладами в цехах одной городской фабрики, Бажов попенял мне:

— Чуешь?.. А ты гнал... Сказал бы в райкоме, что Бажов корчится, и дожидайся, когда еще получишь путевку к рабочему классу.

В другой раз, уже в дни Великой Отечественной войны, Павел Петрович сам попросил себе партийное поручение — сбор пожертвований в помощь фронту среди писателей и их семейств. Отрадно было видеть, как в красном углу небольшой комнаты отделения ССП, возле стола ответственного секретаря П. П. Бажова, день ото дня, час от часа вырастал аккуратный штабелек теплых вещей с ярлычками-надписями, от кого именно, и с непременным приветом жертвователя защитнику родины, а на столе лежала ведомость денежных взносов, испещренная фамилиями известных писателей Советского Союза и многозначными цифрами. Еще отраднее было видеть лицо агитатора-приемщика Павла Петровича Бажова.

Но в один из хмурых октябрьских дней вдруг похмурело и это лицо...

В семье, как говорится, не без урода. Именно урод стал на пути П. П. Бажова и в эти грозные для страны дни: один из эвакуированных в Свердловск, довольно видный литератор, отказался пожертвовать в пользу фронта более десяти рублей. В свете пожертвований его эвакуированных же коллег, подчас выражавшихся в пятизначных цифрах, выходка этого перерожденца представлялась вызовом общему делу.

На помощь Павлу Петровичу пришли мы, бились в увещеваниях наглеца несколько часов, но скупец стоял на своем, сучил перед нами измызганной тридцаткой и требовал сдачу. Наконец знаменитая бажовская уравновешенность истощилась. Он встал и попросил нашего консультанта Евгения Лебедева открыть дверь. Тот распахнул ее, и Бажов сказал горе-писателю гневно:

— Мы приняли вас на Урале как дорогого гостя, а вы плюнули нам в лицо... Уходите прочь, и чтобы мы вас больше здесь не видели!

Видимо не ожидавший столь крутого приговора, «гость» вышел побитою собакой и на другой же день уехал из Свердловска в Чистополь.

Помнится, Павел Петрович с возмущением расска-

зывал об этом Александру Александровичу Фадееву, и тот с не меньшим возмущением обещал проверить «отличившегося» литератора делами на фронте.

Будучи членами областной репертуарной комиссии (или комитета?), мы частенько бывали вместе на генеральных репетициях, приемах спектаклей, в театрах и концертных залах города. Здесь, словно в редактируемых им писательских рукописях, Бажов умел подмечать и солнечные и теневые детали. Но Павел Петрович никогда не прибегал ни к менторству, ни к заушательству. Однако бульварный нанос, мещанскую пошлость и прочий хлам, с которым репертуарной комиссии приходилось нередко встречаться то в драматургическом, то в музыкально-вокальном, то в хореографическом творчестве авторов или постановщиков, он бичевал либо с присущей ему тончайшей иронией, либо с воинствующей большевистской прямотой.

В театре оперы и балета принимался спектакль «Надежда Светлова» И. Дзержинского. Павел Петрович сидел, как всегда, с краю стола комиссии и время от времени морщился, ежился, точно от озноба, и покряхтывал. Уважительно выслушав всех членов комиссии, Бажов попросил слова последним и выступил на этот раз сухо, пожалуй, даже требовательно и осуждающе.

— Не могу сказать, чья это проруха, композитора или дирижера, — заговорил он, медленно обводя товарищей своим ясным взглядом, — но один звучок мне не глянется — виолончели местами ревут, как по покойнику!.. А здесь нужна не панихида, но торжество нашей грядущей победы над подлым врагом, которую мы чувствуем по тексту либретто. Здесь сверкающей должна быть музыка!.. Если такое от композитора, то пусть Иван Иванович нас не обессудит, коли мы его похоронную моль снимем. Если сие от дирижера, то попросим уважаемого маэстро избавить нас от лукавого!

Раскритикованные Павлом Петровичем куски музыки комиссия прослушала повторно, слезливую «моль» выловили теперь общими силами, признали безусловно диссонирующей с текстом либретто и сняли.

Свердловский драматический театр ставил нашумевшую в свое время пьесу «Большевик», посвященную Я. М. Свердлову. Эта пьеса понравилась Павлу Петровичу, прочитавшему ее перед работой над нею в театре. Он неоднократно бывал на репетициях лично и частенько приглашал с собою писателей-драматургов, восхищался мастерством тогда еще заслуженного, теперь народного артиста республики Ильина, исполнявшего заглавную роль.

Помню, после премьеры Павел Петрович говорил консультанту отделения Союза писателей Лебедеву, что не мешало бы ему, как журналисту, написать рецензию для всех газет пригородных районов, да позвончее, чтобы мобилизовать внимание колхозников к этой пьесе и заставить их просмотреть ее.

Бесспорна созидательная роль П. П. Бажова в становлении Уральского русского народного хора. Мне хорошо запомнился телефонный звонок тогдашнего директора Свердловской филармонии М. М. Хессина в отделение ССП, — директор приглашал ответственного секретаря отделения Союза писателей на организационное совещание. То ли не надеясь на положительный отклик, то ли полагая, что его могут не расслышать, Михаил Хессин говорил долго и кричал так, что тенор его через телефонную мембрану звенел на всю комнату, а Павел Петрович, отведя трубку, усмехался и время от времени тоже вскрикивал: «Чую... Чую... Ну, чую!»

Бажов был по горло занят в эти дни: он руководил перестройкой работы отделения Союза писателей на военный лад; формировал и редактировал материалы для первого по-военному номера альманаха «Уральский современник»; встречал, принимал и устраивал на новом месте жительства эвакуированных писателей — москвичей, ленинградцев, украинцев, белорусов; безоговорочно бывал на заседаниях и совещаниях либо в обкоме партии, либо в облисполкоме, или в управлении делами уполномоченного Комитета Обороны. И тем не менее Павел Петрович не отказался от предложения директора филармонии.

— Гляди ты, какое дело заворачивают! — удивленно и весело проговорил он, вставая и потуже затягивая

свой узенький ремешок на просторной черной гимнастерке. — А ведь и верно, народ у нас на Урале певучий. Нельзя пройти мимо такой затеи, нет, нельзя. Хм... война и хор... Ну, хорошо... Пойдем-ко послушаем!

И мы пошли.

На филармонической сцене в помещении Делового клуба неровным, разномастным полукружком стояли будущие профессиональные певцы «голубого Урала». Это были два объединенных коллектива сельской художественной самодеятельности — молодые девушки и старенькие старушки; среди двадцати—тридцати человек женщин замешался единственный мужчина, — остальные басы и баритоны, как нам сообщил М. М. Хессин, ушли воевать с фашистами. Хористы исполнили две-три уральские народные песни, причем спели их не очень хорошо, но одна из них понравилась Бажову. Она называлась «Телочка» и преподносилась театрализованно, в лицах, при соответствующей костюмировке.

Павел Петрович задал столько вопросов, что будущий художественный руководитель хора Л. Л. Христиансен и сам Хессин озабоченно почесывали затылки. Бажов говорил и о составе коллектива, и о манере исполнения, и о репертуаре (у рабочих имеются также неплохие песни), и об особенностях уральской фонетики. Здесь же он по-инспекторски придирчиво просмотрел целую серию фасонов старинного уральского костюма и собственной рукой сделал множество пометок на эскизах.

Уходя, он подмигнул Хессину и пошутил:

— А меня не примете? Хоть в свистуны... Гляжу, старушошек-то у вас много, а ухажеров в обрез...

Смеясь, Хессин ответил, что свистунов по штату не полагается, а старушки действуют в хоре временно, для передачи исполнительского опыта.

Павел Петрович то здесь, то там беседовал о хоре либо с певцами и танцорами оперы и балета, либо с композиторами, художниками, краеведами, наконец, с руководителем хора имени Пятницкого, когда этот коллектив приехал в Свердловск на длительные гастроли. Одним словом, новорожденный на уральской земле творческий коллектив вызвал в П. П. Бажове живейший интерес.

Особенно хорошо, незабываемо ярко П. П. Бажов запомнился мне по военно-шефской работе.

В начале Великой Отечественной войны мне пришлось быть военным комиссаром одного из свердловских госпиталей. В этот госпиталь с фронта поступали тяжко раненные солдаты и офицеры, часто без всех четырех конечностей, поэтому естественно, что местная общественность уделяла им исключительно теплое внимание.

Бажов часто бывал в госпитале. Он приходил либо один, либо с кем-нибудь из писателей — с А. А. Караваевой, Ф. В. Гладковым, О. Д. Форш, И. И. Садофьевым, Б. С. Рябининым, Н. А. Куштумом, с композиторами В. Захаровым и В. Белым. Иногда заявлялся запросто, как свой человек, иногда предупреждал, что придет с тем-то и с тем-то, бывало, просил подослать за гостями машину или справлялся, может ли он встретиться с таким-то раненым в такое-то время, — чаще же всего любил беседовать почему-то с артиллеристами.

Однажды он и Ф. В. Гладков пришли к концерту.

Как и в любом советском госпитале, в нашем работала неплохая художественная самодеятельность, подготовленная шефами — мастерами искусства, такими, как народная артистка республики Е. К. Амман-Дальская и заслуженный артист республики В. Д. Месняев. В самодеятельности принимали участие выздоравливающие бойцы и медицинский обслуживающий персонал госпиталя.

Бажов смотрел, слушал и, насупившись, грыз бороду.

После концерта я спросил, почему он не в духе.

— Мало радости, — со вздохом ответил он и кивнул на эстраду: — Вон каких орлят искалечили паршивые псы!..

— Ну, эти еще как-никак живы, — хмуро выглянув из-под очков, откликнулся Федор Васильевич. — А коли живы — поживут. Ты говори дело комиссару.

Павел Петрович с силой помял пальцами свой точеный лоб, словно разминая засевшую в голове мыслищу, потом похлопал ладонью по скамье, на которой они сидели, и кивнул мне:

— Садись-ко... Ну, хорошо... Ты помнишь, какое об-

разование у парнишки, который на флейте играл?.. Десять?.. Видим, что без обеих ног... А у того, однорукого, который Леонкавалло пел?.. Так... А который «Полоза» читал?.. Тоже семилетка?.. И напрочь обезручен!.. Мы вот с Федором Васильевичем перешепнулись: хорошо бы, мол, их кого в консерваторию к Фролову, кого на радио... Пожалуй, возьмем да позвоним. Шибко способные ребята... Как твое мнение?..

Гладков черкнул фамилии бойцов в записную книжку.

Это говорилось часов около десяти вечера, а на другой день, вскоре после утреннего врачебного обхода, мне позвонили из консерватории, и мы решили, не откладывая дела до выздоровления бойцов, начать с ними занятия по классам флейты и пения прямо в госпитале.

В другой раз, после беседы с бойцами в «тяжелой палате», Павел Петрович зашел ко мне в кабинет и, опускаясь в кресло, проговорил:

— Устал... Слушаешь, слушаешь ребят, а грудь будто в тисках сжимает... Вот же будь они трижды прокляты со своим фюрером, что натряпали на нашей земле!

Сейчас думается: уж не в этих ли задушевных беседах с искалеченными воинами зародились гневные бажовские сказы о немцах?..

Из отрывочных наблюдений мне запомнилось очень немногое.

Как-то Павла Петровича положили в спецбольницу обкома партии, что на берегу свердловского центрального пруда. В один из воскресных дней мы с тогдашним главным редактором областного книжного издательства Виктором Глазыриным решили навестить писателя. Зная, что старик вообще не одобряет праздношатающейся публики и, пожалуй, осудит наш поступок, мы взяли с собою: Глазырин — четыре вновь вышедшие из печати художественные книжки, я — протокол вчерашнего открытого партийного собрания писателей. Вызвав больного из палаты в зал свиданий, мы показали ему наши «подношения», но Павел Петрович реагировал на них холодно, выглядел необыкновенно нервным и,

просидев так с четверть часа, как-то уж очень просительно предложил нам выйти в больничный сад.

Бажов увел нас в самую дальнюю беседку.

— Закурить есть? — спросил он с показной озабоченностью, как это делают завзятые «стрелки», обшарив карманы своей больничной пижамы.

Сделав несколько жадных затяжек, Павел Петрович ухватился за протокол партийного собрания, но только-только увлекся и стал вслух комментировать прения выступавших, как за нашими спинами раздался строгий голос, видимо, дежурной медсестры:

— Больной Бажов, сейчас же бросьте папироску!

Нужно было видеть Бажова в эту минуту, чтобы понять его смущение: он вспыхнул, сначала зажал папироску в кулаке, потом попробовал сунуть ее за пазуху, наконец швырнул наземь, растоптал, как давят гадину, и, победоносно оглянувшись на сестру, решительно потряс бородой.

— Все. Ну ее к лешему! — сказал он.

Обговорив протокол партсобрания и книжки-новинки, мы побеседовали об общих делах и смолкли. Бажов долгим, ищущим взглядом посмотрел на Глазырина и глубочайше вздохнул.

— Не дам, Павел Петрович, — жестко заявил Глазырин.

— А я и не прошу, — смиренно, точно приговоренный бог знает к чему, ответил Бажов и, снова вздохнув, предложил: — Давайте тогда рассказывать побасенки... Ну, хорошо. Кто знает, почему Наполеон Бонапарт женился на мадам Богарнэ?

Смеясь своим негромким, деликатным смехом, как правило, кстати и некстати вставляя бажовское очаровательное «ну, хорошо», он стал рассказывать фрагментик из женитьбы Наполеона, вычитанный, по его заверению, в мемуарах осведомленного французского историографа лет сорок тому назад, и все мы забыли о куреве.

Любую небыличку Бажов умел рассказать занимательно, с собственным колючим и всегда уместным домыслом, и сам смеялся над ним не меньше слушателей.

Вспоминается литературно-музыкальный вечер в

Свердловской консерватории имени Мусоргского, посвященный творчеству П. П. Бажова. Начался он выступлением симфонического оркестра, была разыграна монументальная композиция с текстом по мотивам одного из бажовских сказов и прославляющая самого писателя. Затем певица исполнила несколько русских народных песен, записанных, кажется, композитором Щелоковым на родине Бажова, в Сысерти. Потом артист радиокомитета прочитал «Синюшкин колодец» и «Дорогое имячко». Придя на вечер общительным и жизнерадостным, Павел Петрович помрачнел после первого же номера; безучастно, словно посторонний, он сидел с краешка стола, не аплодировал, молчал и задумчиво глядел на богатую люстру. Только выступление чтеца его несколько расшевелило, и, уходя, в гардеробе, он пожал артисту руку. Бажов попросил меня пройтись квартальчик и, взяв под руку, предупредил:

— Поуже шагай. В голове как в пчелиной колоде гудит, отдохнем чуток.

По-январски сильно примораживало, дома темными пятнами расплывались в густом тумане, лампочки уличного освещения казались обернутыми подержанной марлей, попутные и встречные трамваи оголтело звонили. Павел Петрович брюзжал что-то вроде: «Хорош морозец для фрицев под Сталинградом, а не для нас, стариков, хоть мы и уральцы». Я оглянулся на брюзжание. Черное пальто Бажова представлялось белым и негнущимся, точно жестяное; серые валенки, видимо отпотевшие в тепле, теперь подмерзли, скрипели и то и дело угрожающе скользили по обледенелому тротуару; надвинутая до бровей шапка, воротник, борода и усы заиндевели, слились воедино, опирающийся на палку Павел Петрович стал похож на деда-мороза. Меня разобрал смех.

— Чего рассыпался? — спросил он сквозь улыбку.

— Над артистом. Сильно читает!..

Бажов приостановился, сказал:

— Верно, хорошо. Хм... Другой раз мараешь бумагу — и не думаешь, что тебя так читать станут!.. Певица?.. Певица всем бы вышла, да зря козла дерет. Ей бы петь, как одна наша сысертянка перед куделькой. Та,

бывало, поет, и всю-то ее, милую, насквозь видно, вот до чего душевно. Эта — не умеет!

— А композиция, Павел Петрович?

— Больно уж помпезно. «Бажов, Бажов!..» Парфюмерия с ладаном... Не люблю я акафистов!

Он стукнул палкой о тротуар и пошел дальше.

В один из зимних вечеров Павел Петрович пришел ко мне на квартиру. Слово за слово — и мне удалось подвести разговор к тому, чтобы он послушал мою писанину. Бажов согласился, сел на табурет, подогнув под себя ногу, обеими руками облокотился на стол, едва не касаясь бородой стакана с чаем, и велел читать. Прослушав страничек до двадцати, он поднялся, поискал что-то на книжной полке, потом обернулся ко мне и спросил:

— У тебя Северянин есть?.. Нету... Ну, хорошо, а где ты видел, как мыши целуются?.. То-то вот, а пишешь... Потом мне показалось, что ты на жеребца трусики напялил... «Нет», говоришь, а я его в полосатых трусиках вижу!.. Убери к лешему и мышей и трусики, убери!.. Потом написано: «Небо вызвездилось». Так и прет Игорем Северяниным... Рукопись-то дай мне, если не жалко. Завтра я в больницу ложусь, так покопаюсь в ней от нечего делать.

Рукопись он унес тогда же и держал ее что-то около недели, затем поручил редактирование романа свердловскому писателю К. В. Боголюбову.

Последний раз Павел Петрович встретился мне в Москве зимою сорок восьмого года — он приезжал в столицу то ли на очередную сессию Верховного Совета СССР, то ли на пленум Правления Союза писателей.

Эта встреча, как и первая, произошла около трамвая. Депутат высшего органа государственной власти, всемирно известный писатель скромненько стоял в пассажирской очереди и ждал номера на Сущевку; он ехал в «Молодую гвардию», и мы оказались попутчиками. Несмотря на истомленный, явно болезненный вид, Бажов был все такой же светлый, по-прежнему влекущий к себе своею неотразимой, истинно человеческой общительностью.

Пермь



В. КУЧЕРЯВЕНКО

В СВЕРДЛОВСКЕ

Впервые я прочел сказы Павла Петровича Бажова в альманахе «Уральский современник», присланном мне во Владивосток из Свердловска К. Г. Мурзиди. Сказы оставили в моем сердце неизгладимый след на всю жизнь, словно я напился из чистого источника...

Второй раз я услышал имя П. П. Бажова в Москве, из уст Александра Федоровича Савчука, который предложил мне пойти с ним к Демьяну Бедному, перекладывавшему сказы Бажова в стихи...

— Работаю, дорогой товарищ Савчук, и очень трудно и упорно работаю, — говорил тепло встретивший нас Демьян Бедный. — То, что написал ваш уралец Бажов, — это же эпос! Рабочий эпос, которого еще не знал мир. Да, да, и язык такой — боюсь хоть слово утерять из его поэтической прозы. Поверьте, я даже сомневаюсь, стоит ли эти сказы перекладывать в стихи... Я сделал много, но не знаю, решусь ли когда-нибудь напечатать это.

Демьян Бедный прошелся по комнате, сжал руки в кулаки, вытянул их на уровне плеч и так, стоя против нас, весь сияющий, произнес:

— Вот счастлив я, что прочел сказы Бажова. Ох, как богат русский язык! И заметьте: верно, не только у горщиков и горняков есть свои особые слова, слова — образы и целые сказания, легенды, сказки и сказы. Есть, верно, и у шахтеров, и у ткачей, рыбаков, у моряков, у лесорубов. Сколько же предстоит открыть! И сколько у нас еще появится в русской литературе, да и в национальных литературах чудесных Бажовых!

Через год я вновь ехал из Владивостока в Москву.

Поезд на станцию Свердловск прибыл рано. Шел сильный снег. Вагоны, пробежавшие великие сибирские степи, были обмерзшими, облепленными белым снежным покрывалом. От дыхания выскочивших на платформу пассажиров стояли целые облака. И казалось, это не утро, а поздний вечер.

В киосках при свете электролампочек сверкали изделия уральских камнерезов. Броши, шкатулки, браслеты, запонки. Пассажиры охотно их покупали. Я невольно залюбовался вырезанными из красного камня ягодами клюквы, словно брошенными на зеленую малахитовую шкатулку, что нес в один из вагонов молодой человек. Глаза его лучились. Был он без шапки, обутый в меховые торбаза, русый, голубоглазый, смешной, с маленькой шкатулкою в руках. Его спрашивала девушка в серой беличьей шубке:

— Где вы взяли такую прелесть?

— Да, клюква! — восхищался вслух обладатель шкатулки. — Прямо кажется: положи в рот — захрустит, вся насквозь промерзла... Это мастера-уральцы... Еще здесь купить успеете, вон справа киоск, а то вот скоро будет станция Кунгур, там еще больше всего уральского.

И вдруг я схватил чемодан, быстро прошел в кассу, сделал на билете отметку об остановке... И вот на привокзальной площади любуюсь литыми чугунными решетками, охватившими скверы, улицы...

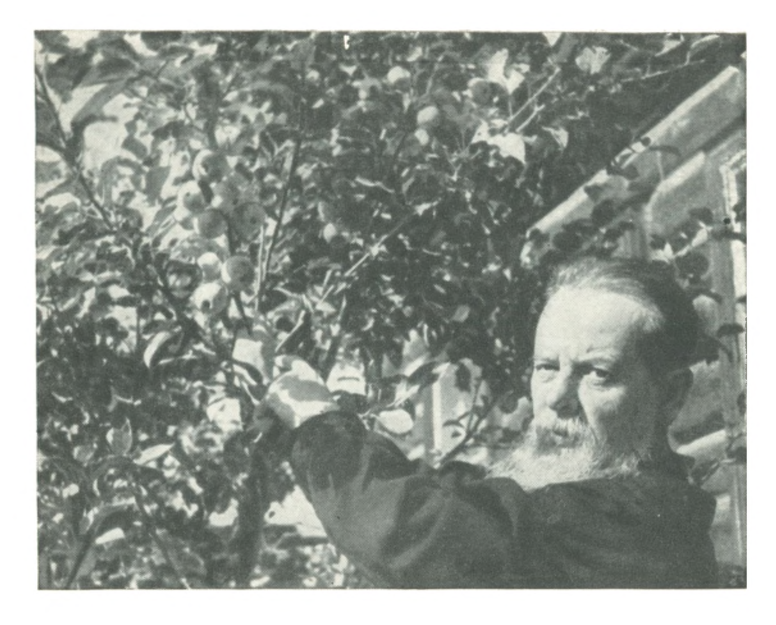
Скоро я разыскал своих друзей — Константина Мурзиди и Савчука.

— Побудь подольше у нас в городе, — говорил Александр Федорович Савчук, гостеприимно принявший меня в своей квартире.

Он жил в самом высоком доме Свердловска, и я не-



Дом Бажовых в Свердловске.



П. П. Бажов в саду, посаженном собственными руками.

много досадовал, что не могу посмотреть город с высоты; — все было затянуто снеговой пеленой.

Савчук снял с полки книгу в бежевом переплете и, положив ее на широкую ладонь, передавая мне, сказал:

— Вот лучшее, что вышло у нас на Урале. «Малахитовая шкатулка» Павла Петровича Бажова. Помнишь, тогда, в Москве, это о нем Демьян Бедный говорил как об авторе нового в литературе рабочего эпоса. Чуде-е-снейший старик! — с чувством произнес Савчук. — Обязательно, Вася, познакомься с ним, пока будешь в Свердловске!

Я раскрыл книгу и начал читать сказы...

Когда спустились сумерки, снег перестал идти и город вспыхнул тысячами огней, зашел Мурзиди. Мы отправились в театр, на литературный вечер.

Павел Петрович Бажов сидел в президиуме, затем он выступил. Говорил он очень живо и захватил всех логикой своего короткого, но яркого доклада. Я и не заметил, как он окончил и как буря аплодисментов захлестнула зал.

Вот мы уже в фойе. Мурзиди знакомит меня с Бажовым. Павел Петрович взял меня под руку и увлек в прогулку по фойе. Мы слились с толпою молодежи.

Разговор зашел о сказках. И как-то так получилось, что Павел Петрович поделился своими творческими замыслами.

— Думаю, Василий Трофимович, собрать сказы рабочих гранильной фабрики, — говорил Бажов.—Непочат участочек. Гранильщики, их мастерство. Вот мало кому ведомая страница, а наши гранильщики-то и в наши дни для кремлевских звезд рубиновые каменья огранивали... Ну, а затем следует взять на заметочку фольклор наших каслинских мастеров художественного литья из черного чугуна. Работы на много-много лет... — И тут же Павел Петрович спросил о моих планах.

— Думаю собрать фольклор моряков, — сообщил я ему.

Глаза Бажова заискрились.

— Вот хорошо. Это же неисследованные родники. А хотя бы взять Байкал, сколько о нем легенд живет, — на книгу наберется... Ну, а еще что вы записываете?

— Еще начал записывать корейские сказки. Думаю собрать фольклор орочей, удэгейцев. Правда, его записывали уже Арсеньев и Борисов. Трофим Михайлович Борисов целый роман написал — «Сын орла».

— Верно, год назад я читал в «Красной нови», чудесно написано, только не знал, что автор из Владивостока. Разобщены мы, мало знаем, что издается в краях и областях.

Я очень коротко рассказал Бажову о работах дальневосточных писателей. Павел Петрович радостно поддакивал мне и в то же время о чем-то глубоко думал.

— То, что вы сказали, уже хорошо. Много у нас в краях и областях нового появилось, но как-то информируют об этом скупо, невнятно, и не знаешь, где что делается. Вот в журнале «Тридцать дней» да в том же журнале «Красная новь» я прочел сказки Писахова — это же какой свежий юмор, так и брызжет из каждой строчки задорным смехом. А какой самобытный язык! А кто он — толком и не рассказано. Напечатали «Северный Мюнхаузен». Дать бы портрет хороший, а то читаешь и думаешь, что это за фамилия, а по языку, складу мыслей видишь — живой, бывалый человек, и какой цельный художник... Вот так, из маленьких ключиков и говорливых ручейков, и сливается большая, могучая река нашей русской литературы, а если посмотреть национальные литературы — море...

Разговор незаметно перешел вообще на Дальний Восток, и опять Павла Петровича интересовала любая мелочь о нашем крае.

— Приезжайте к нам! — пригласил я Павла Петровича.

— А что, я согласен. Столько проехать — уже книга. Только проехать — это теперь легко, а ведь предки-то годами шли. Вот и слово осталось от тех времен — землепроходцы... Заметьте: не землю, а земли прошли многие. Меня давно волнуют образы землепроходцев и те далекие земли, с молодых лет. Ей-ей, поеду... Но это канительно.

— Нет, это совсем не сложно.

— А каков Амур?

— Очень широк, а возле Хабаровска кажется — это не река, а морской залив.

— И сколько проток... Много их у Амура. — И, поймав мой недоуменный взгляд при этих его словах, Павел Петрович, улыбаясь, заметил: — У меня там дочь. В городе Комсомольске. — Бажов погладил бороду и, улыбаясь, добавил: — Я ей завидую. Не борода бы — сам поехал строить город. Вот вы надоумили поехать на Дальний Восток, заодно и дочь бы проведал. Все самолично посмотрел бы, встретился бы с вашими писателями и познакомился бы с каждым, а не только по книгам. Я ведь жадный на людей... А вашей книги я не читал еще. Видел у Савчука.

— Завтра я вам занесу. Но она...

— Первая. Очень буду благодарен. А встретиться можно у меня, Костя знает. А то часов в девять утра в Доме работников литературы и искусства. Не проспите?

— Нет.

Прозвенел звонок, возвестивший о начале концерта. Уже потух свет. Сели мы с Павлом Петровичем рядом. Показывали сцену из «Анны Карениной». И, как мне показалось, артистка, исполнявшая роль Анны у нас, во Владивостоке, играла лучше. Я тихо сказал об этом Павлу Петровичу. Он весело ответил мне:

— Это же очень хорошо. Как далеко — и не хуже, а лучше.

Наступило следующее утро. Вновь повалил снег. Небо над городом было низкое, серое до синевы. Мороз я почувствовал настоящий, уральский.

Мы с Мурзиди только сняли пальто в раздевалке Дома работников литературы и искусства, как появился и Павел Петрович. Отряхнув с себя снег, он быстро пригладил зачесанные назад волосы.

— А вы не опоздали, даже чуток обогнали меня. Вот я поднимусь наверх, справлюсь с делами, и мы поговорим.

Вскоре Павел Петрович вновь подошел к нам.

Я тут же надписал ему свою книгу «Сказки Дальнего Востока»: «Павлу Петровичу Бажову в знак глубокого

уважения» — и поставил дату: «2 ноября 1940 года, город Свердловск».

— Благодарю, — сказал Павел Петрович, пожимая мне руку. — Дорого, что это ведь первая ваша книга. А там пойдут, но уже не первые. А эту не забудете, какая бы ни была. К сожалению, не могу вас сейчас одарить — книги нет. Посмотрел дома — нет. Потом пришлю. Буду должником. У меня там, в издательстве, еще обещают сделать в каких-то переплетах, с малахитом... Так что вы выгадаете.

Выпили мы по стакану чая с лимоном. Павел Петрович рассказывал об авторах картин, висевших в зале.

Оделись, вышли. Показали мне дом Мамина-Сибиряка. Поднялись до памятника Я. М. Свердлову.

— Вот о ком надобно написать. Скала, а не человек.

Затем мы спустились вниз, к Исетскому пруду. Здесь, на плотине, долго стояли. Павел Петрович восхищенно рассказывал о старинных строителях плотин. Слушая его, становилось понятным: здесь, в этом городе, он знал все доподлинно и все страстно любил.

Меня поразила старинная, полустертая дата на стене гранильной фабрики. За окном, захваченным сетками, на столах искрились горки красных рубинов. Прошли дальше. Показывая на высокую бревенчатую, почерневшую от времени башню, Мурзиди рассказал о монетном дворе Демидова, в подземельях которого в дни царствования Екатерины тайком чеканили золотые деньги.

Когда Екатерина спросила Демидова, указывая на богатый его дар — полное блюдо червонцев: «Мои или твои, Демидов?» — «Теперь ваши, а допрежь были мои», — ответил заводчик.

Павел Петрович дополнил рассказ Мурзиди:

— Чтобы скрыть свое преступление, когда нагрянула ревизская комиссия, Демидов открыл шлюзы в плотине, и в подземельях затонуло, как гласит легенда, двести человек чудесных мастеров — граверов. А если бы тех мастеров да приспособить на настоящее дело... чего бы они только не создали. Музеев бы не хватило... Ведь то все были умельцы, и какие умельцы...

И, обращаясь ко мне, Павел Петрович как-то раздумчиво закончил:

— Величественно талантлив наш народ... Сколько же талантов загублено в старое-то время...

На угловом доме мне бросилась в глаза черная литая чугунная плита с названием улицы и барельефом.

— Это красногвардеец, его именем названа улица, его и барельеф. Каслинское литье. — И Павел Петрович поведал историю рабочего, чьим именем названа улица.

За воротами какого-то завода вспыхивали сполохи электросварки. Языки огня сливались с сине-темным небом. С Павлом Петровичем раскланивались рабочие. Он вежливо отвечал им. Казалось, в этом городе он был даже на улицах у себя дома!

Таким у меня в памяти и остался Павел Петрович Бажов, словно влитый в улицы города, сроднившийся с ним.

Я получил от Павла Петровича три письма. Каждое из них представляет немалый интерес для читателя и для исследователя. Привожу эти письма целиком.

«Дорогой Василий Трофимович!

Я перед Вами давний должник: не первый раз получаю Ваши письма, а ответить все не могу. Костя Мурзиди, если он сообщил обо мне, вероятно, отметил, что старик заболтался, запутался в мелочах жизни. Но это все же не самое главное. Важнее другое — то, что окружающие меня как-то не понимают. Ведь я теперь не только читаю и пишу в очках, дальше которых спускаться некуда, но вынужден и этим очкам помогать лупой. Короче говоря, стою на грани, от которой начинается самое страшное для всякого зрячего. При том положении, какое сейчас имею со зрением, переписка для меня очень трудное дело, так как связана прежде всего с разбором рукописи. У нас, как известно по журналистской практике, принято писать побыстрей, в расчете, что привычным ко всевозможным почеркам нетрудно будет разобрать.

Я придерживался еще совсем недавно этой же практики, а теперь, разбирая через лупу, ругательски ругаюсь, а довольно часто и вовсе отбрасываю всякую переписку. К Вам этот укор не относится, но послужит объяснением, почему так непристойно долго задерживаюсь с ответом.

«Малахитовой» послать не могу: она еще не вышла. Едва ли смогу выполнить Ваше пожелание и позднее, так как из московского издания мне пошлют по договору лишь 10 экземпляров. Вот если сумею раздобыть сверх этого, тогда дело другое. Сказ для моряков боюсь обещать. Уж очень я не близкий к морю человек. Просто рассказать об уральских мастерах, которые по своей работе (не одни оружейники) связаны с флотом, было бы хорошо, но есть одно большое препятствие: под этим углом раньше не смотрел и материала в запасе не имею. Постараюсь этот пробел восполнить, т. к. есть основание найти на этой тропочке занятный камешок, не очень воспетый, а имеющий достоинство не ниже самых дорогих. Темку эту, во всяком случае, заметил и благодарю Вас за подсказку, но обещать срочное выполнение боюсь. Очень уж я теперь веду разболтанную из-за неожиданных вклинивания жизнь да еще при сильно пониженной работоспособности.

О связи сибирских землепроходцев с Уралом тема не менее интересная, но ее тоже надо внимательно изучать, а пока лучше записывать отдельные кусочки, вроде того, какой Вы сообщили в своем письме. Это, на мой взгляд, интересно.

Итак, по всем линиям, как видите, объявил себя несостоятельным. Единственно, что сейчас могу сделать, — это послать книжечку «Сказы о немцах», что и делаю одновременно с этим письмом. О гранильщиках пишу еще. Частично сказы этой группы выйдут в новом издании «Малахитовой шкатулки», о которой все-таки лучше запросить Гослитиздат (ул. 25 Октября, 10/2, редактор А. К. Котов).

С приветом и пожеланиями всего лучшего Вам и Вашим товарищам по флоту.

П. Бажов

18/IV 1946 г.

«Дорогой Василий Трофимович!

Письмо получил. Спасибо за привет, за сообщение о «Каменном цветке». Картина, действительно, бродит по стране и за рубежом довольно бойко. Недавно вон художественный руководитель Птушко сообщил, что в Праге она шла в течение восьми недель. Случай, дескать, небывалый. Если даже Птушко, как заинтересованное лицо, преувеличивает вдвое, то это надо считать успехом. Вероятно, тут действует самая расцветка, которая является новой ступенью в деле цветной кинофикации.

Недостатков всякого рода в картине много, но я рад, что основная мысль сказа не затемнена и не затушевана киноштучками. Она доходит, а это самое главное.

Книжечку Вашу получил. Благодарю. Приятно, что наши краевые издательства имеют теперь возможность очень неплохо оформлять свои издания. Давать по ней свой отзыв, «хотя самый малюсенький», затрудняюсь, т. к. совершенно не сведущ в фольклоре, о котором Вы пишете. Мне лишь показалось, что не найдена еще та стилевая простота, которая неизбежно должна сопутствовать всему народному, какой бы национальности оно ни было. Местами даже кажется, что легенды немножко перекликаются по своей красивости с западноевропейскими. Но ведь те еще во время средневековья поставлены на слишком высокие каблуки, а с годами на каблуки навернуты резиновые предохранители, увеличивающие рост. Думается, что следовать этим образцам едва ли надо. Они хороши, величественны и красивы, но в них исчезает подчас та простота, задушевность и близость к народу, которыми проникнуты наши русские сказки. Мне лично наши сказки, как, впрочем, и немецкие сказки братьев Гримм, более понятны, чем самые высокие образцы западноевропейской фольклорной романтики типа «Песня Оссиана», «Сказания о Роланде» и пр. Образ Лорелеи меня трогает меньше, чем царевна-лягушка. Подлинно «Волшебные сказки» Перро, изящные творения Андерсена, на мой взгляд, все-таки много уступают сказкам Пушкина, в которых во всей полноте сохранена народная интонация. Этой вот народной интонации, как

мне показалось, и недостает. Легенды даются в несколько другом стиле. Оправдано ли это материалом, мне, разумеется, судить нельзя.

По поводу своих сказов дело неважное. Почти не пишу теперь. Почему — это вопрос длинный: тут и зрение и другая занятость. Но скулить по этому случаю все же не собираюсь, т. к. скулеж никогда и никому не помогал и не поможет.

Остается, значит, пожелать Вам всего лучшего и дальнейших творческих успехов. Конечно, хотел бы, чтоб в фольклорной работе Вы взяли крен в сторону народной интонации больше, чем в сторону романтики, но это ведь дело личного вкуса. Хулить высокие образцы западноевропейской фольклорной романтики тоже нельзя.

С приветом

П. Бажов

18/VII 1946 г.»

«Дорогой Василий Трофимович!

Большое спасибо за подписку на Арсеньева. Вы не ошиблись, — будет особенно приятно иметь издание, выпущенное не где-нибудь, а именно в краю, исследование которого составило основную работу жизни Арсеньева.

Вообще издательская работа на Дальнем Востоке меня радует. Сравнительно с тем, что у нас, там она разворачивается гораздо сильнее. У нас вон тоже собираются издать полное собрание сочинений Мамина-Сибиряка, но когда это будет! Разговоры ведутся уж не первый год, а начала издания все еще не видно. В последнее время, впрочем, заметно некоторое оживление с переизданиями, но вновь печатают мало. Радуюсь за Костю Мурзиди, которого все-таки начали издавать сильнее, чем было в предыдущие годы. Альманах наш только обещается. Винить одно издательство здесь не приходится. Виновата и сама писательская группа Свердловска: никто не дал заметного произведения из современности. Пишут, конечно, но так, чтобы выделилось чем-нибудь, — не удается. Более удачными пока оказались кол-

лективные работы «Н. Тагил», «Свердловск», «Золото» — типа хрестоматийных сборников. Один такой же предполагаем дать и ныне. Заглавия даже условного пока нет, но основная тема определена — электрификация сельского хозяйства.

Так вот и живем, что люди не завидуют. Главная причина, по-моему, в том, что есть какие-то элементы окостенения и в издательстве и, нечего греха таить, и в писательской организации Свердловска. Надо омоложать. В этом смысле совещание начинающих писателей имело бы очень большое значение, особенно если оно будет подкреплено организацией журнала или хоть молодежной газеты, вроде той, какая здесь была до Отечественной войны.

На Ваш вопрос о легендах не могу ответить, т. к. никогда не думал о гранях, отделяющих легенду от сказки. Существующее деление, мне думается, пора пересмотреть, т. к. в советское время поступило немало дополнений этого разряда словесности. Жаль, что наши современные фольклористы не пытаются ввести в литературу новые названия, а упорно стараются втиснуть все многообразие народного творчества наций в готовые группы. Вероятно, у ненцев, нанайцев, якутов, как у манси и хантэ, есть свои названия для устного творчества, которые можно перевести и не теми словами, к каким мы приучены. Поиски этого рода требуют, конечно, большой строгости, но обещают и счастливые находки.

К. Г. Мурзиди передал мне мой же портрет с Вашим пожеланием о надписи. Охотно делаю это, хотя великопостный вид 42 г. мне и не особенно нравится, но другого под руками нет. Придется ограничиться в этом письме добавкой: «Не думайте, что я такой унылый, как на портрете».

С приветом и пожеланием всего лучшего

П. Бажов

3/VI 1947 г.»

Владивосток



Б. МИХАЙЛОВ

ДРУГ И НАСТАВНИК

Начиная с 1934 года, мне, как уполномоченному Союза советских писателей по городу Перми, а затем как ответственному секретарю областного отделения Союза советских писателей, приходилось постоянно общаться с Бажовым.

Павел Петрович поддерживал меня в организационной и творческой работе.

— Я поэзии не поклонник, не знаток ее, — говорил он мне не раз, но удивительно метко замечал недостатки стихотворений. Видел и все лучшее в стихах, прежде всего близкое народному творчеству, живой действительности.

В книжном шкафу у меня самые разные издания книг Павла Петровича. Красочные, богато иллюстрированные, тяжеловесные — «Малахитовая шкатулка» Госиздата, вышедшая в Москве в 1948 году, «Малахитовая шкатулка», вышедшая в 1949 году в Свердловске, тут и «Ключ-камень» и «Серебряное копытце». Восхищаются ими знакомые. А я прежде всего дорожу скромно изданной, еще очень небольшой книгой — той именно «Малахитовой шкатулкой», которая впервые появилась на родном Ура-

ле в 1939 году. Автор, тепло назвав меня другом, подарил мне ее со своей надписью.

С его надписями я берегу и другие книги. Берегу письма.

В письме от декабря 1940 года Павел Петрович пишет про разную организационную канитель по фондам отделения, по обмену писательских билетов. Уже закружился старик. И жалуется, кроме того, на молодежную газету нашей области — попросили сказ, да замолчали: «...как видно товарищ Бычков, — говорит Павел Петрович о литературном сотруднике газеты, запросившем у него работу, — испугался размера и даже не ответил, на что, впрочем, не обижаюсь, так как в письме так и ставился вопрос: отсутствие ответа — знак неприемлемости. Ну, будьте здоровы...»

А сам ведь очень и справедливо обиделся.

Тогда он еще не был лауреатом. Трудно ему было отстаивать тон своих сказов. Шел он всегда против стандарта. И некоторые редакторы смотрели на него осторожно, ждали, пожалуй, когда сперва другие оценят...

О волнениях Павла Петровича, о том, как он много и сосредоточенно работал, с какой любовью заботился о своих друзьях, о творческом росте писателей на Урале, я, пожалуй, вернее и больше скажу некоторыми страницами его писем ко мне, писем главным образом из последних годов его горячей жизни.

Февраль 1944 года. Бажов благодарит за справку об издании его «Живинки в деле». Предполагает приехать к нам в Пермь сам, да сомневается:

«...Тут меня недавно приглашали, но после поездки в Тагил боюсь. Как видно, шестьдесят шестой год не просто календарная дата, а что-то более существенное.

Поездка была как будто вполне хорошо организована и обставлена, а все-таки оказался больным и вынужден был до срока вернуться домой! Понял это как сигнал — пора сидеть на месте. К тому же еще целый ворох забот и хлопот...»

Прочитав мои стихи, пишет, и хвалит, и сразу подробно критикует их. Почувствовав фальшь в одном слове, разбирает его досконально:

«Очень тронут и обрадован стойкостью непроходимо лирического настроения, хотя в отрывке мне кое-что не понравилось. Глагол «щебетал» кажется неприемлемым в отношении родника, и особенно хотелось бы подменить «ракиты». Не наше это слово, не уральское, а средне- или даже южно-русское. У нас тальник, талика, кривдотал, чернотал. Но дело, конечно, не в этом. Важно, что лирика по-прежнему владеет. И пусть владеет. Слово можно всякое найти, а вот эту лирическую теплоту и мягкость ни из одного института не выносили, будь он самый сверкающий именами и возможностями.

Ну, будь здоров и непроходимо лиричен. Привет жене и ребятам от меня и моей семьи.

П. Бажов»

Идут суровые дни Отечественной войны. В свой сборник «У Камы» я, видимо, включаю некоторые стихи торопливо. Работая всю жизнь в областной газете «Звезда», я, конечно, и в стихах не только лирик, но и газетчик. Стремился я быть оперативным и сейчас. А Павел Петрович ни на миг не велит забывать, что ты художник.

«Хотел бы поговорить о стихах, хотя, как известно, — пишет он, — всегда очень упорно (при своем мягком характере) и последовательно (тоже не из присущих мне качеств) стараюсь не говорить на эту тему.

Из общего лирического тона слишком броско высовываются «Наш ответ», «Будем зорче», «Уральская комсомольская», «О винтовке». Это не гармонирует с заголовком раздела, для которого найдены другого порядка слова. Понятно, почему иногда газетная прямота заголовков оставляется, но это все-таки кажется ошибкой. Как ни трудно, а надо найти для любого стиха заголовок, свойственный только певцу «Ласковой Ирени».

«Земля под солнцем», «Опаленные дни» — подходит, а «Будем зорче» — никак. Не очень пришелся по душе и общий заголовок книжки «У Камы». Этот паршивый предложишка всегда лезет куда не надо. По опыту знаю.

Тоже есть и у меня на самом ответственном месте это самое «у-ка» («У караулки на Думной горе»). Хотелось бы тут видеть что-нибудь беспредложное, но, конечно, с Камой. Это правильно. Она должна здесь быть, т. к. большая часть или, вернее, все с ней плотно связано.

Больше всего понравилась поэма «В лесном краю». Может быть, тут сказывается моя личная особенность — в первую очередь ценить всегда по свежести материала. Чувствуется, что поэт не просто «представлял себе», а долго и внимательно наблюдал, обобщал, отбирал. В результате и получается:

Сел на серый полушалок
Белый иней по краям... и т. д.

Читаешь и веришь, что все это так, что это не выдумка, а настоящая жизнь, поэтически осмысленная и выраженная отобранным словом. Иной раз тут путаются, конечно, «золотые чьи-то косы, глаз опасных синева», но этого стилистического рода образы встречаются изредка. Кроме того, на мой взгляд, лучше бы дать в концовке перспективу, а не только заканчивать словами, призывом «бить сосну в корявый бок и вести наискосок»... Вообще же поэма мне понравилась на особицу. Рад выходу книжки, желаю дальнейшей творческой удачи. Не посетуй на замечания! Как закоренелый прозаик, не понимаю, может быть, того, что увидят другие, кто занимается стихом вплотную».

И это пишет так называемый «не знаток поэзии»! Все основательно разобрал. Читай и волнуйся, запоминай!

Название книжки, заголовки стихов — все должно гармонировать между собой, гармонировать с общим тоном поэтических строк.

Автор этих воспоминаний, читая письмо, сперва еще хотел как-то возражать, говорить, что время не ждет, подгоняет, но, подумав, убедился, как прав порой старый сказитель, большой ценитель слова.

В мае 1946 года Бажов пишет:

«Милый Борис Николаевич!

Письмо датировано концом апреля, а отвечаю на него в последних числах мая. Это и есть показатель моей работы. То, что говорят: угруз, и головы не видно. Какое уж тут творчество, когда с текущими делами не умеешь справиться. Писательски теперь почти не работаю, если не считать, что иной раз к какому-нибудь случаю сказ для газеты напишешь, но он ведь газетный и останется. Переделать его в более ценный не можешь, т. к. нет достаточно свободного времени.

С писательской группой у нас примерно так же, как и в Перми. Приезжие давно отшвартовались, а свои доморощенные тоже большим расположением и повседневной заботой о себе похвалиться не могут. Скорей наоборот. Завидуют челябинцам и пермякам, а те опять нам. Так круг и получается, а в нем старинное: там хорошо, где нас нет.

С большим напряжением выпустили все-таки две большие книги: «Свердловск» (свыше 40 уч.-изд. листов) и «Н. Тагил» (около 20 уч.-изд. листов). Это чуть ли не весь годовой итог, считая по прозе. Стихам посчастливилось: К. Мурзиди выпустил свой «Горный щит» и «Детям», Хоринская — книжечку стихов для детей, Е. Ружанский — «Дружок». Альманах у нас не выходит уже больше года. Теперь пытаемся преобразовать его в журнал более легкого типа, но пока в пределах того же издательства, т. е., в сущности, это будет книгой, а не журналом. Так как без мечты жить скучно, то планируем выпуск настоящего журнала, задачей которого ставится прежде всего сплочение всех литературных сил Урала, но пока это вроде степного марева в июльский день: кажется близким и радостным, а будет ли — неизвестно».

«Теперь страдаю из-за «Каменного цветка», — пишет он о кинофильме, сделанном по его сказу. — Меня по этому поводу тянут в разные места, и создается неловкое положение, будто я полностью повинен и в этой кинокартине, когда на заглавных титлах очень отчетли-

во обозначен весь ее коллектив. Это, конечно, страдание не страшное, когда тебя хвалят, но все-таки, во-первых, чувствуешь себя фальшиво, а во-вторых, и самое главное, — время уходит, Борис, а его и так осталось не много.

Человек устроен все-таки довольно нескладно. Сколько его ни учи, все дураком смотрит. Так это и есть. Пишу вот эти строки, а у самого мысль: неплохо бы нынешним летом побывать в Перми, Челябинске, Златоусте и т. д. вплоть до Кемерово, куда недавно уехал один очень уважаемый мною работник. Из мечтаний, понятно, ничего не выйдет. Ты это знаешь, а прогнать их не можешь. Видимо, так веселее жить.

Ну, желаю всего лучшего и в первую очередь творческой полноты, вопреки даже издательским возможностям.

С приветом П. Бажов

24 мая 1946 г.»

Мы, жители Перми, всегда завидовали свердловским товарищам по перу. Нам стройнее и богаче казалась их работа.

У нас не выходит вовремя альманах «Прикамье», а у них, кажется, альманах «Уральский современник» уже скоро выйдет — ждем его в конце 1946 года. Ждем, оказывается, напрасно. Павел Петрович снова сокрушается по поводу того, что еще силы поднимаются туго:

«Десятый номер альманаха держали в производстве свыше двух лет, а теперь сама наша редакционная группа решила от него отказаться, как от безнадежно устаревшего. Разумеется, виним в этом издательство...»

И мы, читая письмо, видим в нем не только простое сообщение о литературной жизни Свердловска, но и прежде всего упрек нам, — выходит, что и нас стыдит Павел Петрович.

«Только говоря так о препятствиях, — пишет он, — не следует замалчивать и свои недуги. Теперь это легко прикрывается — нас не печатают, а если бы печатали в полную силу, то явственно обозначилось бы другое: мало, и не о том, и не так пишем. Единственно, кто рабо-

тает с напором, так это Мурзиди и Рябинин. По-разному, но дают оба много...»

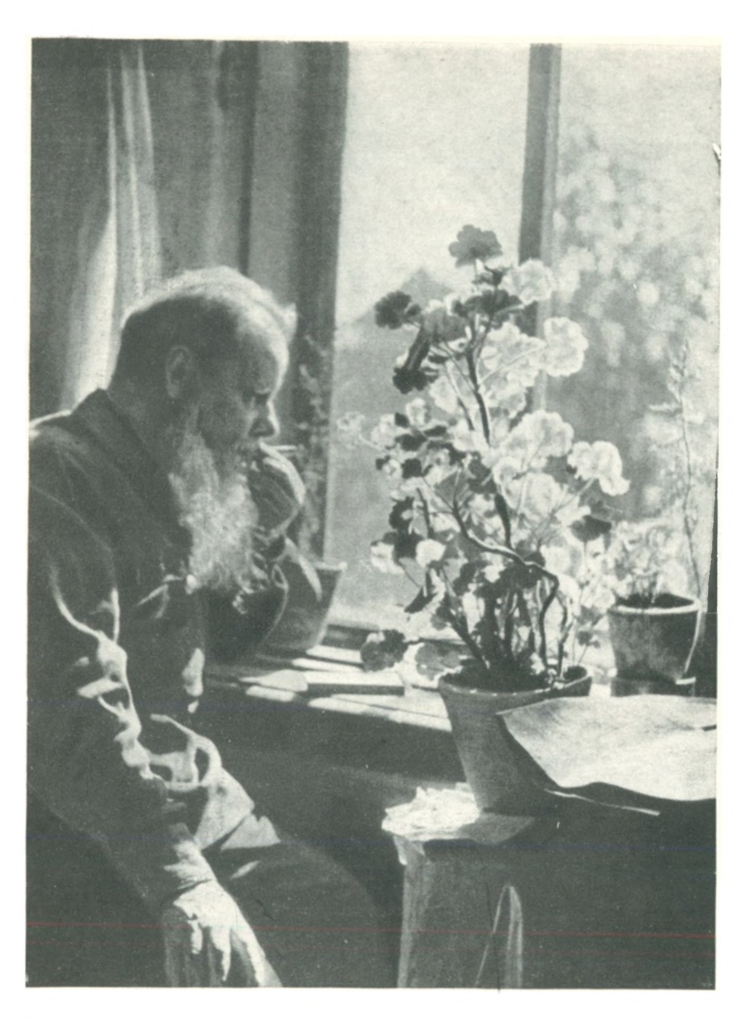
«Пишет Н. А. Попова, — сообщает он, — много работают Хазанович и Ликстанов, однако с уклоном для газеты... Маркова пишет мелочь, Рождественская сидит над большой вещью, но пока ее не показывает. Остальные творческой активностью похвалиться не могут».

За всех волновался, помнил, переживал. О себе, однако, и говорить не хотел:

«Про себя и говорить не хочется. Совсем оскудел: в полгода сказишко наковыряю — и только. Совсем плохо вижу, а это сильно мешает, да и боковые дела порядком берут...»

В следующем большом письме через год радуется за мою книжку «Заря над лесом», поздравляет. На себя снова жалуется и снова очень неутешительно. Горькие строки. Вот они:

«Живу, если можно так сказать, вторым планом: по сказу поставили вон балет, идет кой-что в кукольных театрах, а нового почти ничего не пишу. Плохо с глазами. Настолько плохо, что приходится тратить часы на то, что можно сделать в несколько минут. Мне ведь по роду моей работы необходимо больше, чем другим, рыться в первоисточниках, которые представляют в лучшем случае выцветшие рукописи прошлого столетия, в худшем свои карандашные записи, сделанные тоже довольно давно и притом с сокращениями кустарного порядка — как пришлось. Пытался перейти на диктовку и чтение другими глазами, но из этого ничего не выходит. Это не просто удлиняет процесс, а прямо сбивает с основной мысли. Не зная, что тебе надо, читающий иногда выпячивает то, что тебе в данном случае даже вредно. Насадит тебе в голову столько заноз, что ты потеряешь место той, которая тебя занимала. Так вот и живу, делая в год очень ограниченное число нового. Старое пока идет хорошо: издали в «Советском писателе» большим тиражом, готовят в Профиздате небольшой сборник, в ГИХЛе с обильными иллюстрациями В. С. Баюскина, в Челябинске, в Свердловске запланировали на будущий год 25 листов, переводят и отдельными сказами и полностью, сборниками. Материально



П. П. Бажов дома, в рабочем кабинете.

пожаловаться не на что, но тем обиднее сознавать себя каким-то конченным, когда есть еще порох в пороховнице, да и продолжает поступать без оскудения. Впрочем, будет об этом: печаль не помогает в поисках вывода, а он должен быть. Где-то вон начали поиски оптического прибора, который бы смог удлинить зрячий срок».

И силы уже терялись, а он не хотел сдаваться.

«Попишем еще, а Вам советую отбиваться от части мелочей в текущей работе. Здоровьишко-то ведь неважное, а эта мелочь больше берет, чем дает отдачи. И нет надобности писать большие рецензии и проводить длительные беседы там, где ясна просто малограмотность. Зачем в данных исторических условиях трудный писательский путь через «Университеты» А. М. Горького, если каждому открыт путь через обыкновенные? Особенно это надо внушать начинающим поэтам, которые, поймав в 18 лет (в эту пору все поэты) два-три счастливых образа, склонны с этим багажом выступать уж как поэты всерьез. Это в нашей-то стране, которая по общей культуре населения выше всех стран мира! Пора брать ставку на выращивание поэтов, у которых природное дарование и склонности были бы усилены, расширены и углублены высоким образованием».

В 1948 году, после окончания большой писательской конференции, Павел Петрович волновался: «Среди начинающих двойное преобладание поэтов над прозаиками, что меня, закостенелого прозаика, прямо огорчает. По этому поводу я даже напоминал, что наши классики поэты не чуждались «презренной прозой» говорить, а наши еще вовсе не классики почему-то не хотят спускаться с высот, не дают ни «Капитанской дочки», ни «Князя Серебряного», вообще ничего, кроме стихов.

Это ведь, Борис Николаевич, всерьез вопрос для поэтов современности. Мурзиди у нас пока один пошел на это, выпустив роман «У Орлиной горы». Других примеров не видно, а зря».

Вернувшись из поездки по Уралу в том же году, Павел Петрович продолжал сокрушаться:

«...В литературной организации Южного Урала положение трудное. Там совсем нет пехоты — нет прозы. Армия без пехоты — не армия...»

Он много говорил об этом, призывал развивать все жанры литературы, писать ясно и просто.

Сам большой мастер слова, Бажов до конца своих дней не переставал требовать многого от себя и от всех друзей по работе. Учил нас любви к нашей великой родине, к ее народу — трудолюбцу, новатору, творцу.

Невольно приходят на память слова Бажова:

«Работа — она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется».

Эти слова прежде всего применимы к самому Павлу Петровичу.

Пермь



ВЛ. БИРЮКОВ

ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ

Павел Петрович Бажов окончил Пермскую духовную семинарию, в которой позднее учился и я. Впоследствии мы часто вспоминали семинарские годы, общих знакомых. Много рассказывал Павел Петрович о себе.

Сысертский завод, родина Бажова, находился на участке известного общественного деятеля и краеведа, ветеринарного врача Николая Семеновича Смородинцева, который был знаком с семьей Бажовых.

В одно из посещений Смородинцев обратил внимание на десятилетнего Пашу и подарил ему сборник стихов Некрасова.

В следующий приезд Смородинцева мальчик прочел ему все стихи наизусть. Это оказалось решающим в его судьбе. Николай Семенович стал уговаривать родителей отдать мальчика учиться в город.

Паша попал в Екатеринбургское духовное училище и даже первое время жил на квартире у Николая Семеновича.

Окончив духовное училище, Павел Петрович поступил в Пермскую духовную семинарию.

Когда Павел Петрович дошел до четвертого класса,

где кончались общеобразовательные предметы, а потом шли уже специально богословские, умер его родитель. И два последних года Павлу Петровичу пришлось учиться на свои собственные заработки — заниматься репетиторством.

Вот и семинария окончена. Павел Петрович делает попытку поступить в Томский университет. Подал туда «прошение». После долгого ожидания приходит ответ: «Отказать»! Очевидно, пока ждал ответа, инспектор училища, известный гонитель семинарского вольнолюбия, послал в университет скверную характеристику. Таким-то образом Бажову и не довелось попасть в высшую школу. Пришлось идти учителем, преподавать русский язык в приготовительном и первом классах того самого духовного училища, которое когда-то окончил сам будущий писатель.

Хотя Павел Петрович и не прошел высшей школы, но самообразованием он достиг очень многого. И чего-чего только он не знал: с естественниками был естественником, с филологами — филологом, с историками — историком.

Мне особенно часто пришлось сталкиваться с Павлом Петровичем в 1934—1937 годах. Началось это вот с чего.

Летом 1934 года Свердловское областное издательство решило издать книгу «Дореволюционный фольклор на Урале». Работу над этой книгой поручили мне. Пришлось распахивать целину, совершать открытия, особенно по рабочему творчеству. А это было нелегко, потому что родился я в сельской местности и с рабочим фольклором был мало знаком.

Бывая в издательстве, я встречал там Павла Петровича. Когда увидал его тут впервые, спросил, какую работу он здесь выполняет.

— Я редактор соцэка, соцэка, — посмеиваясь над неуклюжим словом, ответил Павел Петрович.

Редактировал он социально-экономическую литературу. Стол соцэковского редактора был рядом со столом редактора художественного. Когда я говорил со своим редактором о рабочем фольклоре, Павел Петрович внимательно прислушивался, а потом заметил:

— Рабочий фольклор есть, и немало его. Я могу дать в ваш сборник.

Я очень обрадовался этому предложению. И вот через каких-либо дней десять Павел Петрович передал мне свою рукопись с воспроизведенными по памяти тремя рабочими сказами: «Про великого Полоза», «Медной горы Хозяйка» и «Дорогое имячко». Четвертый сказ был уже из другого цикла: «Про водолазов» — историческое предание из времен «картофельного бунта» 1842—1843 годов.

Бажовские сказы прочел в издательстве не только редактор художественной литературы, но и другие сотрудники. Все они пришли в восхищение.

«Дореволюционный фольклор на Урале» вышел в свет в 1936 году, редакторскую работу над ним завершал уже П. П. Бажов.

Мы знаем, что, исчерпав своей памятью сказы Хмелинина, Павел Петрович начинает создавать такие сказы, в которых проявилось во всю ширь собственное творчество писателя. Но и здесь он ни на шаг не отходит от народной основы.

В июне 1943 года в Перми проводилось уральское межобластное совещание по уральской литературе. Принимал там участие и Павел Петрович. Кроме уральцев, на совещании было много писателей и ученых, эвакуированных в Пермь из Москвы и Ленинграда. Много говорили об уральской теме в советской литературе. Спорили долго и потом еще продолжали бы спорить, если бы Павел Петрович не сказал своего крылатого слова:

— Уральская тема в советской литературе — это переулок, выходящий на большую улицу...

Выступая по вопросам фольклора, Павел Петрович говорил:

— Конечно, слыхал я и в детстве и потом много всего, что было создано рабочими Урала. Но не все это было так оформлено, как, например, у Хмелинина. И не все темы подняты Хмелининым. Чаще всего приходилось слышать только какой-либо намек. В одном месте

скажут об одном, а в другом о другом, — все кусочки, а целого нет. Это целое нужно было воссоздать. Тут уж необходима догадка, чутье...

Павел Петрович не раз говаривал мне:

— Урал — край огромный. Чтобы написать об Урале, надо узнать его. Надо знать его историю. А знать историю без знания языка уральцев — дело немыслимое.

На совещании 1943 года Павел Петрович говорил:

— Горнозаводское дело было всегда самым главным в уральском хозяйстве. Слово «завод» раньше имело свой особый смысл. «Завод» — это то, что заведено: тут и рудники, тут и шахты, тут и лесное хозяйство с выжигом древесного угля, тут и металлургия с ее домнами и «фабрикой», где шел передел чугуна в изделия, тут и сплав металлов по уральским рекам, преимущественно в половодье. Словом, разные виды хозяйства в едином заводском хозяйстве, где были заняты тысячи рабочих рук — то постоянных «работников», то крестьян-сезонников.

В каждой отрасли этого хозяйства, в каждом цехе была своя терминология, был свой язык, большей частью такой сочный, неповторимый, который вы не встретите за пределами Урала, даже среди рабочих таких же производств. В Гороблагодатском горном округе тяжелый лом, например, пудов так на пять—восемь, звали «старик», а полегче — «девка». Ну-ко, к примеру: «А что, если «девка» не возьмет, «стариком» возьмем!» Здорово ведь!..

Или возьмите углежжение. Чуть не до девяностых годов уральская металлургия была на древесном угле. Казалось бы, чего проще: пережег дерево в уголь — и все! Но это только легко сказать. А вот как пережечь? Хороший углежог — это специальность не простая, это артист своего дела. Об этом говорит и язык углежогов. Они различают много сортов угля: «мертвый», «глухой», «звон», «полузвон»... И каждое слово не просто так, а все тонко подмеченные свойства древесного угля, в зависимости от качества работы. А кто-нибудь записал язык углежогов, да и вообще других уральских профессий? В том-то и беда, что никто, по крайней мере

до сих пор, не напечатал. Если вы записываете, давайте публикуйте. Много людей скажут вам спасибо, и прежде всего писатели...

В 1936 году я послал книгу с бажовскими сказами Демьяну Бедному. Она, а затем «Малахитовая шкатулка» произвели на поэта огромное впечатление. Впрочем, пусть об этом говорит сам Демьян Бедный словами своего письма ко мне от 26 января 1945 года, то есть всего за несколько месяцев до своей смерти:

«Дорогой В. П.!

Из последнего номера «Литературной газеты» я вычитал, что Вы благополучно здравствуете и фольклорно просвещаете челябинских писателей. В свое время Вы и меня «просветили», прислав мне книгу «Дореволюционный фольклор на Урале». Из этой книжки я узнал о блестящем уральском сказителе Хмелинине и по старой привычке нацелился на его сказы: вот где материалец-то! Потом появилась книга «Малахитовая шкатулка» с хмелининскими сказами в записи Бажова. Ничтоже сумняшеся, я засел за работу, работал ровно 100 дней — в 1939 году, в результате чего все сказы, заключенные в книге, обрели новое, стихотворное оформление. Неплохо записал Бажов, но и мой пересказ представляет свой интерес.

В помянутой мною книге Вы писали: «Особое место в сборнике занимают три чудесных сказа Хмелинина», записанные по памяти Бажовым. Я очень был, как и все, благодарен памяти Бажова, но считал, что он все же только записал чужое. О записанных Афанасьевым русских сказках мы говорим: «Сборник Афанасьева», а не «сказки Афанасьева». С Бажовым получилось нечто иное. Хмелинин куда-то исчез, а объявились сказы Бажова...

...материал в общем подлинный, как я убежден, но заслонен удачливым записывателем: если я пользовался Хмелининым, мой стихотворный пересказ имеет цену; если я пересказал Бажова, грош цена моему пересказу...

...Если у Вас на этот счет есть своя аргументация в ту или иную сторону, Вы бесконечно меня обяжете, поделившись ею со мною...

Сердечный привет!

Демьян Бедный»

В своем ответе поэту я писал, что впервые сказы Павла Петровича были приняты как настоящий рабочий фольклор, с учетом, конечно, что записаны они по памяти. Что же касается написанного после 1939 года в отношении сказов, то это уже полностью собственное творчество нашего земляка.

Один из общих друзей поэта и Павла Петровича, старый большевик Пьянков, когда у Бажова появился в «Уральском рабочем» сказ «Живинка в деле», послал его вырезку Демьяну Бедному. Тот пришел в восторг от нового произведения нашего уральца и отнес сказ в «Правду» и в «Труд». Вот что по этому случаю писал Демьян Бедный А. А. Пьянкову:

«Милейший Адриан Афанасьевич,

это уж стало правилом, что каждое доброе слово оборачивается для меня не добром. Так, я рекомендовал настойчиво «Правде» сказ Бажова. Но, будучи твердо убежден, что дело затормозит правдинская теснота, я предложил сказ «Труду», пообещав и свой комментарий. И вот получилось — сказ сегодня напечатан и в «Правде» и в «Труде» с моим стишком. Теперь, конечно, будет мне в «Правде» головомойка. Что поделаешь! Придется претерпеть хорошего сказа ради. Сказ действительно что надо!

Вчера получил Ваш присыл — сказы о немцах. Они вышли в Москве. Прочтем. То, что случайно попадалось мне на глаза, ни в какое сравнение с «Живинкой» не идет. Не в охуление говорится, а в доказательство того, что «Живинка» — вершинка.

Завидую Бажову, имеющему таких ревнителей, как Вы.

Самый искренний Вам привет!

Демьян Бедный

P. S. Досадно, что мои стихи под сказом не в «Правде». Но и в «Труде» вышло здорово, сказ солиднее подан.

Б.»

К этому письму поэт приложил вырезку своего «стишка», напечатанного в «Труде». Вот этот «стишок»:

Колдун уральский бородатый,
Бажов дарит нам новый сказ.
«Живинка в деле» — сказ богатый
И поучительный для нас.
В нем слово каждое лучится,
Его направленность мудра,
Найдут, чему здесь поучиться,
Любого дела мастера.
Важны в работе ум и чувство,
В труде двойное естество.
«Живинкой в деле» мастерство
Преображается в искусство.
И совершенству нет предела,
И нет тогда ему границ,
Не оторвать тогда от дела
Ни мастеров, ни мастериц,
Их вдохновение безмерно,
Глаза их пламенем горят.
Они работают? — Неверно.
Они — творят.

Моя переписка с Павлом Петровичем была особенно оживленной с 1944 по 1949 год.

Хочу привести некоторые письма или отрывки из них, интересные для широкого круга читателей.

От 8 августа 1946 года:

«...Теперь о «Каменном цветке». Меня удивило, что была плохая слышимость. Видимо, у вас там установка подгуляла, либо картина пришла в сильно изношенном состоянии. Цветные-то ведь хлипкие, и много копий с них печатать нельзя. В силу этого и затаскивают картины до предела, а показывать продолжают. В Москве и здесь было звучание превосходное.

Артисты там не то что акают, а порой «такось змовляють, що у голови гуденье», — жарят по-украински. Чепухи всякой тоже понабито довольно. Об уральском аромате и говорить не приходится, но я все же рад, что

картина доносит основную мысль сказа. И понимают это не только взрослые, но и дети. Идет она бойко не только у нас, но и за рубежом, где стала показываться с начала мая. Из Германии вон мне сообщили, что видели «Штайнблюме» в самом большом кино Лейпцигской ярмарки. В Праге картина продержалась на экране совершенно неслыханный срок — 8 недель. Идет там, конечно, с надписями на чужом языке. По-чешски, вероятно, это еще туда-сюда, но по-немецки, должно быть, забавно...»

Несколько раньше я писал Павлу Петровичу, что хорошо бы экранизировать такую сказку, как «Филькавор». Павел Петрович отвечал мне в этом же письме:

«Тему киношникам предложить просто. У нас же тут, на ул. Ленина, кинофабрика, где сценарный отдел громко вздыхает о местных авторах. Поэтому новому предложению обрадуются, но обольщаться этим не следует: местные авторы, видимо, нужны больше для учета и прикрытия своей лавочки. Поговорят, поканителятся, даже денег сколько-нибудь дадут, а ставить будут «Сильву» или что-нибудь столь же нужное... какому-нибудь соответствующему, с которым давно условлено. Наши тут чуть не все испытали и бросили. Либо «Москва не утвердит», либо там окажется «идентичный сценарий, сделанный более опытной рукой», либо отдадут на переделку какому-нибудь сих дел мастеру... Словом, не советую заводить разговор с нашими кинодеятелями. Лучше сразу обратиться в Москву. Сценарный отдел при Министерстве по делам кинофикации помещается по М. Гнездниковскому, 7, а дирекция Мосфильма — Потылиха, 54.

Причем надо иметь в виду, что сказка, да и вообще старина на сегодня в кино успехом не пользуются. Весной вон сняли по стране 16 таких сценариев, уже бывших в работе. Сюда и мои «Крылатые кони» залетели. Имею, значит, личный опыт. «Ермаковы лебеди» тоже не доплыли до экрана. Группа отказа № 2: нужен исторический Ермак, а его тоже нет».

От 4 марта 1948 года:

«...за выписки по Арамили большое спасибо. Боюсь только, что едва ли смогу воспользоваться, т. к. работаю

нынче из рук вон плохо. Не работа, сплошной запуск, на столе груды писем, на которые неделями не могу ответить. Про письменность другого рода в пору вовсе забыть. И все потому, что работать стал как-то малопроизводительно. Зрение, конечно, сильно мешает, но и семидесятый, как видно, не содействует.

Андрей Ладейщиков умер. У него ведь давно был установлен порок сердца, но этому как-то не совсем верили, или, вернее, не очень-то с этим считались. Колотили его с разных сторон, иногда с излишним усердием, а это при его болезни, как говорят медики, противопоказано. В результате сковырнулся человек в самом цветущем возрасте. Вскрытие показало, что у него оказался какой-то нарост на сердечном клапане.

Вот и живи не тужи, коли ты зависишь от какой-то ничтожной пленки на одной из мелких деталей! Обидно вышло. Андрей хоть и не очень уравновешенный был, а работал все-таки усердно и накопил немало. А куда это теперь? В других руках это чаще всего только исписанная бумага. Кое-что все-таки постараемся издать...»

Это письмо было последним ко мне.

В заключение своих материалов о Павле Петровиче хотел бы привести письмо его к шадринскому журналисту, потом автору повести «На берегах Исети», Я. П. Власову. Думаю, что это письмо будет интересно для молодых писателей.

«Уважаемый тов. Власов!

Вас, конечно, помню. Знаю, что каждый журналист, если только он стал журналистом, всегда имеет тему для большой работы. Ваша тема прекрасна. Написать об этом давным-давно пора. Пора заполнить этот пробел, и надо сделать это именно шадринцам, т. к. никто другой не имеет нужного материала. По крайней мере я помню, что один из ленинградских писателей, ставивший перед собой аналогичную задачу, просмотрев материалы Свердловского облистпарта, поехал за пополнением в Шадринск. Это основная трудность темы.

Вопрос оформления дела в данном случае второй: не

удастся повесть — может выйти неплохое исследование с документацией, что не менее важно.

По плану судить не умею. Мне лишь показалось, что цепь событий взята без учета какого-либо специфического вопроса местного порядка. Кажется, что положение это ни в чем не изменится, если вместо Шадринска поставить Ирбит или Туринск. Иными словами говоря, хочу сказать о необходимости интригу повести закрутить обязательно около какого-нибудь сугубо местного вопроса. Это поможет дать правильную характеристику героев повести в тех исторических условиях, которые, несомненно, имеются для каждого исторического факта.

Размер написанного и счет глав меня испугал, т. к. я всегда был сторонником коротких вещей. Время эпически-спокойного повествования, на мой взгляд, прошло. Это с одной стороны, а с другой — никогда не забываю, что повесть «Капитанская дочка» всего 9 печатных листов, а там уместилась целая эпоха, с тончайшей характеристикой не только основных фигур, но и деталями быта и описанием всех сторон жизни. Рамки романа, где занимательность фабулы облегчает возможность втискивания многих деталей, конечно, шире, но у вас (судя по плану) как будто такого намерения нет, потому образцом по размеру надо ставить пушкинскую повесть. И смею Вас уверить, что работа много выиграет. По крайней мере мой личный опыт мне это подсказывает: чем свирепее сокращение, тем гуще выходит. Впрочем, это дело личных вкусов, спорить об этом не приходится.

От консультации я, конечно, не отказываюсь, но должен предупредить, особенной быстроты обеспечить не могу и по своей занятости и по своему стариковству. Частенько стал ныне валяться, да и глаза поизносились. Кроме того, надо учесть еще одно обстоятельство. Любой консультант будет высказывать по поводу вещи свое мнение, а решать вопрос о напечатании все же будет только редактор издательства и никто больше, а так как Вашу вещь, несомненно, должны издавать в Челябинске, то, мне кажется, выгодней и полезней для дела установить связь именно с этим издательством.

Не истолкуйте, пожалуйста, это как мой отказ. Мне

лично очень интересен этот материал, до сих пор никем не собранный и нигде не опубликованный, но я просто боюсь, что из-за моей консультации может выйти только задержка, а между тем времени для юбилейной даты уже теперь, пожалуй, маловато. По горькому опыту Свердловского издательства, из которого, кстати сказать, недавно ушел, на выпуск книжки в 2—3 листа требуется месяц, а для повести со счетом в несколько десятков листов может потребоваться больше полугода. Отсюда, конечно, вывод — в редакцию уже теперь пора сдавать то, что подготовлено, и начать доработку немедленно.

Будьте здоровы. Желаю Вам успеха и крепко жму руку.

2/V 1942

П. Бажов

P. S. Очень бы хотел повидаться с В. П. Бирюковым. Давно он в наших краях не показывался. Передайте ему мой сердечный привет.

П. Б.»

Шадринск



М. БАТИН

ВСТРЕЧИ

Служебный кабинет товарища М., партийного работника. Дело, которое привело Бажова сюда, уже решено, но он не уходит. По-видимому, старому писателю интересно, важно посмотреть, с чем идут сюда люди.

Пришел артист одного из областных театров. Товарищ М. назвал посетителю Павла Петровича, спросил, не помешает ли его присутствие.

— Что вы, что вы! — воскликнул тот. — Очень хорошо, что Павел Петрович здесь. Он же депутат Верховного Совета.

Артист живо, взволнованно поведал об утеснениях, которым он подвергался со стороны администратора. Естественно, товарищу М. захотелось тут же помочь человеку. Позвонил куда следует, попросил вникнуть в дело, разобраться в нем. Дал понять, что сочувствует обиженному.

Когда посетитель ушел, Павел Петрович, пососав трубку, глуховатым своим голосом, неторопливо заговорил, как будто рассказывая о том, что он увидел в этом человеке:

— Талантливый... Художник! Настоящий актер! Та-

ких беречь да холить надо. — Он с удовольствием причмокнул трубочкой. — Кусочек спектакля! Образ-то, образ администратора — это же сатира! Яркая, острая! Кое-кого знакомых сразу узнаешь. Хорошо...

Он заглянул в пустую трубку, поскреб ее краешек ногтем.

— Ну, за полное соответствие оригиналу не поручусь. Товарищ играл только одну сторону — обидчика. Ту, что задела его...

Так потом и оказалось: яркий образ администратора, созданный артистом, «полного соответствия оригиналу» не имел...

И еще раз я видел Бажова в том же кабинете. Стоял он, опершись локтями о стол, трубочку пустую потягивал — курить ему было нельзя; поглядывал из-под опущенных век, слушал, помалкивал.

Только что закончился разговор, касавшийся церковных дел. Старый писатель задумчиво промолвил:

— Живут... Да не так уж и мало их. Это понять надо. Вот, к примеру, монах... По-плакатному смотреть — несообразность какая-то. Дикость. А ведь русский человек. Только горбатый. Артамонов-то Никита — емкий образ. По-горьковски емкий. У Никиты горб в душе не только ведь от горба на спине. Старая русская жизнь горб ему натерла. А вот отчего порой горб у наших людей бывает — тут думать надо. Мало над человеком думаем.

После паузы заговорил снова:

— Вот, скажем, неблагозвучное имя. Вроде пустяк. А ведь и оно может человека горбатым сделать. Попы мастера были на это. Назовут кухаркина сына Псоем каким-нибудь или Пигасием. А сверстники еще с детства задразнят. Вот у слабенького уже горбик в душе. Маленький, а горбик... Имена людям давать надо красивые, звучные. Но простые, скромные. Нарциссы — это ведь тоже плохо.

Руководил Бажов местной писательской организацией мягко, проникновенно, мудро. Сообщили ему как-то:

— Литератор один в обком приходил. Жаловался. Обокрал-де его собрат по перу. Сюжет украл. В трам-

вае, говорит, было рассказано, а потом появилось в сочинении «собрата».

Посмотрел он усталыми глазами из-под тяжелых век, потом совсем их опустил, подумал. И, должно быть, рассердился. Заговорил отрывисто, с паузами, легонько постукивая концами пальцев по столу:

— Несерьезно это. Чехова-то попробуй обокрасть! Да он сам... не то что давал — рассыпал перед людьми. Бери! Богатая душа — она щедрая. А тут заведется идейка, одна, одно зернышко... возьмет кто — у самого ничего не останется. Вот и прячут... в лохмотья. И разговоры эти о воровстве — от нищеты душевной. Кому тут сочувствовать? Писатель-то учитель! А коли ты духом нищ, что же лезешь в учители? Хоть уж не признавался бы в убожестве своем!

Потом успокоился. Заговорил не то будто про себя, не то разъясняя собеседнику:

— Цепляются за сюжетные ходы да повороты. А дело-то в характере. В него вникнуть надо. Тут ходы да повороты сами откроются. Да какие! Характера нет — и образа нет. И литературы нет. Ход-поворот — его и украсть можно. Или просто услышать от кого. Потом к Ивану Петровичу или Петру Иванычу пришить. Ну, нитки все равно видно будет. Вот и получается — не та литература. А характер — его в жизни увидеть надо. Да понять. Ход-поворот — это тоже, конечно, из жизни. Только это второе, а может, десятое...

Часто и много я расспрашивал Павла Петровича о том, как родился замысел того или иного его сказа. Однажды писатель сообщил, что в числе источников сказа «Синюшкин колодец» был приисковый анекдот о Гавриле и тумане.

Шел молодой парень Гаврило лесом. С прииска в завод. В одном ложочке увидел девицу. «Роман» разыгрался молниеносно. Комизм положения основывался на том, что девицы-то настоящей совсем и не было. Над низинкой туман стоял — очертания человека принял. А то ли сумерки были, то ли Гаврило выпил до этого. Ну, и решил — девица!

Вскоре (было это в 1949 году) я написал первую

свою статью о творчестве Бажова. Попросил Павла Петровича послушать написанное.

Бажов принял меня в своем кабинете дома. Он внимательно слушал. Случилось так, что в рукописи анекдот был назван неточно: «О Гавриле и туче». Павел Петрович прервал чтение:

— Не о туче, товарищ дорогой. О тумане! Туча-то — во-он она где. Попробуй-ко дотянись до нее... А туман тут, на земле. Вся суть в этом.

Помолчал, потом тихонько и убежденно добавил:

— Народ — он реалист. И выдумщик тоже великий. Только любая фантазия у него от земли. О землю-то обопрешься — выше взлетишь...

Беседовали как-то вдвоем в его кабинете. По радио начали передавать песню Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы», тогда совсем еще новую. Разговор оборвался. Склонившись головой на руку, Павел Петрович внимательно слушал. А когда прозвучали слова:

Но если ты скажешь мне снова,
Я снова все это пройду, —

старый писатель медленно поднял и чуть откинул голову. Лицо его стало необычно суровым. Что-то глубоко свое, личное переполняло Бажова. Я с волнением следил за ним.

Кончилась песня. Писатель в раздумье повторил:

Не нужно мне солнце чужое...
Чужая земля не нужна...

А потом, как будто объясняя то, что я видел, закончил:

— Хороших песен у нас много. Ну, а эта — особая. Такую только с поднятой головой петь. И слушать тоже с поднятой головой.

Осенью 1950 года мне удалось беседовать с Бажовым по многим вопросам литературного творчества. Беседы велись под запись. Правку стенограмм пытались мы провести вместе. Но оказалось это делом медленным и для Павла Петровича утомительным. Писатель попросил меня отредактировать записи и потом прочитать ему. Так и сделали. Получилось значительно быстрее.

27 августа я принес Бажову для подписи окончательный — сверенный и выправленный — текст бесед в машинописи. Павел Петрович казался очень утомленным. Листы перекладывал медленно, как будто были они тяжелыми. Отдельные места перечитывал. Я наблюдал за его работой. Писатель задержался взглядом на записи, касавшейся партийности литературы.

— Тут я плохо вас допросил, Павел Петрович. Придирчивее бы надо. Важнейший же вопрос!

— Важнейший — это правильно. Только пишут о нем не совсем ладно. Холоду в статьях много... Да указующий перст критика так и торчит из бумаги. В тебя упирается: «Должен... обязан...» Дело-то ведь идет о самой глубине нутра человеческого. Конечно, должен... Кто спорит. Ну, этого мало...

Он помолчал. Сидел с опущенными веками — не то думал, не то просто отдыхал. Наконец заговорил очень тихо:

— О душе моей речь идет. О морали моей. Партийная позиция писателя — это дело его гражданской...

Бажов остановился, подыскивая слово.

— Гражданской честности? — подсказал я.

— Лучше сказать — гражданской порядочности. Какой же ты советский писатель, если без внутренней партийности? Что ты можешь сказать нашему гражданину? Он же партийный. С детства. Значит, твоя партийная убежденность большой глубины и силы быть должна. Здесь вот слово «должна» к месту.

Он пошарил лупой по листу.

— Тут вы слова Маяковского привели: «Я хочу так, чтобы мне велели». Он ведь об этой самой морали и говорил. «Я хочу...» — понимаете? Сам хочу. Это главное. И все мы хотим. Ну, может, и есть писатели, которые не хотят. Тоже, конечно, граждане... только, знаете, тогда слово «товарищ»... не совсем подходит.

Размышляя о ценности человеческой жизни, Павел Петрович вспоминал такой эпизод:

— Встретил я как-то на Кавказе старика одного. Лет за сто ему было. Спрашиваю: «Как же ты достиг тако-

го долголетия?» — «А я, говорит, всю жизнь в горах провел да брынзу ел». Так стоило ли жить сто лет, если только и было, что горы да брынза, да только для себя? Что-то доброе ведь и людям оставить надо — на память.

Людям Бажов оставил многое — на добрую память о себе.

Был он глубоко национален в том, что и как делал, как думал. И неизменно казался мне всепонимающим, добрым мудрецом. Коснется человека тихим словом — и раскроет самые глубинные побуждения, желания, страсти. А мера оценки людей была у него простая и верная — народная.

Всеми делами, словом своим, которое было и делом его, Бажов утверждал важнейшую истину: без проникновения в общественный смысл события, без проникновения в человека народным глазом, народным разумением — художника нет.

В мудрости знаменитого советского сказочника жила мудрость народа. Жила и живет.

Свердловск



А. НЕЙШТАДТ

БАЖОВ-ДЕПУТАТ

Седьмую комнату в здании облисполкома знали многие жители нашей области. В ней по четвергам, от двенадцати до трех часов дня, как гласила надпись на двери, принимал депутат Верховного Совета СССР Павел Петрович Бажов.

На прием к депутату Верховного Совета приходило множество людей. Являясь избранником обширного округа, куда входило несколько городов и районов нашей области, Павел Петрович завязал крепкие связи со своими избирателями. О том, как найти и где найти своего депутата, знал весь его округ. Полевчане — в газете «За большевистские темпы», артинцы — в «Ленинском пути», сажинцы — в «Колхозном пути», манчажцы — в «Голосе колхозника», ревдинцы, сергинцы, бисертцы читали в своих газетах о днях, часах, месте приема депутата.

Во все редакции этих газет не забыл обратиться Павел Петрович с просьбой поместить коротенькую информацию о депутатском приеме.

— У меня ведь, знаете, — говорил Павел Петрович, — по своей основной работе время и место не нор-

мированы, из-за этого выходят иногда недоразумения. Приезжают люди из района, чтобы поговорить о своих нуждах, а я в это время в отъезде, да и в самом Свердловске меня не всегда легко найти. Чтоб устранить это в дальнейшем, решил перейти на определенные часы приема. Вот и попросил объявить к сведению граждан районов, где и когда депутат принимает при поездках по избирательному округу, а также место и время приема в городе Свердловске. Вторая моя просьба была к редакторам — высылать по этому же адресу газеты, чтобы я был в курсе событий в моем округе.

Несмотря на слабое здоровье, Павел Петрович вел депутатские приемы аккуратно, быстро реагировал на просьбы избирателей, решал их оперативно, стараясь детально разобраться в каждом вопросе, в каждой жалобе. Помнится, как в один из четвергов в той же седьмой комнате облисполкома Павел Петрович, низко склонившись над бумагой, писал депутатское письмо об улучшении водоснабжения в старой части города Ревды. А спустя два или три месяца он с удовлетворением рассказывал, что исполком Ревдинского горсовета сообщил: в старой части города построены дополнительные шахтные колодцы...

Избиратели писали и являлись на прием не только в здание облисполкома и не только в определенные часы. Много посетителей приходило на квартиру к депутату.

Помню, на квартире Бажова я встретил председателя одного из колхозов Ачитского района товарища Тернова. Застал их в жаркой беседе по поводу электрификации колхозов, постройки гидроэлектростанций. Павел Петрович говорил о том, что электрификация колхозов проводится в широких размерах, находится в центре внимания областных организаций, что это программа партии, завет Ленина, но и здесь надо проявлять исключительную настойчивость, иначе некоторые вопросы могут решаться медленно.

— Жители вашего колхоза, Александр Порфирьевич, довольны тем, что село получило свет, а производство — ток, это очень хорошо. А вот прислали мне письмо из села Краснояр. Колхозники рвутся к электричеству, а

область мало помогает им, они и недовольны, справедливо жалуются.

Павел Петрович подробно обрисовал картину. Жители села вложили много труда в электрификацию: приняли участие в строительстве гидростанции, своими силами провели электролинию до села, сами сделали внутреннюю проводку в квартиры. Свет, однако, горел в Краснояре лишь полтора месяца, а дальше в пользовании электроэнергией отказали. Оказывается, не хватает воды в пруду, к тому же какие-то неправильности в проводке линии. Может быть, все это так, но жители Краснояра не видят никаких попыток к изменению и улучшению дела. Бездействие тем обиднее для красноярцев, что линия на Краснояр стоит забытой и ненужной, вроде памятника о проведенной кампании. По этому поводу говорят, что электрификация у нас не кампания, а постоянное мероприятие и что нельзя относиться с пренебрежением к трудовому вложению народа.

По настоянию депутата Бажова облисполком послал на место специалиста. Через три недели депутат получил от заместителя председателя облисполкома положительный ответ и незамедлительно сообщил своим избирателям эту радостную весточку.

В депутатской переписке есть письмо, адресованное жителю села Краснояр товарищу Бороздину:

«Уважаемый Федор Лукич!

По вопросу Красноярской электрификации обращался непосредственно в облисполком. Оттуда ответили: «Нами дано указание о немедленном восстановлении электропередачи и нормальном снабжении электроэнергией села Краснояр. В настоящее время линия электропередачи переделывается, и жители села Краснояр получат электроэнергию». Облисполком этот вопрос взял под контроль.

Таким образом, все как будто благополучно, но Вы все-таки напишите мне при электрической-то лампочке.

С приветом и пожеланием всего лучшего.

П. Бажов»

Горячее участие депутата в этом деле принесло благодатные результаты, жители села Краснояр свет получили.

Настойчивость — характерная черта в депутатской работе П. П. Бажова. Если задерживается разрешение вопроса — напомнить, и не раз. Об этом свидетельствуют его письма директорам заводов, в партийные, советские и профсоюзные организации, непосредственно руководителям области. В них проявляется глубокая забота об избирателях — о назначении пенсий, предоставлении квартир, об отводе земельных участков для строительства, о переходе на другую работу. В своих письмах Бажов нередко поднимает крупные, проблемные вопросы — о развитии заводов, о решении экономических задач области.

Вот артинцы обращаются к нему с просьбой помочь в разработке недр района, в которых, по их мнению, имеются полезные ископаемые, и П. П. Бажов связывается с геологическими учреждениями, выясняет возможности; вот красноуфимцы выдвигают вопрос о постройке новой железнодорожной линии для связи с близлежащими сельскохозяйственными районами Свердловской области и выводе железной дороги на восток, минуя загруженный Свердловский узел. П. П. Бажов входит с предложениями в управление железной дороги и плановые органы. К нему обращаются сажинцы и просят помочь в строительстве школы; несколько районных центров просят его помочь составить проекты планировки, отпустить дополнительные средства на благоустройство, и П. П. Бажов считает своим долгом войти с необходимыми предложениями в областные отделы и непосредственно в руководящие органы.

Вот одно из его заявлений в облисполком: «Ко мне, как депутату Верховного Совета СССР, поступают просьбы, по которым приходится обращаться за содействием в отделы облисполкома, но бывают вопросы, по которым необходимо непосредственное распоряжение облисполкома. Злоупотреблять этим не предполагаю, но в отдельных случаях буду обращаться, рассчитывая на

авторитетную поддержку». И дальше Павел Петрович рассказывает о заявлении школьных работников Сажинского района:

«На строительство средней школы в Сажино отпущено 750 тыс. руб. Сажинцам надо спешно организовать подвозку стройматериалов, а у них нет ни автомашины, ни горючего. Родители и коллектив предложили обратиться за содействием ко мне. Решить такой вопрос через облоно, мне кажется, невозможно, поэтому и обращаюсь непосредственно в облисполком с ходатайством помочь сажинцам в приобретении грузовой машины и отпуске им горючего.

Понимаю, что снабжение районов средствами передвижения проводится в плановом порядке, но здесь прошу учесть особенность Сажинского района. Он — новый и несравненно меньше снабжен, чем смежные с ним Артинский, Манчажский, не говоря уже о Красноуфимском. Дополнительная грузовая машина для такого района очень бы много значила».

На этот запрос, как и следовало ожидать, поступил благожелательный отклик — Сажинский райисполком получил грузовую автомашину и бензин, строительство школы было завершено.

Внимательно выслушать просьбу, принять решение по-государственному, по-партийному — таков был стиль работы депутата Бажова.

— Иногда читаю заявления и возмущаюсь, — говорил Павел Петрович, — как некоторые наши районные работники не обладают чувством партийности при решении вопросов. А ведь на любое дело, на любого человека надо смотреть только с этих позиций.

И действительно, депутат Бажов именно так рассматривал поступавшие к нему дела. Вот его письмо в Ревдинский горком партии:

«Уважаемый товарищ секретарь! Вынужден направить заявление Н-ва непосредственно Вам. Мне кажется, что здесь основное — полная партийная слепота работников, которые могли додуматься до трехмесячного ареста женщины-матери за то, что она не по своей вине перепо-

лучила 180 рублей. Неправильным кажется и дальнейшее решение — опись домашнего имущества. В общем прошу Вас с партийной точки зрения оценить действия тех, кто додумался до подобных решений».

С каким возмущением рассказывал Павел Петрович об эпизоде со стариком Бажутиным, который жаловался, что председатель колхоза «Новый путь» не считает его колхозником и не начисляет ему трудодни.

— Внешне это вопрос хозяйственный, правовой, — говорил Павел Петрович, — но есть одно обстоятельство, которое заставляет считать его партийным.

Дело в том, что Бажутину было сто два года. Возраст такой, что все мы, по мнению Павла Петровича, не должны были применять к нему те нормы, какие обычно обязательны даже для пожилых, в возрасте шестидесяти—семидесяти лет. Проявление заботы в отношении такого старика крестьянина имело политическое значение. Поэтому Бажов и обратился к первому секретарю райкома с просьбой взять это дело под свой контроль и устроить жизнь Бажутина, чтоб ему не приходилось жаловаться на лишения...

В первые годы после окончания войны, когда переход с одного места работы на другое по желанию трудящегося, но без разрешения администрации предприятия не допускался, возникало много недоразумений. В ряде случаев желания трудящихся были справедливыми, а руководители предприятий частенько с ними не соглашались, и недовольные жаловались. Депутату приходилось проявлять особую чуткость, партийность при рассмотрении этих вопросов. Вот хотя бы один из образцов такого решения.

«Г. Ревда. Секретарю горкома ВКП(б)

Вновь решил обратиться непосредственно к Вам, так как, судя по прилагаемому заявлению лаборантки Метизнометаллургического завода Зеленковой, требуется воздействие в партийном порядке.

При всей трудности с кадрами нельзя же мотивировать свой отказ отпустить работника тем, что муж уехал на учебу, а не на постоянное производство. Это ведь совершенно не партийное отношение к семье.

Очень прошу Вас сделать соответствующее разъяснение упомянутым в заявлении работникам об отношении по форме и по существу, т. е. разницу между чиновником и партийцем.

Прошу одновременно, чтоб по заявлению были приняты меры дирекцией завода и решение сообщено как мне, так и заявительнице».

В решении трудовых вопросов Павел Петрович был особенно внимателен и осторожен, всегда стремился рассмотреть их с «обеих сторон», то есть с позиций трудящегося и администрации предприятия, и, если мнение депутата не совпадало с желанием избирателя, Бажов не стеснялся объяснить заявителю, в чем тот неправ. Так он рекомендует решать вопросы и своему коллеге — депутату Верховного Совета СССР товарищу Сосунову. Однажды рабочий Первоуральского новотрубного завода, депутат В. И. Сосунов обратился к Бажову со следующим письмом:

«Здравствуйте, Павел Петрович!

Извините меня за то, что я принесу Вам беспокойство своим письмом, но у меня дело, не терпящее отлагательства. Напишите мне, Павел Петрович, пожалуйста, как Вы реагируете на заявления своих избирателей, желающих уволиться с места работы. Ко мне поступает много таких заявлений о переводе и уходе с работы от рабочих и служащих заводов, и я хочу с Вами посоветоваться, вопрос большой, пишут старики и молодые, есть много писем от бывших фронтовиков.

Шлю Вам привет и поздравляю Вас и Вашу семью с наступающим праздником 1 Мая.

Депутат Верховного Совета СССР В. Сосунов»

Павел Петрович посылает обстоятельный ответ товарищу Сосунову, посылает и копию своего разъяснения, которое он дал по аналогичному запросу-заявлению трем своим избирателям из города Ревды:

«Возвращение технического персонала и рабочих, которые во время Отечественной войны вносили свою долю

во всенародное дело борьбы своим трудом на заводах, эвакуированных на новые места, не может проходить тем же способом, как демобилизация Армии. Здесь это гораздо сложнее. Человек на производстве занимает разное положение. Одних отпустить легче, других — труднее, а есть и такие, отпуск которых равносилен временной остановке завода. Ссылка на разлуку с семьями и собственные дома тоже не может считаться одинаково полноценным мотивом для возвращения. Семью, состоящую из одной жены и ребенка, легко перевезти на новое место, если там созданы приемлемые жилищно-бытовые условия. Совсем другое дело, когда семья состоит из беспомощных стариков или в ней несколько человек связано с учебой и производством. Дома тоже разные бывают. Иной не стоит того, чтобы за него держаться, тем более что заводоуправления оказывают помощь в постройке домов индивидуальным порядком не только деньгами, но и строительными материалами. Немаловажное значение имеет и то, как поставлено на новом месте жилищно-бытовое и культурное обслуживание трудящихся. Словом, вопрос этот в данных условиях приходится решать по-разному, но всегда с учетом интересов производства.

Желания трудящихся и выявленное мнение руководителей предприятия позволят, — писал Павел Петрович товарищу Сосунову, — принять наиболее правильное решение по затронутому вопросу. И, если Ваше решение не совпадает с мнением заявителя, обязательно разъясните ему, в чем он неправ».

С возмущением обращается Павел Петрович к директору Челябинского завода имени Кирова по поводу безобразного отношения его подчиненных к справедливому заявлению трудящегося:

«Уважаемый тов. директор!

Ко мне обратился избиратель тов. Меньшенин, работающий на лесоучастке, принадлежащем Вашему заводу, но расположенном в Полевском районе. Его просьбу на

имя администрации лесоучастка откомандировать на работу в гор. Полевское, предварительно выдав полагающееся ему продовольственное снабжение, поддержал Полевский горсовет, а вот начальник лесоучастка наложил резолюцию: «Удовлетворить просьбу не могу». И ниже: «В довольствии отказать». Мне думается, что любой начальник при обращении к нему обязан разъяснить причины отказа или, если он согласен с заявлением, указать, какие меры он примет для его удовлетворения и какой намечает для этого срок. Воскрешать же барское «не могу» в наших условиях неудобно и потому, что здесь еще живы рассказы старых рабочих, как они в 1905 году вывозили на тачках с заводских дворов управителей «немогутников», приговаривая: «Раз ни черта не можешь, то и место тебе на свалке».

На основании сказанного прошу Вашего распоряжения о пересмотре дела тов. Меньшенина.

О Вашем решении не откажите сообщить как мне, так и заявителю.

П. Бажов»

— Но бывают иногда и такие разъяснения на просьбы моих избирателей, что лучше бы их и не было вовсе, — с горечью говорил Павел Петрович.

Как-то раз обратился к депутату директор полевского Дома пионеров и рассказал о подготовке их Дома к октябрьским торжествам: какие они готовят выступления пионеров, как будут украшать свои комнаты, колонну пионерского отряда. Товарищ достал все необходимое для праздника: добился денег, купил музыкальные инструменты, много материала для костюмов, для украшений, но вот никак, жаловался он Павлу Петровичу, не может достать на сотню рублей бумаги для вышивания, в магазинах она есть, а вот Дому пионеров не продают по безналичному расчету. Он написал об этом в облторготдел, Бажов его поддержал и тоже обратился туда же. Из облторготдела и последовало «разъяснение» директору полевского Дома пионеров и в копии депутату:

«На Ваше письмо сообщаем, что Министерством торговли СССР определена номенклатура товаров, которые разрешается продавать по безналичному расчету, — вышивальная бумага, в том числе и мулине, данной номен-

клатурой не предусмотрена, следовательно приобретение ее по безналичному расчету не представляется возможным».

Безусловно, выполнять указания вышестоящих организаций местные органы обязаны, но вряд ли могло Министерство торговли, да еще союзное, возмущался Павел Петрович, помнить о необходимости включить мулине в обширный список товаров, продаваемых по безналичному расчету, а облторготделу всегда можно было продать на сто рублей вышивальной бумаги Дому пионеров для участия в октябрьских торжествах.

— Нет, видите ли, желания не было, не хотелось подумать, а проще всего: «разъяснить согласно циркуляру». Пришлось мне вновь попросить, и все-таки полевские пионеры бумагу получили!

Деятельность депутата многогранна. Ему приходится решать вопросы государственного значения и вопросы, касающиеся быта отдельных лиц. К нему идут, как к своему другу и как к старшему товарищу, поделиться своей бедой, попросить совета.

Перед нами большое письмо-исповедь на имя П. П. Бажова. Молодая женщина, познакомившаяся на фронте с офицером, а сейчас одинокая, с трехлетней дочуркой, брошена на произвол судьбы этим офицером, у которого есть первая жена. У молодой женщины тяжелые чувства обманутого человека, переживания за дочь. Что делать? «Вы — мой депутат, а я Ваша избирательница, выслушайте меня, я жду Вашего мудрого совета, свое личное горе я могу доверить только такому благородному и большому человеку, как Вы».

И вот ответ:

«Люди моего возраста уж забыли боль и страдания весенних бурь и вспоминают об этом с улыбкой грусти о прошлом, — отвечает Павел Петрович. — Вы, конечно, это воспринимаете еще со всей болью молодости, и Вам может показаться обидным стариковское непонимание. Но простите, с других позиций смотреть не могу. Вы пишете о разбитой жизни, а я, смотря на Ваш четкий

красивый почерк и припоминая отдельные детали письма, думаю: «Эта выдержит! Пожалуй, даже лучше, что без задержки открылось непривлекательное лицо ее мужа. Хуже, если бы это затянулось». А что он недостойный человек, для меня нет сомнения. Какой же это мужчина, когда он не может решительно выбрать одну из двух женщин? В лучшем случае — размазня, в худшем — прохвост, прикрывающийся любовью к детям. В том и другом случае жалеть некого. Ваши двадцать пять лет не срок, когда подводят итоги жизни, а только ее начало. Было бы, разумеется, лучше, если бы не произошло этой незадачливой встречи, но и беды непоправимой здесь нет. Памятью об этой ошибке у Вас останется девочка, которую Вы так ласково описываете, и тот «перегар страданий», который ведет человека от узколичного к высокому, общественному... Ведь жизнь в любом пункте нашей страны необыкновенно интересна и полна для всякого, кто искренне этого захочет. Если не Ваш поселок, то выход имеется — хоть на запад, хоть на восток. Меня лично больше тянет последний. Там все ново и все требует рук и большой советской работы. В то же время там еще в полной чистоте можно видеть красоты гор, могучих рек, первобытных лесов, даль океана. И люди едут туда не те, что на запад. В чем разница — об этом говорить долго, но об этом Вы, как бывшая на фронте, знаете. Уральские и сибирские войсковые части не случайно выделялись. Материал, как говорится, не тот!

Жизнь впереди, заботы и работы у всякого советского человека много, и тратить время на переживания о том, чего нельзя исправить, не стоит. Встретите людей несравненно выше того, кто Вас так тяжело ударил. И не верьте, пожалуйста, этим разговорам о любви к детям. Вероятно, это не больше как прием или нерешительного человека, или грубого обманщика. У мужчины дети всегда идут после женщины, а у женщины наоборот.

Чем скорее перережете эту ниточку переживаний, тем лучше для Вас, для Вашей девочки и для дела, а будет ли сентиментальный полковник томиться отеческими чувствами или нет — об этом и задумываться не следует.

Итак, желаю Вам хорошей, интересной жизни, без

уныния и размышлений по поводу первой ошибки, но с учетом ее опыта в дальнейшем выборе, который, несомненно, будет.

П. Бажов»

Через неделю Павел Петрович читал ответ на свое письмо:

«Дорогой Павел Петрович!

Нет слов благодарить Вас за то внимание, которое Вы оказали мне своим замечательным письмом. Недаром Вас, писателей, называют инженерами человеческих душ.

Ваше письмо нельзя было прочесть без волнения. Приходилось читать и плакать, а потом много-много раз перечитывать красивое изложение мудрых слов и советов.

Я постараюсь исполнить все, что Вы предлагаете...»

Однажды на прием к П. П. Бажову пришел начинающий поэт — пожилой колхозник. Павел Петрович внимательно выслушал его стихи и позвонил директору Дома народного творчества:

— Этот человек у вас состоит или состоял на учете как поэт-самородок. У него много написано стихов, он хотел бы их издать. Мне кажется, надо серьезно рассмотреть его творчество. Прошу вас уделить особое внимание таланту из народа.

А в адрес колхоза от Павла Петровича идет письмо:

«Член Вашего колхоза тов. А. был здесь со своими стихотворными работами. В Доме народного творчества часть этих работ принята, и не исключена возможность, что его еще вызовут по этому делу. Очень прошу Вас поиметь это в виду и в условиях колхоза предоставить ему возможность продолжать работу, в особенности же воспроизведение старых песен и сказок, которые он, как старый человек, при том же сам пишущий, должен помнить в большом количестве».

Не только взрослые, но и дети шли к депутату Бажову, писали ему. Они знали, что им будет оказана всемерная поддержка, помощь. Кто, как не дедушка Бажов,

сможет разъяснить всё, что их интересует, кто, как не дедушка Бажов, сможет сделать для них все необходимое!

«Родной наш Павел Петрович, я обращаюсь к Вам за помощью, прошу Вашего содействия — у нас папа уехал на фронт в 1941 году и был ранен в обе ноги и взят в плен. После окончания войны он живет и работает в г. Кизеле, мы живем в г. Полевском. Семья нас 5 человек. Мне 13 лет, Кларе 8 лет, Эдику 6 лет, Стасику 5 лет и бабушке 67 лет. Мама у нас померла в 46-м году от туберкулеза. Я училась в 5 классе, в 46-м году оставила ученье, помогала бабушке ухаживать за больной мамой. Во время войны мы получали пособие, а сейчас нет. Положение у нас очень тяжелое. Павел Петрович, помогите нам вернуть папу домой, я Вам сообщаю наш и папин адрес.

Маргарита».

Павел Петрович пишет депутатское письмо на шахту в Кизел, выясняет причины, по которым отец живет отдельно от семьи, в другом городе. Он обращается к этому человеку, к администрации предприятия, в общественные организации и все усилия направляет на то, чтобы вернуть детям отца.

Значительный раздел работы депутата — забота о красноармейских семьях, о детях, женах, матерях защитников нашей родины, погибших на фронте. Многие обращались к Бажову по этим вопросам, и с каким вниманием он относился к удовлетворению этих просьб! Вот его письмо секретарю Ревдинского горкома партии:

«Решил направить прилагаемое заявление гр. Гавриловой А. Я. непосредственно к Вам. Оно дает картину совершенно недопустимого отношения части работников города к семьям погибших на фронте добровольцев нашего танкового корпуса. Прошу Вас разъяснить товарищам, поименованным в заявлении, что с их стороны большая партийная ошибка отмахиваться от старухи, потерявшей детей на фронте».

Вот другое его письмо — председателю исполкома Полевского Совета депутатов трудящихся:

«Ко мне обратилась гр. Валова М. М. Это явно больной человек, признанный инвалидом второй группы. Ее муж, бывший рабочий мартеновского цеха, ушел добровольцем и погиб на фронте, оставив жену с двумя малолетними детьми.

Такие семьи погибших на фронте добровольцев у нас, как известно, везде пользуются преимущественным вниманием, но в отношении Валовой этого не видно, помощь ей не оказывается. Мне кажется, что здесь требуется серьезное вмешательство с Вашей стороны, чтобы поведение некоторых Ваших сотрудников не шло в разрез с линией партии и правительства в отношении семейств добровольцев, погибших на фронте.

О Вашем решении по этому вопросу прошу сообщить как мне, так и заявительнице.

С приветом

П. Бажов»

Павел Петрович говорил, что он с гордостью выполняет поручения избирателей, но устает иногда от большого числа запросов, да и слабое зрение мешает плодотворно работать. Жена Валентина Александровна помогала ему читать и разбирать письма. Павел Петрович не раз вспоминал замечательные слова М. И. Калинина о том, что если где и нужно уметь применять политику, так это именно в вопросах рассмотрения жалоб, ибо в наших условиях каждое решение жалобы есть политика.

— Вот почему нельзя ни на один час забывать, что работа депутата — работа важная, партийная. Поэтому-то я и не поддаюсь своим немощам и на возраст не хочу обращать внимания, есть еще «порох в пороховницах», и буду трудиться, не покладая рук.

С честью нес Павел Петрович высокое звание депутата, всю свою партийную душу отдавал он служению своей родине, отдавал все силы и способности ее дальнейшему процветанию, осуществлению грандиозной программы коммунистического строительства.

Свердловск



ЕЛ. ХОРИНСКАЯ

ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК

В столе писателя хранится пакет. В пакете кусочек красного шелка. При жизни писатель часто доставал его и с ласковой улыбкой смотрел на этот алый треугольник, полыхающий цветом знамен и отсветом пионерских костров... На конверте надпись, тщательно выведенная чьей-то детской рукой: «Почетному пионеру второго отряда 1-й железнодорожной школы Павлу Петровичу Бажову».

Однажды писатель, вернувшись с пионерского сбора, весело сказал жене Валентине Александровне:

— Вот и я, Валянушка, стал пионером!

Пионерский галстук... С волнением вручали его Бажову юные ленинцы. Большая честь — быть принятым в почетные пионеры и получить алый пионерский галстук. Этой чести удостаиваются только те, кто стал настоящим другом пионеров, кого полюбили они всем сердцем. Такого верного друга и видели ребята в писателе Бажове.

...Маленькая свердловская школьница Наташа Ш. тяжело заболела, и ее увезли в Москву. Девочка писала стихи. Последнее, что успела она написать за свою ко-

роткую жизнь, — стихотворение, посвященное Павлу Петровичу Бажову:

На дворе пурга в окно стучится.
В комнате уютно и темно,
Мне сегодня что-то вдруг не спится,
Ночь уж на дворе стоит давно.
Начинает мама тихо сказы
О Хозяйке, что живет в горе.
Вижу я Данилушку — и сразу
Ящерки мелькнули на заре...
Вижу я, как девочка Татьяна
На шкатулку новую глядит,
Как горы Хозяйка Северьяна
Заковала в древний малахит...
И от этих сказов стало снова
На душе так чисто и светло...
В дальний домик дедушки Бажова,
На Урал, меня перенесло!

Не одна маленькая Наташа обращалась к писателю в трудную минуту. Много детских писем, адресованных писателю, приносила ежедневно почта.

Это было осенью 1935 года. Тогдашний ответственный секретарь Свердловского отделения ССП Иван Степанович Панов однажды сказал мне:

— Мы решили взять шефство над школой. Вам с Павлом Петровичем Бажовым поручается побывать предварительно в школе, договориться, как и что, узнать, в чем они нуждаются. В общем, вводим вас в шефскую комиссию.

Тут же мы договорились о дне встречи с Бажовым, с которым я тогда еще не была знакома.

Пришла я точно к назначенному часу, но оказалось, что Павел Петрович уже меня ждет. Позже я узнала, что он вообще отличается необычайной аккуратностью. Сколько раз потом приходилось заставать его в пустой комнате, пришедшего первым на какое-нибудь собрание!

Итак, наше знакомство началось с того, что мы вместе отправились в подшефную школу на углу улицы Декабристов и Восьмого марта (здесь сейчас вырос огромный, многоэтажный дом). Это была небольшая началь-

ная школа, которой заведовала тогда О. Н. Пермякова. Навстречу нам выбежали ребята. Павел Петрович разговаривал и шутил с ними. В учительской завязалась оживленная беседа о школьных делах. И сразу стало ясно, какой опытный и наблюдательный педагог Павел Петрович. Нам не раз приходилось убеждаться в этом.

Большой и неизменной любовью любил П. П. Бажов детей. Не терпя сюсюканья, он разговаривал с детьми серьезно, с уважением, как со взрослыми, и это особенно подкупало маленьких собеседников.

В доме Бажовых всегда звучал детский смех, раздавались веселые ребячьи голоса. Таким и только таким представляется этот дом. Сначала подраетали дети и племянники, потом и у детей и у племянников появились свои дети, и в доме стало еще многолюднее. Одно ребячье поколение сменилось другим. Но оба поколения были одинаково общительны, и в доме ежедневно бывало великое множество чужих детей. Впрочем, слово «чужих» здесь не подходит — все дети, попадая в этот дом, становились своими. Когда эту беспокойную компанию усаживали за стол, получалось, как говорят, полное застолье.

Мне очень ярко вспоминается Павел Петрович именно в таком шумном окружении.

...Весна 1950 года. Первомай. Последний праздник, проведенный вместе. День выдался чудесный, совсем летний. В открытые окна врывается из сада запах свежей листвы. В доме гости и, как всегда, множество детей. Веселой стайкой носятся они по всему дому и саду, напоминая озорных воробьишек. Хозяин был особенно оживленным, шутил, смеялся, — он вполне доволен своими шумными гостями. Да что говорить о праздниках, когда Павел Петрович утверждал, что ему при детях и работается лучше! Съедутся, бывало, все дочери с внуками, в доме дым коромыслом, шум, беготня, ни о какой работе, кажется, и речи не может быть, — а Павел Петрович довольнешенек, давно, говорит, так хорошо не работалось.

Бажов был добрым и строгим воспитателем, этого же требовал и от нас. Особенно предостерегал он от захваливания ребят, от превращения их в «вундеркиндов».

Образцом доброго и требовательного отношения к молодежи являются письма самого писателя:

«Милый юноша! — пишет Павел Петрович Виктору П. из города Ревды. — Письмо получил и со стихами ознакомился. Не буду разводить дипломатических речей, скажу прямо — стихи мне не понравились. В них чувствуются и ум и свежесть, но все это становится прямо смешным из-за нескладной и неумелой формы. Обычно стихи или рассказы посылают в редакции журналов, издательств, газет, но Ваши еще никуда посылать не советую. Это не более как упражнения предварительного порядка. Даже консультировать такие нельзя. Надо просто рекомендовать учиться и учиться!

...Не сбивайте себя и тем, что некоторые из наших величайших поэтов выступали совсем мальчиками. Ставить себя в одну меру с гениями, во-первых, нельзя, а во-вторых, они воспитывались в другой обстановке и обучались не в общей школе, а в одиночку, что, разумеется, одаренному мальчику давало больше возможностей. Если, например, Лермонтов совсем еще мальчиком написал стихотворение «По небу полуночи...», то не следует забывать, что в это время он уже владел тремя языками, чего при общей учебе не достигнешь и кончивши высшую школу.

Пушкина мы справедливо называем нашим национальным гением, но нельзя забывать и того, что он был образованнейшим человеком своего времени, умевшим отзываться на вопросы современности почти во всех ее областях. Отсюда один вывод — учиться. Без образования, приобретенного в школе или в жизни, не может быть писателя».

Павел Петрович всегда подчеркивал, какое большое значение для человека имеют прочные знания. Обращаясь к ребятам по радио, он говорил:

— Образование помогает нам на всех участках работы, делает нас сильнее. Эту вот сторону дела вы и должны усвоить в первую очередь.

Вы учитесь в разных школах, в разных классах, но все должны помнить одно: чем основательней вы будете

учиться, тем сильнее станете в любой работе, какую придется делать в жизни».

Бережно хранят нижнесергинские пионеры письмо Павла Петровича, заканчивающееся следующими словами:

«...Желаю вам успехов, и прежде всего, конечно, в учебе. Что ни говори, а для людей вашего возраста самое важное: «учиться, учиться и учиться». Эти слова Владимира Ильича Ленина нельзя забывать ни на один миг, и надо, чтоб это было видно в табелях. Будьте здоровы, веселы и по-хорошему готовьтесь к жизни.

П. Бажов»

Об этом же неоднократно говорит Павел Петрович и со своим внуком Володей. Тепло и задушевно звучит его голос, и выплывает из строчек знакомая бажовская улыбка:

«Милый Вовик!

Письмо твое получили. Хорошо, что у вас переложили печь и стало тепло, еще лучше, что перестал болеть гриппом, приятно, что растет передний зуб. Все это хорошо, но ты забыл написать, как у тебя дела с таблицей умножения. Ее ведь все-таки надо одолеть, и незачем откладывать на будущий год. Выучить ее так, чтобы от зубов отскакивала, и на всю жизнь спокойно».

В другом письме к Володе, от 26 марта 1946 года, Павел Петрович снова возвращается к этой теме:

«...Не забудь написать и о таблице умножения. Она ведь в твои годы самая главная крепость, которую нужно взять. По порядку ты ее знаешь, теперь надо одолеть вразбивку.

Когда я был учителем, то заметил, что больше всего путаются в таких местах таблицы:

$3 \times 9 = 27$ и $4 \times 7 = 28$
$6 \times 8 = 48$ и $7 \times 7 = 49$
$6 \times 9 = 54$ и $7 \times 8 = 56$

С трудом тоже одолеваются 6×7=42 и 7×9=63.

Советую тебе написать все это большими цифрами на бумажке, чтоб всегда было перед глазами, пока окончательно не выучишь таблицу. Пишешь ты для своего возраста чистенько, читаешь хуже. Надо и в этом не отставать от других, а для этого следует читать каждый день хоть понемножку.

У нас в доме все здоровы. Вместо мальчика Валерика теперь с тетей Анютой живет девочка Тома.

Во дворе тоже по-старому. Петух орет, куры кудахчут, Зона бока на солнышке греет, Ральф скачет. Даже Слива перед весной веселее бродит.

Ну, будь здоров, пиши поскорее ответ.

Твой дедушка»

С особой нежностью говорит Павел Петрович о внуке Никите:

— У нас вон появился новый внук, так он больше все спит. Покушает — и спать. Хорошо ведет себя. Тоже старается поскорей вырасти. Если и дальше будет вести себя так же, то и не заметишь, как вырастет.

Несмотря на огромную занятость, Павел Петрович всегда был в кругу ребячьих дел и интересов.

«Милые ребята, — пишет он нижнесергинским пионерам, — получил ваше письмо и очень порадовался, что ваша дружина хорошо помогла взрослым в их большой и важной работе по агитации за нерушимый блок коммунистов и беспартийных.

...Мне очень приятно было узнать, что вы ознакомились с уральскими сказами. Но это дело, мне кажется, надо и можно увеличить собиранием таких же сказов и преданий по своему району.

У вас в районе, например, есть гора Шелом. Знаете, наверно? А спрашивали ли, почему она так называется? Какие предания и рассказы связаны с этой горой? Разве не интересно все это собрать, записать? Или вот береговые скалы в верховьях речки Серги. Они, наверно, тоже имеют интересные названия, и с каждой, может быть, связан какой-нибудь рассказ. Обо всем этом надо расспрашивать стариков. Не смущайтесь тем, что ответы могут получиться разные и не всегда похожие на

рассказ. Так часто бывает. Надо записывать все, что говорят, а потом уж само собой произойдет отбор. Вот когда накопите таких рассказов о старине Сергинского района побольше, тогда к вам и приеду, чтоб разобраться в собранном материале».

Не только в своих чудесных сказах, но и во всех письмах и разговорах с детьми П. П. Бажов воспитывает в них любовь к родине, к своему краю, стремление его изучать. Горячо откликается он во всех случаях, когда ребята начинают заниматься сбором фольклора.

Выступая как-то по радио, Павел Петрович говорил ребятам:

— Милые мои радиослушатели!

Некоторые из вас, наверное, слыхали, что дедушка Бажов сказы пишет. Знаете и эти сказы. Кто читал, кто слыхал по радио, а кто и видел в кинокартине «Каменный цветок». Не думайте только, что все собрано. Нет, это лишь небольшое начало. Таких сказов по нашему краю можно собрать в десятки, а может быть и в сотни раз больше. И делать это не очень трудно, но требуется большое терпение, и надо не скупиться на выбрасывание того, что собрано.

Тут видите, что может получиться. Вот, например, заинтересовались вы, почему одна из близких к Свердловску гор называется Хрустальной. Спросили у одного — говорит: «Не знаю», спросили у другого — «Не знаю», у третьего — «Не знаю», четвертый коротенько скажет: «Хрусталь тут добывают». Но ведь этого мало. Это не сказ. Сказ начинается там, где появится какая-нибудь выдумка, похожая на живое. Но ведь выдумка бывает разная: одна занимательная, другая — нет. Записывать же все-таки надо и самую неинтересную, потому что она может подсказать рассказчику то, о чем он забыл. Поэтому, если кто-нибудь на ваш вопрос о Хрустальной горе ответит, что там сундуки зарыты, это обязательно надо записать. И если этот рассказчик не сумеет ответить, то надо других спросить, что за сундуки, кем зарыты, кто и как их охраняет, можно ли их достать. На эти вопросы тоже будут разные ответы, в них непременно встретится многое, что тоже потребует

разъяснения. Так вот, ниточка за ниточкой, и начнёт разматываться интересный клубок сказа.

Конечно, надо заранее подумать и о том, у кого спрашивать. Не просто у старых людей, которые давно тут живут, а у тех из старожилов, которым приходилось работать на Хрустальной.

Так и во всех других случаях. И можно с уверенностью сказать, что таким способом можно найти много интереснейших новых сказов об Урале и его богатствах».

О важности работы школьников над фольклором Павел Петрович говорит в статье «Самое дорогое», написанной по поводу постановки драмколлективом свердловского Дворца пионеров «Малахитовой шкатулки»:

«Эта вот сторона дела — внимательное отношение учащихся к фольклору, их инициативность, на мой взгляд, и кажется той ценностью, которая охватывает и взрослых и требует к себе самого внимательного отношения».

П. П. Бажов всегда с большим вниманием относился к воспитанию подрастающего поколения, следил за литературой, вел оживленные беседы с педагогами. Подробно и обстоятельно отвечал Павел Петрович на письма, давал хорошие, вдумчивые советы. Часто письма его являлись настоящим руководством по работе над фольклором по изучению Урала. Недаром Павла Петровича называли «живым справочником». Богатейшие знания и чудесная память его давали возможность указать в письмах ценный материал, дать подробный перечень трудов по тому или другому вопросу. Какую помощь оказывали такие письма, можно судить хотя бы по ответу одного из многочисленных корреспондентов Бажова — московского педагога Л. И. Апарникова:

«Дорогой Павел Петрович!

Самое большое спасибо Вам за обстоятельное письмо. Вы на меня не очень гневайтесь, что я сделал содержание его известным своим учащимся. Если бы Вы знали и видели, какой резонанс это вызвало! Перечисленные Вами фамилии и труды по исследованию Урала

тщательно выписаны, произведены кропотливые розыски в библиотеках, в том числе и в Ленинской. Многие сейчас систематически читают Мамина-Сибиряка, Носилова, Колотовкина, Казанцева и др.

...К Вам самая горячая и убедительная просьба — когда будете в Москве, обязательно загляните в нашу школу. Побудете с нами часок и убедитесь в нашем искреннем интересе к Вам, Вашему творчеству, а через Вас и ко всему Уралу.

Большое Вам еще раз спасибо!»

Исключительная аккуратность Павла Петровича, о которой уже говорилось, целиком и полностью относится к его переписке. И особенно ярко проявляется она, когда дело касается детей. Вероятно, маленькие корреспонденты крепко запомнили этот поданный им пример необычайной аккуратности и много раз в жизни его припомнят.

Весной 1950 года ребята восьмой школы Свердловска обратились к Павлу Петровичу с коротким деловым письмом:

«Любимый Павел Петрович!

Мы, ученики 3-го класса школы № 8, читали и изучали Ваши сказы. Они нам очень понравились, и мы решили 19 марта, в воскресенье, провести конференцию по Вашим произведениям.

Просим Вас послушать наши выступления и указать наши ошибки. Начало конференции в 11 часов дня. Школа находится по улице Куйбышева, 111. Трамвай кольцевой или 3-й, остановка Куйбышева, по направлению к Шарташскому базару».

Дальше следуют подписи председателя отряда и звеньевых.

Это письмо датировано 16 марта. А 18 марта Павел Петрович, несмотря на сильное недомогание и дела, отвечает пионерам следующей телеграммой, адресованной председателю отряда Светлане Ермак:

«Прошу передать отряду большую благодарность за внимание к моему творчеству. Очень жаль, что болезнь не дает мне возможности принять участие в вашей конференции.

П. Бажов»

Множество своих книг Павел Петрович рассылал в дальние и ближние школы. Попросят, бывало, ребята сказы — и летит куда-нибудь в таежную школу «Огневушка-поскакушка» или «Серебряное копытце», а то и вся книга «Малахитовая шкатулка». Происходило это обычно так. Пишут, например, девочки из Златоуста:

«Узнав, что Вы написали книгу «Зеленая кобылка», мы захотели ее прочитать. Но ни в библиотеке, ни в магазинах ее нет. Мы обращаемся к Вам с большой просьбой: если можно, то пришлите нам пожалуйста, Вашу книгу «Зеленая кобылка».

«Вот, мои юные читательницы, — отвечает Павел Петрович, — посылаю Вам свою книгу «Зеленая кобылка», о которой вы спрашивали. Думаю только, что вам она не подойдет, т. к. в ней рассказывается о жизни мальчиков в старое время. Поэтому условимся так: если вам не покажется интересным рассказ — передайте его какому-нибудь пионерскому отряду в школу мальчиков.

И еще такой уговор. Всякий, кто прочитает книжку, должен мне ответить на вопрос: кто из трех мальчиков больше понравился и почему? На этом и конец уговору.

Желаю вам как можно лучше учиться, чтоб потом полнее работать на славу нашей великой Родины».

Огромное значение придавал П. П. Бажов пионерской работе. Часто и подолгу разговаривал он с пионерскими работниками, а со многими из них у него возникала трогательная дружба. Подчеркивал значение пионерской работы Павел Петрович и в беседах с самими пионерами. Девочкам свердловской школы № 13, например, он говорил:

— Желаю вам как можно лучше учиться, расти веселыми, здоровыми, сильными и так образцово вести пионерскую работу, чтоб она была хорошо заметна не только в своем классе, но и во всей школе.

В каждом письме, в каждой беседе виден чуткий педагог, любящий и внимательный воспитатель.

— Дорогой Павел Петрович, над чем вы сейчас работаете? — часто спрашивали писателя дети.

— На ваш вопрос о моих планах могу сказать, что продолжаю работать над новыми сказами. Более подробно говорить о своих намерениях не очень люблю... Наобещать и не сделать, по-моему, хуже всего. А вы как думаете?

Свердловские школьники хорошо знали Бажова. Они радостно здоровались с ним на улицах, и он приветливо отвечал им. Его приглашали в школы, детские дома, на пионерские сборы и костры. Павел Петрович старался никогда не отказывать детям.

Особенно памятны были встречи во Дворце пионеров. Этот поистине чудесный Дворец неразрывно связан с именем Бажова. Никогда не забудут юные свердловчане, как в комнату, со стен которой смотрят на них знакомые герои бажовских сказов, неторопливой походкой входил сам автор и начинал теплую, задушевную беседу.

Выше уже упоминалось о выступлении Павла Петровича в газете по поводу постановки ребятами Дворца пионеров «Малахитовой шкатулки». Но нельзя не вспомнить и о том, как сам Павел Петрович вместе с режиссером-постановщиком Л. К. Диковским внимательно работал над инсценировкой сказа, глубоко вникал во всю сложную жизнь большого детского коллектива, тепло относился к юным артистам.

Павла Петровича радует, что «хорошо, с большим подъемом, не жалея времени, сил и запасов своей творческой копилки, работали с коллективом непосредственный его руководитель Л. К. Диковский, художник Б. А. Шишкин и некоторые другие работники Дворца пионеров», что «крепко поддержал работу кружковцев обком ВЛКСМ».

Так, при горячем участии самого писателя, создавался в свердловском Дворце пионеров первый, незабываемый спектакль «Малахитовой шкатулки», выпущенный в 1939 году.

...Нет в живых любимого уральского сказочника, нет

многих участников первого спектакля. Не вернулся с фронта талантливый исполнитель роли Турчанинова Юра Ярков, геройски погиб танкист Юрий Бельтиков, исполнявший роль Степана. В кавалерийском рейде по тылам противника погиб Ким Ефремов... Но «Малахитовая шкатулка», поставленная на сцене пионерского Дворца с легкой руки самого автора, продолжает жить. Спектакль выпускался снова в победном 1945 году, затем в 1953-м, уже после смерти писателя. Три поколения юных артистов с волнением работали над знакомыми образами.

Тысячи детей навсегда сохранят в памяти чудесные елки во Дворце пионеров, устроенные по сказам Бажова. ...Входят ребята во Дворец и вдруг попадают в сказочное царство Хозяйки Медной горы, где все горит и сверкает яркими огнями. Многие до сих пор бережно хранят свои пригласительные билеты, на которых написано:

«Медной горы Хозяйка приглашает тебя на елку».

Павел Петрович любил эти затейные елки и ежегодно бывал на них. Бурным восторгом встречали его ребята, где бы он ни появлялся. Тесным кольцом окружали писателя, наперебой рассказывая о своих делах. Это была настоящая, большая дружба с любимым писателем.

Целые альбомы рисунков присылали дети Павлу Петровичу в дни семидесятилетнего юбилея. Вот тщательно оформленный альбом воспитанников Н-Исетского детского дома. Здесь собраны иллюстрации к любимым сказам. На обороте каждого рисунка трогательная надпись: «Павлу Петровичу от ученика 3-го класса Дюндина Коли», «Павлу Петровичу от воспитанника Н-Исетского детского дома Васильева Виктора»...

А сколько писем-треугольничков написано на вырванных из тетрадей листочках!

«Здравствуйте, дорогой, многоуважаемый Павел Петрович! С первой строки можете догадаться, что это Вам пишет совсем Вам незнакомый и неизвестный мальчишка-читатель, который очень любит читать Ваши сказы. Меня зовут Левой. Я живу в Каменск-Уральске...»

На Урале горячо любили Павла Петровича Бажова, любили, как говорят, от мала до велика. Его с гордостью называли «наш Бажов», к нему было какое-то особенное отношение — нежное и бережное.

Помнится такой случай.

Как-то поздно вечером Павел Петрович вышел из облисполкома и решил пройтись пешком. К нему подошли два паренька:

— Здравствуйте, Павел Петрович! Что же вы так поздно пешком ходите? Давайте мы вас проводим.

Несмотря на протесты писателя, пареньки проводили его и, прощаясь, озабоченно наказывали:

— Больше уж вы ночью пешком не ходите — вдруг кто пообидит...

Но есть вещи, от которых нельзя уберечь...

Никогда не забудется этот пасмурный декабрьский день. Накануне мы получили из Москвы телеграмму о смерти Павла Петровича. Было очень трудно поверить в это...

Тяжко было войти в знакомый дом на улице Чапаева. Беспрерывно звонил телефон. Десятки людей, знакомых и незнакомых, спрашивали об одном и том же...

А к дому подходили дети, множество детей самого разного возраста. Было холодно. Мела поземка. А они молча стояли у крыльца и ждали...

А когда наступила весна и солнечные лучи проникли в тенистый сад, сюда снова явились дети. Они пришли, чтобы унести отсюда какой-нибудь маленький кустик, отводок от дерева, посаженного руками писателя, пересадить в свой школьный сад, бережно растить и холить на память о Павле Петровиче Бажове.

Шумят ветвями молодые бажовские деревца, посаженные свердловскими пионерами. Подрастают и ребята, хорошая молодая поросль.

На белом бланке телеграммы
Темнеет траур скорбных строк...
А он, живой, глядит из рамы,
Глядит далеко за порог,

Где в зимнем солнце серебрится
Полей заснеженный простор,
На плавок яркие зарницы
И очертанья дальних гор.

Как будто видит росный берег
И лебедей высокий взлет...
И трудно до сих пор поверить,
Что в дом хозяин не войдет...

И что не выйдет он из дома,
С пушистой белой бородой,
Такой родной, такой знакомый,
Такой душою молодой.

Осталась песня не допета,
И боль еще сильней вдвойне...
Хотя ночами до рассвета
Горел огонь в его окне.

И оживали в сказах были,
И свежий ветер бил в лицо,
А люди разные входили
На деревянное крыльцо.

Он их встречал, простой, сердечный,
Всегда горячим сердцем чист,
Такой большой и человечный,
Борец, писатель, коммунист.

Всегда тропа вилась у входа,
Не зараставшая травой.
Он в светлой памяти народа
Останется всегда живой.

К нему придут простые люди,
Весной посадят тополя...
Пускай навеки пухом будет
Ему уральская земля!

Но будут жить веками были
В чудесном малахите строк.
И не завянет на могиле
Бессмертный каменный цветок...

Свердловск

СОДЕРЖАНИЕ

СБОРНИК

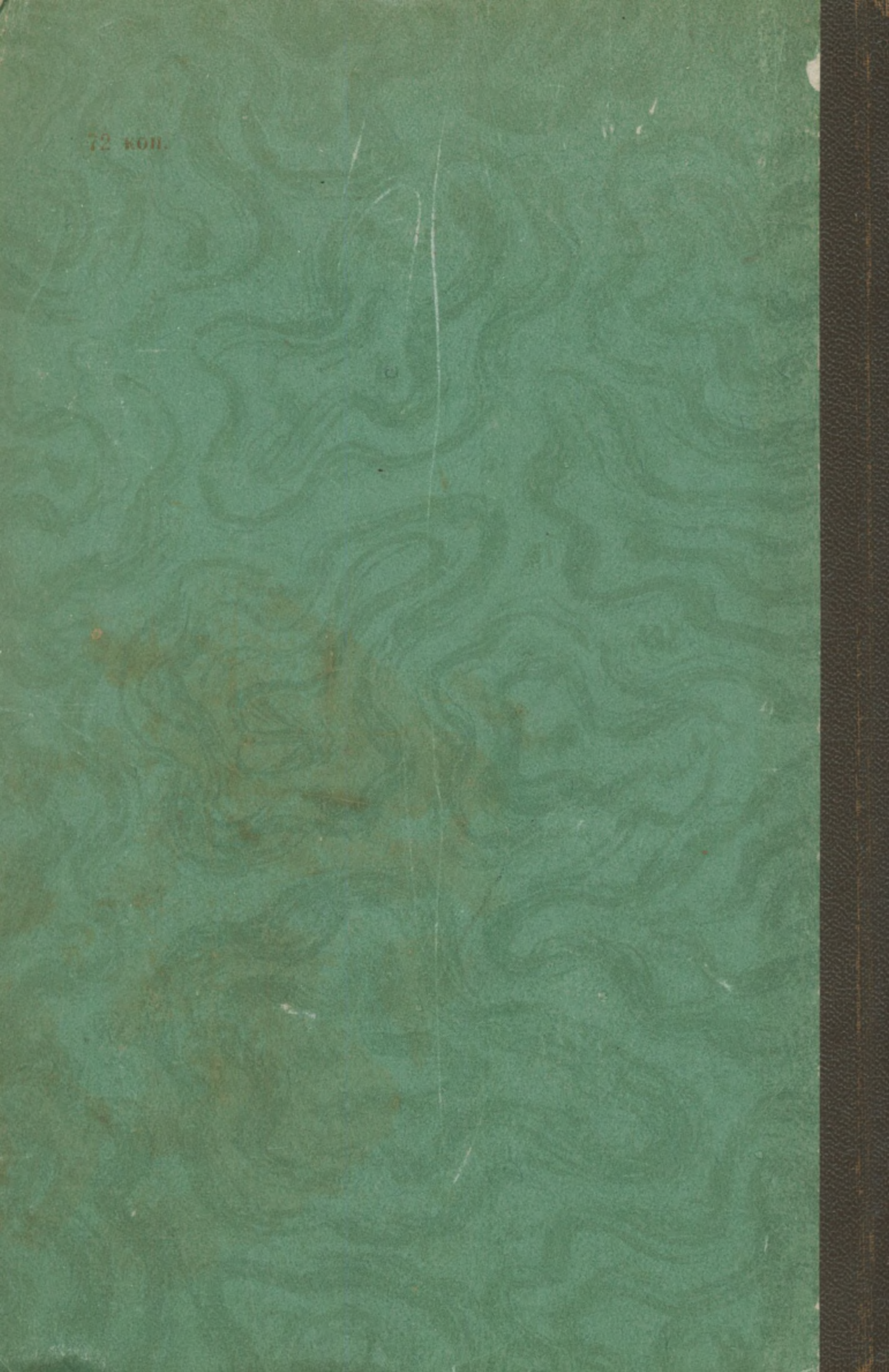
ПАВЕЛ БАЖОВ

«Советский писатель», М., 1961 г., стр. 400

Редактор *З. В. Одинцова* Художник *И. Д. Кричевский.*
Худож. редактор *В. И. Морозов.* Техн. редактор *И. М. Минская*
Корректоры *Е. С. Арутюнова, В. П. Назимова*

Сдано в набор 7/III 1961 г. Подписано к печати 1/VIII 1961 г.
А04876 Бумага 84×108 $^{1}/_{32}$. Печ. л. 12 $^{1}/_{2}$ + 7 вкл. (20,50).
Уч.-изд. л. 20,22 Тираж 30 000 экз. Заказ № 413. Цена 72 к.

Издательство «Советский писатель»,
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10.
Тип. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.


72 коп.